

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д Е В Я Т А Я

С Е Н Т Я Б Р Ь

---

М О С К В А

1 • 9 • 2 • 7

Москва. Главлит № 54441.

25.000 экз.

---

Типография „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“, Страстная площ., Б. Путинковский пер., 5.

## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Вс. ИВАНОВ.— Листья, <i>рассказ</i> . . . . .	5
2. М. СВЕТЛОВ.— Перед боем, <i>стихотворения</i> . . . . .	17
3. Борис СОЛОВЬЕВ.— Осенняя листва, <i>стихотворение</i> . .	20
4. Ал. ТОЛСТОЙ.— Хождение по мукам, <i>роман</i> , продолжение.	22
5. Федор ГЛАДКОВ.— Пьяное солнце, <i>повесть</i> , окончание .	41
6. Ник. ЗАРУДИН.— Песнь о лосе, <i>стихотворение</i> . . . .	76
7. Михаил ГОЛОДНЫЙ.— Песня голодных, <i>стихотворение</i> .	77
8. С. МСТИСЛАВСКИЙ.— На крови, <i>главы из романа</i> . .	78
9. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ.— В грозу, <i>повесть</i> . . . . .	106
10. Джек АЛТАУЗЕН.— Кремлевская стена, <i>стихотворение</i> .	138
11. Евгений НЕЙ.— Письмо в Италию, <i>стихотворение</i> . . .	139
<hr/>	
12. Акад. А. ФЕРСМАН.— Состояние и перспективы развития производительных сил СССР. . . . .	141
13. ПИСЬМА И. С. ТУРГЕНЕВА К П. В. АНЕНКОВУ (с пре- дисл. и примеч. П. Е. Щеголева) . . . . .	155
<hr/>	
14. Вяч. ПОЛОНСКИЙ.— Критические заметки. Художник и классы . . . . .	169

## ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

15. А. ВОРОНСКИЙ.— Заметки о художественном творче- стве, окончание . . . . .	177
16. С. МАРГОЛИН.— Жюль Ромэн . . . . .	186
17. С. ДАЛИН.— По деревням и городам китайским . . . .	193
18. С. ОБРУЧЕВ.— От Якутска до Индигирки . . . . .	210

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Ник. СМИРНОВ.— „Круг“, альманах шестой . . . . .	217
Ник. СМИРНОВ.—Вал. Катаев „Растратчики“ . . . . .	218
С. ПАКЕНТРЕЙГЕР.—И. Майоров „Два берега“ . . . . .	219
Як. БЕННИ.—Вл. Лазарев „Крепкий сон“ . . . . .	219
В. КРАСИЛЬНИКОВ.—Н. Афрамеев „Беспокойные“ . . . .	220
В. КРАСИЛЬНИКОВ.—М. Баркашов „Повесть о том, как поми- рились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем“ .	221
Арк. ГЛАГОЛЕВ.—Дм. Стонов „Сто тысяч“ . . . . .	221
Бор. АНИБАЛ.—Б. Лавренев „Рассказ о простой вещи“ . .	222
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ.—Ник. Тихонов „Поиски героя“ . .	223
М. КЛЕВЕНСКИЙ.—М. Фроленко „Записки семидесятника“ .	223

---

# Л И С Т Ь Я

Рассказ

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

I

Осип Осипович Гедеонов с братом Петром и с сестрами: Катей, Машей и Соней, жил в конце улицы Советских Кузнецов города Карналухова. Трое из семьи Гедеоновых служили, Маша стряпала, Осип Осипович распоряжался домом. Жизнь шла спокойно, без жалоб, и Осип Осипович думал, что весь этот отличный дом спокойствием обязан ему, но вдруг оказалось, что не ему, а серебряной сахарнице. И чем дольше он думал, тем все яснее и яснее становилось, что он не ошибается. Налево от дома Гедеоновых стоял базар, за базаром — церковь с голубой макушкой и подальше, у городского сада, исправдом с багровой надписью на воротах «В труде ты искупишь свою вину». До того, как была приобретена серебряная сахарница, сестры, приходя с базара и со службы, передавали, что вот-вот начнутся войны и революции. Война с аэропланами, с танками, бунты, голод. Опять!... Урожаи минуют, идут стороной, а город Карналухов не черноземен ли? Им казалось, что служат они за малую плату; что следует выбрать службу получше, и брат Петр, религиозный и тихий, тоже смущенно спрашивал: как же быть дальше? И едва лишь Осип Осипович купил серебряную сахарницу, вещь совершенно ненужную, то быстро оказалось, что вот когда он совершил самый важный поступок в жизни, что в голове у него необыкновенно огромные замыслы. Вслух так не говорили, но это можно было понять по усиливавшемуся спокойствию, по тому, как все безропотно отдавали ему заработок... он стал покупать все, что поменьше местом: ковры, подсвечники, кольца. Он не знал покупкам этим конца и смысла, пока однажды на базаре он не услышал, как мальчишки пели ему вслед песню, заставившую его думать о сахарнице:

Кащей, Кащей,  
Не ест шей,  
Жа-адный!

А он, точно, неделю почти не ел горячей пищи. Никогда ж он таким не был! Он оглядел себя: рубаха рваная, без пуговиц, на бу-

лавках; пиджак без подкладки; бороду стрижет сам, чтоб не тратить денег на бритву; плохо спит; сны видит странные. И накануне того дня, в который появился Артур Адамыч, тоже приснился странный сон.

Осипу Осиповичу снилась длинная улица, он идет по ней день, другой, улица безлюдна, переулков нет, бесцветна, и Осипу Осиповичу кажется, что он идет вдоль одного громадного дома. Окон много, и в каждом открыта форточка. Он проснулся от нестерпимой тревоги. Жирная черная пыль лениво скользила по стеклу окна. Скрипели телеги, значит — приехали мужики на базар. Он спустил с дивана грузные ноги в толстых шерстяных чулках. Надо б открыть окно... и тотчас же вспомнилось, что вот уже четвертый год, каждое лето, вставая с дивана, он хочет открыть окно,—и забывает. А в комнате душно, пахнет старым деревом и старой мебелью. Под ребрами у него ноет; одутловатость на лице нехорошая, надо бы подышать чистым воздухом, погулять, но квартиры нельзя оставить, да и к тому же скоро должен притти татарин-продавец. Татарин ходит целую неделю, вся семья Гедеоновых уже его ненавидит, и он ненавидит семью, но уже решено, что без серебряного подноса, который продаёт татарин, жить невозможно. Они его подарят кому-нибудь! Они весело смотрят друг другу в глаза и лгут, придумывая, кому бы можно подарить поднос. За поднос должны отдать месячное жамованье Кати, старшей сестры Осипа Осиповича... Осип Осипович отхаркнул в платок мокроту: черную, густую, тревожную. Опять заняло под ребрами. Нет, так жить невозможно. Нужно сознаться, что произошло какое-то обидное недоразумение. И хотя Осип Осипович не знал, в чем заключается полная и ясная жизнь, но он вслух сказал:— «Надо жить полной и ясной жизнью». И тотчас же подумалось, что пора умирать и что такие мысли в сорок пять лет не напрасны. Он надел под воротничек атласный рваный галстук, подвешиваемый на запонку, как платьевая вешалка на гвоздь.

Татарин посмотрел на грузное серое лицо Осипа Осиповича и оробело соврал:

— Царская посуда! Тайком царскую посуду распродаем! Старинному покупателю меньше себя...—В комнате сестер пахло углями. Младшая Соня гладила юбку, присев на корточки. У нее толстые икры и румяные щеки. Соня отставила утюг и тоже подошла осматривать поднос. Пять голов на мгновение склонились к столу. Татарин уважал жадность, но Осипа Осиповича он не любил: жадность его была татарину непонятна. И вдруг Осип Осипович, вырвав поднос, сунул его под мышку. Сестры умиленно и напуганно переглянулись. Татарин прятал деньги. Осип Осипович уже раскаивался в покупке.

— Переплачиваю. Где вещи покупаешь? — сказал он, схватив татарина за рукав. Над постелью сестер ворочался в клетке, украшенной золочеными гербами, раскормленный чиж, самодовольный

и сонный. Осип Осипович глядел на поднос с ненавистью. Он подвел татарина к окну:

— Где же обещанные гербы на подносе? — У палисадника, кокетливо облокотясь на колья, средняя сестра Гедеоновых, Маша, тощая, с серыми медленными глазами, говорила с маленьким человечком в прорезиненном пальто и с зонтиком в руках. Осип Осипович сразу узнал его. Попрежнему на лице — курносом и самоуверенном — висят, в виде топора острием вниз, стальные усы. Осип Осипович опустил руку. Татарин скрылся.

## II

Попрежнему на Артуре Адамовиче Непокойчицком, как и двенадцать лет назад, канотье с огромной лентой. Только тогда была лента оранжевая, а теперь синяя с золотыми крапинками. Вот когда приходило счастье Осипа Осиповича! Он познакомился с Артуром Адамовичем у реки, на скамеечке, в Казани. Они много говорили о ледоходе, о хороших людях, о весело заработанных состояниях. Осип Осипович очаровал Артура Адамовича, и тот свел его к своему патрону. В Осипе Осиповиче вдруг обнаружился превосходный вояжер. Он был высок, с длинной шеей, с басистым голосом. Необычайно многое слышали люди в этом голосе. Осип Осипович преуспевал. У него появилось три кожаных чемодана с длинными ремнями, завершающимися медными пряжками. У него были запонки: поле, половина — черная, железо, — и желтая, золото. А посередине — между железом и золотом: бриллиант. Но карьера внезапно прервалась. Однажды закололо под ребрами, Осип Осипович позвал врача, и оказалось, что нельзя Осипу Осиповичу передвигаться, что малярия для него смертельно опасна, а в те дни патрон направлял Осипа Осиповича в Мингрелию, в болотистые равнины реки Риона. И к тому же вдруг оказалось, что Осип Осипович не может глотать хинина.

— За последние десять лет нигде не приходилось так дешево и приятно кушать, как в вашем Карналухове. Нигде не могу надеяться на таких стерлядей, Осип Осипович. Это две совершенно приятные встречи... — И Артур Адамович весело поправил жирные свои усы.

— У меня же совершенно отсутствует аппетит, Артур Адамович. И кроме того передвигаюсь с трудом, слабость в ногах. В голове усталость и постынный звон.

— Трудно, трудно... Но, живу! И даже детей кормлю. И в Крыму даже имеет возможность лечиться, — жена. Представляю сейчас пуговичную фабрику, тоже трудно. Костяная пуговица не идет, предпочитают металлическую. Все желают крепкого материалу и крепкой жизни. Трудно!...

Осип Осипович вдруг вскочил, прикрыв салфеткой поднос, он скрылся. Дверь, плохо держащаяся на петлях, грязная и вонючая,

слегка покачивалась. В окно удушливо дышал базар: запахами плохой пищи, водки и гниющей кожи. Маша смотрела на зеленые шелковые чулки, обтягивавшие ноги Кати. Чулки были искусно заштопаны. Катя, низенькая, с громадным задом и громадными грудями, над длинной челюстью ее висят кровавые куски губ. Она презрительно повела этими кусками.

— Зашел по старой памяти к Осипу Осиповичу, — и, словно боясь надоедать разговорами о себе, вояжер спросил: — шум базара вас не беспокоит?

Все напряженно молчали.

— Вояжер тогда только вояжер, когда он говорит, что попало и как попало. Но говорит! Вот тогда он может надеяться на заработок.

Сестры разом встали и вышли, не посмотрев на него. Остался один Петр Осипович. Донёся визгливый голос продавщицы кваса. Облезшая краска на голубом куполе храма, виднеющемся через площадь, походит на пыль. Бороды мужиков цвета чернозема. У них беспокойная походка. Да и многое в этом городе беспокойно! Артур Адамович торопливо говорил, что Осип Осипович совершенно не изменился; что сестры выросли и стали совсем красавицы; что им пора замуж, и что вы вот, Петр Осипович, тоже здоровяк, и какая у вас прекрасная семья, на зависть. Петр Осипович уныло сидел за столом, близорукий, тощий, в стальных очках, в выцветшей толстовке с маленькими кармашками и, наконец, боязливо взглянув на дверь, сказал:

— Покос скоро, мужики чайники на базаре выбирают...

— Как-с? Покос? Совершенно верно. — И Артур Адамович тоже посмотрел на дверь, через которую скрылся Осип Осипович. — А я по вечерам гуляю у реки и, кроме того, принимаю хину.

Он, действительно, достал облатку хины и попросил воды. Петр Осипович сидел неподвижно. Вояжер проглотил хину и долго собирал слюну, кашлял, пыхтел.

— В Мингрелии, Петр Осипович, болота почти осушены, но тем не менее я принимаю хину. Малярия почти исчезла.

Осип Осипович вышел с полотенцем.

— Я умывался! — сказал он косо ухмыляясь.

И полотенце и лицо его были сухи. Артур Адамович поправил ленту на канотье.

— А я, Осип Осипович, по вечерам гуляю у реки. Проезжаю мимо города Карналухова и думаю: неужели за двенадцать лет человек здоровье не выправил? Кроме того, малярия в Мингрелии исчезла, болота осушены. На Кавказ переехали многие знакомые ваши коммерсанты, и когда они увидят вас, то, конечно, дела вы делаете. Я вам завидую? Ничуть. Поезжайте, Осип Осипович.

— Вот меня в окрестностях, наверно, слышали, Артур Адамыч, скупым считают. Окна, говорят, не открывает. Воров боится. А здесь самое неприятное не воры, а черноземная пыль.



— Вредна?

— Не столько вредна, сколько беспокойна. Тем не менее, должен из-за болезни опять отказаться от выгодного вашего предложения, ради которого вы остановились в нашем городе...

— Вот именно, Осип Осипович.

Осип Осипович смотрел на полотенце, Петр Осипович к нему на руки. Вояжер хотел было проглотить еще таблетку, но обиделся на свою растерянность. Он поправил жилет, вынул визитную карточку, пожелтевшую от времени, с «Ъ», положил ее на стол и, ковыряя в зубах спичкой, вышел. Тотчас же после его ухода вернулись сестры. Маша спросила у Петра, выгодное ли предложение сделал вояжер, и Петр ответил, что у вояжера темная фамилия: Непокойчицкий.

### III

Городской сад упирался в реку. Сразу же, под обрывом, у подножия сада гремит деревянный мост. Застрявший на мосту автомобиль непрерывно гудел. Кони, везущие с базара пьяных мужиков, оторопело шарахались. Мужики бранились. Река пахла лопухами. Солнце склонялось к лугам. Наверху, в саду было пыльно и беспокойно. На аллеях шипели наглаженные до твердости жести платья красавиц. Замусленные окурки липли к ногам. Инвалиды, хватая за тросточки гуляющих, просили о помощи неестественными головами. Листья на деревьях, громадные, напряженные, были неподвижны.

Катя увидела Наталью Модестовну, она вела незнакомую, опрятно одетую девушку. Катя тщательно рассмотрела ее, даже два раза обернулась. Затем она спросила Баранцева о девушке. Нет, он ее не знает. Почему же Наталья Модестовна указала девушке на Баранцева? Голос у Кати был спокойный, деловой. Баранцев покраснел. Тогда Тюремкин, рябой увалень в полотняном костюме, приятель Баранцева, взял Катю под руку и сильно ее сжал. Она сказала шопотом: — «Больно». Баранцев услышал этот шопот.

— Пора и выпить, — сказал он торопливо: — Наталью Модестовну обижаете, а с Машей не знакомите. Скупердяй-братец не пускает? Умрет на денежных мешках, факт!

На мгновение лицо Кати стало вялое и презрительное. Затем опять ярко засияли куски ее огромных губ.

— У Маши голова болит!

— Мы вылечим, Катерина Осиповна, ручаемся.

— Вылечим, — подтвердил Тюремкин и еще сильнее сжал ее руку.

Они повернули в проулок. Позади, над садом, беспокойно кружились галки. Ударил оркестр. Катя спокойно посмотрела в лицо Баранцева и сказала: — «О ней мы еще не решили». Кате вспомнился утренний разговор с сестрой. На улице, у палисадника, мужик за узду тянул упирающуюся лошадь. Он материл лошадь визгливо и однообразно. Маша спокойно смотрела на мужика. Мужик, захлебываясь

словами, бессильно топтался на месте. — «По животу ее хлестни», — вдруг сказала Маша. Мужик отскочил в сторону, ударил, — лошадь пошла. Тогда Катя, сама удивляясь мечтательности и тихому своему голосу, заговорила, что Осип, видимо, хочет купить дачу. Над рекой. Хорошо! Летом надо потесниться и сдавать. И никто не посмеет выгнать и, кроме того, верный капитал. Маша обернулась, лицо у нее было сердитое, она, должно быть, думала, что сестра, заговорив о даче, как бы упрекает Машу за безделье. Маша спросила: — «Баранцева увидишь?». Катя не ответила, тогда Маша добавила: — «Мне нужно с ним поговорить. Он хороший». — Катя вытерла губы: — «Что в нем хорошего? Не курит разве, а изо рта все равно воняет». — «Добрый, — возразила Маша, затем поправилась: — добросовестный».

Баранцев с удовольствием пропустил гостей в квартиру. У него три комнаты, опрятные и тихие. Диваны, обитые коричневой клеенкой, напряженно горбились. На столе, покрытом выцветшей ковровой скатертью, стояли самодельные выжженные рамки. Стены увешаны фотографиями, тоже в самодельных рамках. Узколобые спокойные лица чуть-чуть качнулись, когда Баранцев побежал, припрыгивая, к шкафчику... Сначала пили наливку, затем водку. Баранцев готовил селедку, обильно посыпая ее перцем. Он свистел, веселился, бил рюмкой в ладонь, ставил ее на лоб и по команде: раз, два, — ловил рюмку ртом. Тюремкин дико хохотал; голос у него стал разнеженный. Он жал толстыми своими коленями ноги Кати и с любовью глядел в окно. Стемнело, показались звезды. Баранцев шопотом уговаривал Катю лечь с ними двумя. Кате всегда казалось, что в квартире Баранцева она становится развязнее. Тускло отсвечивали стекла в рамках. Эти выпиленные и выжженные рамки стали ей казаться удивительно милыми. Тюремкин вздыхал: — «Чудная вы девушка!» — Катя поцеловала его в щеку и сказала, что на следующий раз она приведет Машу. Тюремкин хотел непременно к реке. — «Сиди!» — крикнул вдруг на него Баранцев — «Не пыли!».

Подле пустыря, рядом с домиком, где жили Гедеоновы, сидели на грядке разбитых кирпичей Соня и Маша. Осип Осипович с веткой акации в руке шел мимо к городскому саду. Он гнул ветку, глубоко вздыхал. Остановился подле полешка, недалеко от того места, где сидели сестры, чуть склонился, как бы желая поднять полешко, но не взял, двинулся дальше. Ему думалось, что он ничего не знает о себе, разве только то, что — трус. Надо будет найти вояжера, рассказать ему о своей храбрости, о бедности. Вояжер едва ли видел серебряный поднос, но все-таки, если видел, может разболтать... Сестры испуганно посмотрели ему вслед. И тотчас же они подумали о Кате.

— Наталья Модестовна сводница, — сказала Соня бойко, — вся в прыщах. Спина у ней в прыщах, она меня в баню водила, я видела.

— Я тоже в баню ходила, но не заметила. Это как, опасно?.

Соня проговорила снисходительно:

— Я не говорю, что у нее сифилис. Но грязнущая, руки не моет. А платье суконное, франтит.

Они посидели молча немного. Проходя мимо полешка, уже забыв, что Осип Осипович наклонялся к нему, они остановились и, рассмеявшись одинаковому движению, обе схватили полешко. Оно было трухлявое и пахло грибами.

#### IV

— Я сидел в пивной, рассуждая о разном с приятелем. Некоторое время спустя, возвращаясь домой по базару, вижу, человек серебряную сахарницу продает... — Осип Осипович остановился. Ему хотелось рассказать, что из всех его поступков видно, какой он обыкновенный и простой человек. Ему хотелось сказать, что вот купил года два назад серебряную сахарницу, купил случайно, а после этого как-то произошло... И теперь все его считают скупым, указывают пальцами, песни орут! Но рассказать — нельзя! Осип Осипович не находил ни одной причины, которая смогла бы объяснить — почему же он голодает, отнимает у сестер жалованье, и что он будет делать дальше. Он повторил. — В пивной сидел...

Вояжер рассмеялся.

— Давно? Вчера? У вас в провинции свои расчеты. Мне говорят — у вас нрав изменился... а по-моему, свои расчеты, Осип Осипович.

Тучка кисеи отразилась в реке. В скамейке еще дневное тепло и тепло это как бы кисейное. Вояжер похвалил теплый вечер и опять заговорил о том, что по вечерам он гуляет у реки, принимает хину, перечислял живущие, знакомые Осипу Осиповичу, фамилии в Мингрелии: Славгородовы, Биконсфильды, Хлобыстовы, Порфирий Львович Молоствов... Торгуют вином, кавказской пальмой. Осип Осипович спросил: — «Кавказской пальмой?», — и, медленно вздохнув, прервал вояжера:

— У меня совершенно отсутствует аппетит. Жую, жую, а все без толку. Руки слабые, головные боли, а затем слабость в ногах, по утрам. Вот вам тоже говорили обо мне, наверное, не похвальное... — Тяжелая вялость вдруг наполнила его ноги. Вояжер, крепкий, кругленький, плотно сидел на скамейке. Зачем ему заезжать в город? И вояжер ли он теперь? И почему так много фамилий знакомых на Кавказе?

— Я вашу старшую сестру, симпатичную барышню, сегодня в саду встретил. Переглянулась с женщиной в розовом платке.

— Наталья Модестовна, — сказал Осип Осипович изнеможенно.

— Ну, допустим, Наталья Модестовна. Кажется, многим известно, что она сможет притти к некоторому знакомому в гостиницу и предложить ему карточки продающихся в городе женщин. Допустим, ко мне!

— Может, может,— быстро сказал Осип Осипович со злым наслаждением. Вояжер обернулся к нему недоуменно. Артур Адамыч тоже имел сестер! Он уже представил, как злодейка-сводница, шепча на ухо сестрам обольстительные слова, ведет их в притоны, а затем увозит за границу, в Константинополь, Париж! Артур Адамыч не обладал высоким воображением. Но и при такой картине он почти задохнулся.

— Может? и по-вашему это вполне простительно? Если ради хлеба, допустим, в голодные годы, да... — Вояжер долго говорил о голоде, о деньгах. Он, действительно, жалел Осипа Осиповича. К тому же он получил от жены из Крыма в этот день длинное ласковое письмо: здоровье ее лучше, виноград дешевый, и квартира дешевая. А в жизни вояжер больше всего уважал дешевизну. — Сестры у вас, Осип Осипович, об их семейном счастье тоже надо подумать. И вам пора. Я женат шесть лет, и несколько это моей жизни не стеснило. А у вас какие-то расчеты...

Осип Осипович даже слегка отодвинулся от него.

— Не стеснило?—повторил он сдавленным голосом.

— Не стеснило,—удивленно отозвался вояжер.

Осип Осипович схватил пухлую его руку горячей и трясущейся своей рукой.

— Обязанность их беречь! Голодаем почти! Бедность наша! Больные все... И тем не менее, я скажу, что завтра я могу уже уехать с вами на Кавказ. И куда хотите, куда хотите...—Он вскочил и стоял перед скамейкой, махая длинными руками. Лицо у него было спокойное и даже несколько восторженное.—Если столько прежних знакомых и при моем ораторском таланте... Я могу—чудеса!

Вояжер оторопело смотрел ему вслед, Осип Осипович уходил быстро, мелко шагая. Сначала ему казалось, что он поступил чрезвычайно отважно. Но вскоре тревога опять овладела им. Вояжер хитрит! Надо было б предложить ему в сегодняшнюю же ночь уехать... кстати, и пароход есть. Все хитрят, и сестры хитрят, заставили его, для своих каких-то неизвестных целей копить, покупать вещи! От локтей к кистям руки его начали покрываться влажным потом. Ноги слабели, и в щеках, подле ушей, знобило. Он остановился.

— А я за тобой спешу,—услышал он голос Петра Осиповича. На темной рубашке у него блестели белые большие пуговицы. — А я, знаешь, от отпуска отказался, я лучше наличными получу. Ты как посоветуешь?

Вот и брат! Ему надо б лечиться, а он принесет эти деньги безропотно Осипу Осиповичу. Хоть бы презрение послышалось у него какое-нибудь, если не к Осипу Осиповичу, так к этому страшному и непонятному миру. Что ж ему посоветовать? Осип Осипович тихо и утомленно сказал: — «Бери». — И тотчас же голос брата стал если не веселей, то беззаботней.

У пустыря, рядом с их домом, их остановили крики Сони. Подле забора Соня, широко расставив толстые ноги, держала за волосы

Афимьюшку, пьяницу, вдову, торговавшую всяческим старьем. Соня била ее по щекам обрывками бумаги. Афимьюшка была в подряснике, рваном и вонючем, подпоясанном веревкой. — «Я покажу тебе, сволочь этакая, обсчитывать. Меня тюрьмой не запугаешь. Видали мы вас». — Афимьюшка хрипела: — «Воровка, пусти». — Соня ударила ее кулаком в переносицу: — «У, пьяница, я тебе покажу — воровка». — Увидав братьев, она оттолкнула плачущую Афимьюшку и побежала домой. Афимьюшка поползла, шаря руками, по земле. Осип Осипович зажег спичку. Они увидели несколько пачек переплетной и раскучной бумаги, два клубка шпагату и небольшой кулек шубного клея. Соня служила в типографии.

## V

На восходе явилась Катя. Без ботинок, грубыми и как бы рассыпающимися шагами, она прошла по комнате. Кровать завизжала. — «Пьяна», — подумал Осип Осипович, и уже не заснул. Стена пахла отвратительным запахом обоев, наклеиваемых слоями друг на друга целые десятилетия. Он открыл форточку и долго пытался вспомнить, какой же и когда же он видел сон с форточками? Через базар, у церкви, дворник, сильно шипя метлой, мел улицу. Он, повидимому, разгонял метлой дремоту. Кто-то глубоко и знакомо вздохнул. В дверях стояла Маша.

— ...пока спит Катька, я и договорюсь. Она как бы не напилась, всегда в девять встает. Меня, Осип, трудно напугать. — Маша говорила с обычным своим, несколько небрежным спокойствием. — Я не боюсь потерять невинность. Катька трепетя бестолково, без выгоды, от беспокойства.

— От беспокойства?... — Осип Осипович хотел упрекнуть ее в грубости, но не смог. — Я же с вами...

— Противно другое. Подруги мне говорили, что Баранцев — истязатель. Я не верила, думала — сплетня, а сейчас вижу у Кати на теле синяки, от щипков. Она с ним живет. Меня к нему вести не хочет, а сама ничего не сделает, выкинет ее через месяц к чорту. Ты распорядись. — Она посмотрела, как Осип Осипович, зажав руками уши, сел на диван. На базаре уже скрипели телеги. Ругались веселыми головами нищие. Маша зевнула. — Она только тебе и верит! Пускай она меня с ним познакомит, у меня он на век забудет щипаться... все они пьяницы и развратники до момента.

— Семей, что ли, необходимо посоветоваться о таком случае? Он, думаешь, женится? На тебе?

— Советоваться? Если ты во всем царь и государь, то сознавай, что чайники для вас мне ставить надоело. Дешевое дело.

Долго после ее ухода он передвигал диваны, достал серебряный поднос, кольца, спрятанные за столом в спичечной коробке. Какое ослепление и какая болезнь владеет теми, которые разрешают

ему покупать эти ненужные и в сущности неценные вещи? Они тихо разговаривают за дверями, опасаются его обеспокоить! И позже, когда ушел Петр к заутрене, опять появилось серебро. Принесла Наталья Модестовна—маленькую, позолоченную, с пустыми и глупыми вензелями, рюмку. Она сказала, что таких есть дюжина или две, смотря по надобности. И тотчас же, вся наполненная сознанием важности своей работы, осведомилась о Маше; затем об урожае; о покосах; о вояжере, который приехал в город. И на все свои вопросы она отвечала сама и была очень довольна своими ответами:

## VI

Тихо говорящие за дверьми односторонне рассуждали о том, что Петр плохо спал всю ночь, что Соня—воровка и Афимьюшку надо гнать из дома, но как ее прогонишь—придет другая, еще хуже, этой хоть не поверят, если дело коснется суда, дурочка. Шея у Петра была грязная, он вяло жевал бутерброд из плохого хлеба. Катя жаловалась на головную боль и говорила, что Соня хотя и шестнадцатилетняя, но не мешало бы ее выпороть. Петр неожиданно воскликнул, что надо ходить в церковь, молиться богу, бог все видит, он накажет. Не гибнуть же всем, не сидеть же всем ради ожидаемой прекрасной жизни, да и сможет ли ее устроить Осип Осипович! И тогда Катя завизжала, чуть слышно, оглядываясь на дверь, что Петр не смеет так говорить, не смеет он клеветать на Осипа. Осип в сто раз лучше всех в городе и, может быть, один во всей России понимает, что надо делать. Раз он сказал беречь, значит, нужно беречь и хранить не только деньги, но все, что он прикажет. Она строго посмотрела на Машу. Глядя, как Катя разматывала и заматывала на голову рваное полотенце,—Маша сказала:

— Мне Осип говорил, что я могу с Баранцевым познакомиться. Ты меня сегодня, Катя, познакомь с Баранцевым.

— Голова болит.—Глаза у Кати наполнились слезами. Петр на нее смотрел дико и устало.—Спать сейчас лягу.

— Ну, тогда меня Наталья Модестовна познакомит.

— Под титлами живет,—хрипло проговорил Петр:—бог не решает человеку под титлами жить...

Вбежала Соня, розовощекая, в ситцевой, тщательно выстиранной кофточке. Весело упав на подоконник, она, болтая толстыми ногами, смотрела на подошедшую к палисаднику Афимьюшку. Афимьюшка поддразнивала ее мычаньем. Соня шидела, ей подмигивая:—«А вот и не хочу с тобой... другой продам, уйди, глаза поцарапаю, сволочь. Мало даешь, не выгодно». Ее не слушали. Осип Осипович, высокий, вялый, показался в дверях. Он хотел ласково сказать, что придется ему на небольшой срок уехать к Черному морю, полечиться, поработать. Сестры смотрели на него испуганно и еще более стало ясно, что надо говорить коротко, приказывать, упрекать. Он попросил воды

умыться. Ведро, два ведра! Надо приготовить чемодан, белье. Он едет в Мингрелию. У ворот Наталья Модестовна медленными движениями брала из голубого платочка орехи. У нее плотные и веселые зубы. Она не очень удивилась, когда Катя попросила ее итти вперед. Наталья Модестовна многое понимает. Она самая спокойная в городе, с ней легко, она опрятна, она всех уважает! По улице мужик нес за плечами рогожный мешок. Шея у мужика в мелких пересекающихся морщинах, забитых теплой и темной пылью. Фуражку трудно отличить от шеи. Наталья Модестовна и на мужика посмотрела с любовью и уважением. Ничего, отмоется, если не в этот праздник, то в другой. Маше было приятно, что все свершается без выкриков, и в квартире у Баранцева тоже было просто и тихо. На столе лежал розовый конверт и пресспапье с чистой пропускной бумагой. Наталья Модестовна позвала прислугу. Она писала записку Баранцеву и не без кокетства спросила у Кати: — «Какого ж вина заказать?». — «Углей, углей!», — пьяным и веселым голосом вопили на улице. Фыркала лошадь. Катя ответила хмуро, что всякого, только не ликеру, с ликеру голова болит. Маше именно хотелось ликеру, но она промолчала и решила запомнить это, отомстить Катке, которая так поступает, конечно, на зло ей, Маше.

## VII

Артур Адамыч чистил над ведром зубы. Повернув раскрашенные белым порошком усы к Осипу Осиповичу, он необычайно круглым и унылым глазом указал на окно, где стояла завернутая в тонкую раскурочную бумагу бутылка вина. Вином подпоить хочет, сбежать, — но затем Осип Осипович рассудил, что бутылки вина слишком мало для двоих. Осип Осипович раскупорил вино и, сам не замечая того, свернул бумагу и положил ее в карман. Вояжер тоже смотрел на него с тревогой. Ночью, после разговора у реки, он долго не мог заснуть и решил, что у современного человека необходимо совершенно уничтожить чувство доброты. Заехал посмотреть на старого приятеля, а приятель навязывается на Кавказ. Вояжер уже забыл, что сам он приглашал Осипа Осиповича. В углу за умывальником стояла метла из полыни. Осип Осипович уже чувствовал, что ему не сказать того, с чем он шел сюда, то-есть, что ему незачем ехать на Кавказ, и здесь-то ему пора умирать, что происходит огромное недоразумение, он — слабый и беспомощный человек, нужно объясниться подробно и ясно... Осип Осипович проговорил:

— У меня сестры... полы чересчур часто метут, а метлы дорогие, на одни метлы уходит энное количество денег.

— Шутник вы, — тоскливо сказал вояжер, — не передумали ехать?

Вопрос показался Осипу Осиповичу задорным и насмешливым. «Кто кого еще!», — подумал Осип Осипович, и он сухим и скрипучим голосом подробно ответил, что он чувствует себя прекрасно; малярии не боится; в доме все налажено. Какой-то липкий озноб охватил его,

в висках ныло, а он все говорил и говорил: — «Хотя и необходимо наблюдать за ними... едят много; чулки шелковые завели; примус зажигают, волосы завивать,—сколько керосину бесцельно тратится...».

— Угу,—промычал вояжер, взмахивая щеточкой, словно он чистил не зубы, а сапоги.—С таким характером вы имеете полное основание хорошо заработать. Жму вашу руку!

Осип Осипович вяло и долго, часа два, говорил о своих болезнях; жаловался на слабость, и вояжер все более и более понимал, что он берет с собой на Кавказ полумертвого человека. Как он не разглядел скверный румянец и трясущиеся руки? И говорит он и будет говорить покупателям о своих болезнях, а не о пуговицах! Вояжер преисполнялся ненавистью и страхом.

Они ехали на извозчике, и Осип Осипович все продолжал говорить. В пустыре, подле дома, мальчишки, протирая грязными руками гнойные глаза, швыряли щепами в голубей. Они запели:

Кашей, Кашей,  
Не ест шей...

Осип Осипович ходил по комнатам, укутанный в громадный шарф, поверх летнего пальто, с толстой палкой в руках. Он запечатал все сундуки, даже с бельем, сургучной печатью. Маша, пьяная, с бледным одеревенелым лицом, спала на кровати, навзничь. Петр попробовал ее разбудить, — и заплакал. И хотя они чувствовали, что Осип Осипович больше не вернется, но все просили его распоряжений. Когда он отвечал, им казалось, что, если Осип Осипович возвратится, он заставит их сделать в тысячу раз более страшное и подлое, чем то, что они делают сейчас. Осип Осипович, протягивая Петру копию со списка вещей, лежащих в сундуках, сказал Артуру Адамычу: — «Пищи вы излишне много взяли. И не в корзину нужно было, а в плотно закупоренную посуду». Он строго посмотрел на Катю: — «Прошу не расхищать вещей, даже малоценных. Вы ведь, как листья, куда ветер погнет ветку, туда и вы. Ветка-то, ведь, я? Форточки не забывайте на ночь закрывать, иначе воры влезут, а также поддерживайте всегда свет в квартире, что даст ворами иллюзию даже в ваше отсутствие думать, что в квартире находятся хозяева. Приеду, расскажу более подробные планы, имеющиеся в моей голове. До свиданья». — И он, указывая Петру на копию списка, добавил: — «Береги копию. Оригинал у меня». — Извозчик натянул веревочные вожжи. Тусклым и сухим запахом несло от черных земель, начинающихся влево от базара. Ломаными кирпичами зиял пустырь. Осип Осипович поставил на подножку длинную ногу, показался коричневый носок, заштопанный белыми нитками, и еще выше синие тиковые подштанники. Бессмысленная и жалкая улыбка появилась у всех на лицах. Извозчик обернулся и тоже, неизвестно чему, бессмысленно и жалко улыбнулся.



# Перед боем

М. СВЕТЛОВ

## Ветер

Над Москвой моей советской  
Веют траурные флаги,  
Ветер в пыльных учреждениях  
Поразбрасывал бумаги...

В учрежденья входит ветер  
Наступлений знаменитых,  
Стулья сломаны, но седла  
Смогут с честью заменить их.

И пока не слышно пушки  
Я, влюбленный и военный,  
Эти маленькие ушки  
Краем песенки задену...

Удивительные краски  
Подымаются с рассветом,—  
Чтоб стрелять в такую пору,  
Это надо быть поэтом...

Фиолетовые краски  
Подымаются с рассветом  
Чтоб убить в такую пору,  
Это мало быть поэтом...

Время гнет нас ожиданьем  
И такой обидой тяжелой,  
Что болит не только сердце,  
Что болит моя рубашка.

Как мне спеть тебе, родная,  
Если пушка скоро грянет?  
Как мне спеть тебе, родная,  
Если я так много занят?

Повидать своих поэтов  
Он приходит,—друг железный,  
Шлет земля мне много жалоб  
На английские болезни...

Я немного запоздаю—  
Эту песенку, что ждешь ты,  
Из далекого похода  
Я пришлю тебе по почте.

## Штатский

Это чуть оригинально:  
К волосам таким—косынка!  
Убегает к тихой речке  
Беспартийная тропинка.  
Берега и лес тихи.  
Он читает ей стихи:

— Из воздушного гарема  
Унеслась моя поэма.  
Чорт проснулся спозаранку:  
Где поэма? Где беглянка?  
И зарница озорная  
Хитро молвила:—Не знаю.

Не видала, не слыхала,  
Только тихо полыхала.

### Военный

Снова фиолетевый рассвет.  
В штабе не заметили рассвета.  
Он рифмует, молодой поэт,  
Очень непохожий на поэта:

— Ночь уходит после наступления.  
Сам я удивляюсь: как я жив?.  
Тихо спит мое стихотворенье,  
Голову на камень положив.

Каждый день под медное жужжанье  
О тебе, о милой, о далекой,  
В голове моей воспоминанья  
Бродят, словно в погребе глубоко...

Порассыпались бойцы в лесах.  
Как я счастлив, что с такими  
пожил..

Песенку еще не написал,  
Может, завтра напишу, а, может, позже...

Зорька алая (видать с земли)  
Убегает, словно испужалась.  
И бойцы к поэту подошли:  
— Напиши уж и нам, пожалуйста!

— Ладно! Сделаем!—  
Большущее мерси вам!—  
Он выводит почерком красивым:

— Ах, опять когда переплету я  
Волосы твои, Перепетуя?!

И внизу такой роскошный росчерк...  
Нет, друзья, здесь надо много  
проще:

— Милая моя Маланья!  
Увидать тебя горю желаньем!

— Воспитаю, как следовало,  
сына,  
Чудная моя Екатерина!

Здесь неграмотно чуть-чуть, но это  
Очень уж приятно для поэта.

### Голубь

Ветрам проплыть не трудно,  
На скалы волны бросив,  
Так могут наши судна  
Подбрасывать матросов.

Мы ждем, чтобы в безмолвии  
Гроза из тучи выпала,—  
Мы снимем эти молнии  
Громоотводом вымпела.

Наш путь—дорогой звездной  
И в голубые мили те,  
Не по годам серьезный,  
Почтовый голубь вылетел.

Он над волнами кружится,  
Ему, быть может, кажется  
Волна—отдельной лужицей,  
Корабль—застывшей кашицей.

Земля навстречу мчится,  
Бежит чересполосица—  
Взволнованная птица  
Над ГПУ проносится...

Под небесами милыми  
Я б вечно был веселый бы,  
Когда столькими милями  
Овладевают голуби.

## Перед боем

Я нынешней ночью  
Не спал до рассвета,  
Я слышал: проснулись  
Военные ветры.  
Я слышал: с рассветом  
Знакомая рота  
Стучала, стучала,  
Стучала в ворота.  
За тонкой стеною  
Соседи храпели,  
Они не слышали,  
Как ветры скрипели.

Рассвет подымался  
Тяжелый и серый.  
Стояли усталые  
Милиционеры.  
Пятнистые кошки  
По каменным зданьям  
К хвостатым любовникам  
Шли на свиданье.  
Над улицей тихой,  
Большой и безлюдной,  
Вздымался рассвет  
Государственных будней.  
И, радуясь мирной  
Такой обстановке,  
На теплых постелях  
Проснулись торговки.

Но крепче и крепче  
Упрямая рота  
Стучала, стучала,  
Стучала в ворота...

Я рад, что, как рота,  
Не спал в эту ночь;  
Я рад, что хоть песней  
Могу ей помочь.

Я вижу, я слышу:  
Зовет на коней  
Мечтатель - хохол  
Из «Гренады» моей.  
Крепчает обида, молчит,  
И внезапно  
Походные трубы  
Затрубят на Запад.  
Крепчает обида.  
Товарищ, пора бы,  
Чтоб песня взлетела  
От штаба до штаба!

Советские пули  
Дождутся полета...  
Товарищ начальник,  
Откройте ворота!  
Туда, где бригада  
Поставит пикеты,  
Пустите поэта,  
И песню поэта!..

Знакомые тучи!  
Как вы живете?  
Кому вы намерены  
Нынче грозить?..

Сегодня на мой  
Пиджачек из шевиота  
Упали две капли  
Военной грозы.

# Осенняя листва

БОРИС СОЛОВЬЕВ

*Любе С.*

1

Повеяло хлебом и дымом,  
И сумраком старых осин,  
Пахнуло нежданно-родимым  
От этих унылых равнин.  
За небо, что снега бледнее,  
За клен на крутом берегу—  
Я отдал бы все, что имею,  
Я сделал бы все, что могу..

2

Мне сказка забытая снится,  
Я снова от крика охрип—  
Аленушка, песня, сестрица,  
Твой братец любимый погиб!  
Но голос срывается тонко  
Забыл все слова я от слез—  
Я стал бесприютным козленком,  
Я шерстью шершавой оброс!..  
Все скрылось, что жизни дороже,  
Все скрылось—зови, не зови...  
И ты лишь спаси меня можешь  
Всесильным заклатьем любви!

3

Давно отцветает долина,  
Гуляет холодная мгла,  
И только сырая рябина,  
Как в прежние дни, весела.  
Пусть ветер свистит нелюдимый,  
И солнце не шлет ни луча—  
Я буду смеяться с рябиной,  
Любимые песни шепча.

4

Под окнами шепчутся вязы,  
Кипит и клокочет листва...  
Я сам сочиняю рассказы,  
Я сам рассыпаю слова.  
А все ж я завидую вязу—  
Над звонкою зеленью трав  
Шумит и поет он, ни разу  
Себе и другим не солгав...

5

Что раньше смеялось мне звонко,  
Сегодня поет про печаль...  
Здесь рожь молодым жеребенком  
Скакала в цветущую даль.  
Теперь эта даль сиротлива—  
Ни колоса нету на ней,  
И выжжена рыжая грива  
Когда-то скакавших коней!

6

Проснусь ли я позднее ночью—  
Все тот же нетихнувший дождь  
По крыше шершавой грохочет,  
По прелым лохмотьям рогаж...  
Но если останусь с собою,  
С собою один-на-один—  
Я в море гляжу голубое,  
В цветенье далеких равнин.  
И рушатся старые стены,  
И рвутся сквозь сумрак и сон—  
И отблески белые пены  
И пенье танцующих волн!

7

Зачем одичалые липы  
Твердят мне всегда об одном?  
Зачем бормотанья и всхлипы  
Я слышу всю ночь за окном?  
Зачем поневоле не спится,  
И нечем печаль укачать,  
И месяц, как синяя птица,  
Которой вовек не поймать?..

8

Иль крови приливы остыли;  
Иль с песней у сердца разлад—  
Но только слова мы забыли,  
Которые жгут и томят.  
Проходят они, словно тени,  
Мелькают они, точно дым,  
Что сердцу всего сокровенней  
Не тронув дыханьем своим.

Когда же раскроются дали  
И улица станет иной—  
Чтоб снова мы солнцем дышали  
И звонкою голубизной?!

9

Опять воркотня дождевая  
И снова заплакан закат,  
Последние листья летают,  
Шершаво в ногах шебаршат...  
Ах, нет, я ни капли не хмурюсь,  
И эта мне даль хороша—  
'Брожу я, багряную бурю  
На каждом шагу вороша!

10

Ах, каждому это известно,  
И знает про это любой—  
Мы выросли хилыми с детства  
На плитах панели рябой.  
Здесь много до срока сутулых,  
И многих в могилу втоптал  
Промозглый, кривой переулок,  
Проплеванный, душный квартал...



# Хождение по мукам

Роман

А. Л. ТОЛСТОЙ

(Продолжение <sup>1)</sup>)

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

**В**есна 18 года была наиболее смутным и трудным временем. Россия вышла из войны, как избитый и окровавленный человек, бросающий драться: «не желаю больше и не могу, делите сами, чего не поделили». В этом сказался первобытный обнаженно человеческий инстинкт самосохранения. Понятия о военной чести, о национальной гордости и прочее, все сложные надстройки барской культуры полетели в туманную пропасть отжитой истории. Не перед своими же было в деревне ходить, выпятив грудь с солдатским георгием, полученным где-нибудь на Гнилой Липе! Русский человек оказался в чем мать родила, как будто выброшенный бурей на неведомую землю. На свою землю. Голым и безоружным.

И то и другое было очень страшно. Кругом, на всех границах, на берегах всех морей стояли смертельные враги, — мощно вооруженные армии. Одним тянуло в нос из хлебных губерний ядреным запахом сала и пшеничного хлеба. Другие ожидали часа, чтобы покарать сынов Каина, славян, за вероломство.

Уверенность в том, что беспрецедентный в истории поступок русского народа, бросающего оружие в разгаре войны (и если не всюду — с братским об'ятием ко вчерашнему врагу, то, во всяком случае, решительно повернувшего к нему задницу), вызовет такое же ответное движение в Германии, Франции, Англии, — эта уверенность была в Питере, Москве, у головки партии, а в особо трудные минуты — у одного, быть может, Ленина. На митингах (по городам, в армиях, на заводах) опьяняла надежда на мировую революцию. Но то бывало на митингах. А чорт его знает на самом-то деле — перекинется ли пожар на Запад? Там, не ослабевая, бушевала война, рабочие безмолвствовали, солдаты подчинялись и умирали. Нет, — как будто нигде еще и не начинало трещать.

---

<sup>1)</sup> См. „Новый Мир“, кн. 7 и 8 с. г.

Зато Россия треснула до основания. Дошли, — так тогда казалось, — до конца, до точки. Замирились и — шабаш. Была неимоверная усталость. В разоренных войною хозяйствах мужики только кряхтели и почесывались. Землю получили, поделили кое-как, да чорт ли в одной земле, когда гвоздя не купишь, портки хоть капустным листом латай. И многим тогда приходило на ум: на это кряхтенье и почесыванье придет немец и голыми руками возьмет, что захочет. Обороняться нечем и нет сил. А из Москвы прилетают агитаторы, кричат: «Углубляйте революцию!». Брала одурь, — куда же еще, куда же глубже-то? Чего хотят большевики? К чему их бешеная ярость? Чего еще ждать?

Весна 18 года была страшным временем переключения энергии. То, что раньше соединяло десятки народностей, населяющих Россию, — имперский государственно-политический аппарат, — распалось на тысячи самоуправляющихся аппаратиков. Стало, — казак на Дону, мужик в своей волости, черкес в родном ауле. Не стало видать краев земли. Каждый ткнулся носом в местный интерес. Была нужда тужить сибирскому переселенцу — пойдут ли, не пойдут ли немцы на Украину, или помору на Белом море — займут ли англичане Кавказ! Выпила русская империя кровушки в свое время, наломала косточек, воевать теперь не погонишь никого. Тот же обнаженный человеческий инстинкт тянул к покою, отдыху. Новое, свое, трудовое отечество еще не народилось. Было просто 150 миллионов смертно уставших людей на земле. Это значило — гибель страны, гибель всех надежд, рожденных революцией, гибель городов, заводов, рабочего класса. Россия — колония. Железная ночь опускалась над русскими равнинами.

Авантюристы, люди с темным прошлым, искатели приключений, люди решительные и жадные, кому война отшибла все человеческое, а революция развязала руки, — лезли к власти на местах и часто добивались ее, хотя бы на час. Они совершали преступления именем советской власти и расшатывали и без того еще слабый, местами призрачный, советский аппарат. Ни в ком не было уверенности. Военный комиссар Ростова, Войцеховский, оказался с послужным списком неудачника актера, шулера, темного дельца, уголовного убийцы и бандита. Разоблаченный, он бежал, и где-то на узловой станции (в нужнике) был расстрелян. Но что из того? Командующий Кавказским фронтом Сорокин — оказался предателем. Люди изменяли с фантастической легкостью. Было удивительно — как еще держались в этом море анархии островки советской власти!

Только творческая мысль могла противостоять анархической стихии ста-пятидесяти-миллионного народа, бороться с ней, сколотить из нее жизнеспособные формы. В Кремле, в Кавалерском корпусе, непрерывно заседал Совнарком. Создавалось новое законодательство, в основу его легла формула: «Кто не работает, тот не ест». В ответ на взрывы анархии, на роковые, казалось, неудачи, на угрозы

всеобщей гибели,— из Кремля слались декреты. Они проникали в толщу народа и действовали своей решительностью. В конце концов это были только клочки бумаги, но в них была магия новых и неумолимых слов. Из Кремля силой веры в историческую закономерность поворачивали скрипучий рычаг, переключая так называемую «славянскую расхлябанность» на большевизм.

---

Под станицей Кореновской добровольческая армия встретила первое очень серьезное сопротивление. Все же, с большими потерями станица была взята, и здесь подтвердилось то, что скрывали от армии и чего боялись больше всего на свете: несколько дней тому назад Екатеринодар, то-есть цель похода, надежда на отдых и база для дальнейшей борьбы,— сдался без боя большевикам. Кубанские добровольцы под командой Покровского, кубанский атаман и Рада бежали в неизвестном направлении. Так, неожиданно, в трех переходах от цели похода армия оказалась в мешке.

Обманула и надежда на радушие Кубани. Казаки, видимо, рассудили сами, без помощи «кадетов», разобраться в происходящем. Хутора по пути армии оказывались покинутыми, в каждой станице ждала засада, за гребнем каждого холма сторожил пулемет. На что теперь могла рассчитывать добровольческая армия? На то ли, чтобы кубанские казаки,—выходцы с Украины,—или черкесы, вспомнившие древнюю вражду к русским, или застрявшие на богатой Кубани эшелоны кавказской армии—вдруг бы запели вместе с золотопогонным офицерством и безусыми юнкерами: «Так за Корнилова, за родину, за веру мы грянем дружное ура!» Но это, только эту формулу, не с'едобную и стертую, как царский двугривенный, и могла предложить добровольческая армия в противовес переворачивающим все бытие кремлевским декретам и в разрешение сложнейших взаимоотношений на местах. Правда, в обозе за армией ехал от самого Ростова знаменитейший агитатор, матрос Федор Баткин, низенького роста черноватый мужчина, в бушлате и бескозырке с георгиевскими ленточками. Много раз офицеры пытались его пристрелить в обозе, как жида и красного сукина сына. Но его охранял сам Корнилов, считавший, что знаменитый матрос Баткин вполне восполняет все недостатки по части идеологии в армии. Когда главнокомандующему приходилось говорить перед народом (в станицах), он выпускал перед собой Баткина, и тот на чисто-народном языке доказывал поселянам, что Корнилов защищает революцию, а большевики, напротив,—контрреволюционеры и так далее.

Сдаться армии было нельзя,— в плен в то время не брали. Расеяться— перебыют по одиночке. Был даже план пробиться через астраханские степи на Волгу и уйти в Сибирь. Но Корнилов настоял,— продолжать идти к Екатеринодару и брать его штурмом. От Кореновской армия свернула на юг и перешла с тяжелыми боями



у станицы Усть-Лабинской реку Кубань, вздувшуюся и бурную в это время года. Армия шла, не останавливаясь, таща за собой обозы с большим количеством раненых. Но, все же, она настолько была страшна и так больно огрызалась, что каждый раз кольцо красных войск разрывалось, пропуская ее.

Армия двигалась по направлению на Майкоп, обманывая противника, но, дойдя до станицы Филипповское, перешла реку Белую и круто повернула на запад в тыл Екатеринодару. Здесь, за Белой, в узком ущельи ее охватили большие силы Красной гвардии. Положение казалось безнадежным. Розданы были винтовки легко раненым из обоза. Бой продолжался весь день. Красные с высот били из пушек и мели пулеметами по переправам, по обозу, не давали подняться цепям. Но в сумерки, когда растрепанные части добровольцев с последним отчаянным усилием двинулись в контр-наступление, красные отхлынули с высот и пропустили корниловское войско на запад. Произошло то же, что и раньше: победили военный опыт и сознание, что исходом боя будет жизнь.

Всю ночь кругом пылали станицы. Погода портилась, дул северный ветер. Небо заволокло непроглядными грядями туч. Начался дождь и лил, как из ведра, всю ночь. Пятнадцатого марта армия, двигавшаяся на Ново-Дмитровскую, увидела перед собой сплошные пространства воды и жидкой грязи. Редкие холмы с колеями дорог пропадали в тумане, стлавшемся над землей. Люди шли по колено в воде, телеги и пушки вязли по ступицу. Повалил мокрый снег, закрутилась небывалая вьюга. Действительно, настойчивость и мужество этих людей можно было использовать для лучших целей, чем воевать против своего же народа.

Сотни студентов, гимназистов, кадетов, юнкеров, прапорщиков, веривших в Корнилова, как в высшее существо, погибли от ран, утонули, замерзли, — отдавали жизнь за то, чтобы генерал — земное воплощение Георгия Победоносца — мог попрежнему потряхивать генеральскими погонами, чтобы фабрикант, биржевик, купчина спокойно спали в пышной спальне, чтобы дородный барин в дворянской фуражке попрежнему, заливаясь валдайскими бубенцами, пылил по проселочным дорогам.

---

Рощин вылез из товарного вагона, оправил на спине винтовку, вещевой мешок. Оглянулся. На путях шумели кучки красногвардейцев. Тут были и солдатские шинели, и нагольные полушубки, и городские пальто, и дамские шубы, подпоясанные веревочками. У многих крест-на-крест — пулеметные ленты, гранаты, револьверы. У кого — картуз, у кого — папаха на голове, у кого — отнятый у спекулянта котелок. Топкую грязь месили рваные сапоги, валенки, ноги, обернутые тряпьем. Сталкиваясь стволами винтовок, кричали: «Вали, ребята, на митинг! Сами разберемся! Мало нас на убой гоняли!».

Возбуждение было по поводу, как всегда, преувеличенных слухов о поражении красных частей под Филипповской. Кричали: —«У Корнилова пятьдесят тысяч кадетов, а на него по одному полку посылают, на убой... Измена, ребята. Тащи командира!».

На станционный двор, сейчас же за станцией переходящий в степь, задернутую дождевой мглой, сбегались бойцы. В товарных вагонах с грохотом отъезжали двери, выскакивали растрепанные одичавшие люди с винтовками, озабоченно бежали туда же, где над толпой свистел ветер в еще голых пирамидальных тополях, и орали, кружились грачи. Ораторы влезали на дерновую крышу погреба, вытягивая перед собой кулак, кричали:—«Товарищи, почему нас бьют корниловские банды?... Почему кадетов подпустили к Екатеринодару?... Почему Варнавский регулярно-пехотный полк без дела мотают со станции на станцию?.. Какой тут план?.. Пускай командир ответит».

Тысячная толпа рявкнула: «К ответу!» — с такой силой, что грачи взвились под самые тучи. Рошин, стоя на крыльце вокзала, видел, как в гуще шевелящихся голов поплыла к дерновому погребу смятая фуражка командира, — костлявое, бритое лицо его, с остановившимся взором, было бледное и решительное. Рошин узнал знакомца, Сергея Сергеевича Сапожкова, — подумал: «не вывернешься».

Когда-то, еще до войны, Сапожков выступал от группы «Центрифуга» (людей будущего), как идеолог, на «философских вечерах», разносил в щепки старую мораль. Основал журнал новейшего искусства, от которого у нормального читателя ходили мурашки по спине. Появлялся в буржуазном обществе с соблазнительными рисунками на щеках и в сюртуке из ярко-зеленой бумази. Нашумел тем, что вызвал знаменитого литературного критика, Чирву, на дуэль и, не приняв отказа, схватил его за волосы в литературном клубе. Во время войны ушел вольноопределяющимся в кавалерию, был известен, как отчаянный разведчик и бреттер. Получил подпоручика. Затем неожиданно, в начале 17 года, был арестован, отвезен в Петроград и приговорен к расстрелу за принадлежность к подпольной организации. Освобожденный февральской революцией, выступал некоторое время от группы анархистов в Совете Солдатских Депутатов. Затем куда-то исчез, и снова появился в Октябре, участвуя во взятии Зимнего Дворца. Одним из первых кадровых офицеров пошел на службу в Красную гвардию.

Сейчас он, скользя и срываясь, влез на дерновую крышу и, сбрав складки под подбородком, засунув большие пальцы за пояс, глядел на тысячи заданных к нему голов.

— Хотите знать, туды вашу в корень, почему золотопогонная сволочь вас бьет? А вот из-за этого крика и безобразия, — заговорил он насмешливо и не особенно громко, но так, что было слышно повсюду.—Мало того, что вы морду воротите на распоряжения Главковерха, мало того, что по всякому поводу начинаете гавкать... Ока-

зывается, тут еще и паникеры нашлись... Кто вам сказал, что под Филипповской нас разбили? Кто сказал, что Корнилова предательски подпустили к Екатеринодару? Ты, что ли? (Он быстро выдернул палец из-за пояса, в руке у него оказался наган, он указал им на кого-то из стоящих внизу...). Ну-ка, влезь ко мне, поговорим... Ага, это не ты сказал... (Он, нехотя, засунул револьвер в узкий карман штанов...). Думаете—я такой дурак и мамкин сын—не понимаю, из-за чего вы гавкаете... А хотите скажу—из-за чего? Вон... (Опять пальцем вниз). Федька Иволгин — раз, Павленков — два, Кондрат Дуля, да брат его Терентий Дуля получили по прямому проводу секретное сообщение, что на станции Афипской стоят четыре цистерны со спиртом (Смех. Рошин криво усмехнулся: «Вывернулся, мерзавец, шут гороховый»)... Ну, ясное дело—эти ребята рвутся в бой. Ясное дело — главком — предатель, а вдруг четыре вагона спирту попадут не нам, а корниловским офицерам... Вот горе-то, вот беда для Республики... (Взрыв смеха, и опять — грачи под небо...). Ну, инцидент считаю ликвидированным... Теперь, товарищи, я читаю последнюю оперативную сводку.

Сапожков вытащил листки и начал громко читать. Рошин отвернулся, вышел через вокзал на перрон и, присев на сломанную скамью, стал свертывать махорочку. Неделю тому назад он записался (по фальшивым документам) в идущий на фронт красновардейский эшелон. С Катей кое-как было устроено. После тяжелого разговора у Тетькина за чаем, Рошин прошатался весь остаток дня по городу, ночью вернулся, вызвал Катю к окну и, не глядя ей в лицо, чтобы не дрогнуть, сказал сурово:

— Ты поживешь здесь месяц, два, — не знаю... Вы с ним, надеюсь, вполне сойдетесь в убеждениях... При первой возможности я ему заплачу за простой. Но только настаиваю, — будь добра, сообщи ему сейчас же, что не даром, без благодарений... Ну-с, а я на некоторое время пропаду.

Слабым движением губ Катя спросила:

— На фронт?

— Ну, это, знаешь, совершенно одного меня только касается...

Плохо, плохо было устроено с Катей... Прошлым летом, в июньский день, на набережной, где в зеркальной Неве отражались голубоватые очертания мостов, крепости и колоннада Васильевского острова, — в тот далеко отошедший солнечный день, — Рошин сказал Кате, сидевшей у воды на гранитной плите: — «Окончатся войны, пройдут революции, исчезнут царства, и бессмертным останется одно только сердце ваше»... И вот, — расстались чуть ли не врагами на грязном дворе... Катя не заслужила такого конца... «Но, чорт ли, когда всей России — конец»...

План Рошина был прост: добраться вместе с красновардейской частью в район боев с добровольческой армией и в первую же ночь — перебежать. В армии его лично знали генерал Марков и полковник

Неженцев. Он мог сообщить им ценные сведения о расположении и состоянии красных войск. Но, самое главное, — почувствовать себя среди своих, сбросить проклятую маску, вздохнуть, наконец, полной грудью, — выплюнуть вместе с пачкой пуль в лицо «обманутому дурачью, разнузданным дикарям», — кровавый сгусток ненависти...

— Командир правильно выразился насчет спирта. Шумим много. Громадный шум устроили, а как разбираться будем, тут, брат, призадумашься, — проговорил невзрачный, небольшого роста, человек в нагольном полушубке с торчащей под мышками и на спине овчиной. Он присел на скамью к Рошину и попросил табачку. — Я, знаешь, по-стариковски — трубочку покуриваю. (Он повернул хитрое, обветренное лицо с пыльной бородкой и сощуренными глазами). В Нижнем служил у купцов ночным сторожем при амбарах, ну и привык к трубочке. С четырнадцатого года воюю, все перестать не могу, вот, брат, вояка-то. Двенадцать раз ранен, ей-богу.

— Да, пора бы уж тебе на покой, — с неохотой сказал Рошин.

— На покой! Где этот твой покой? Ты, парень, я вижу из богатеньких. Нет, я воевать не брошу. Я вот как хлебнул горя от буржуазии. С шестнадцати лет по людям, и все в караульщиках. Возвысился до кучера у Васенковых купцов, — может, слышали, — но опоил пару серых, хорошие были кони, опоил, прямо сознаюсь, — прогнали, конечно. Сын убит, жена давно померла. Ты теперь мне говори, — за кого мне воевать: за Советы, или за буржуазию? Я сыт, сапоги вот на прошлой неделе снял в поле с покойничка. Сырость ничего, не пропускают, смотри — какой товар. Занятие не тяжелое, пострелял, сходил на ура, и садишься у котла и ешь. И трудишься за свое дело, парень. Бедняки, обиженные, голь, как говорится, бесштанная, у кого горе-злосчастье в избе на лавке сидит, — вот наша армия. А учредительное собрание — я видел в Нижнем, как выбирали, — одни интеллигенты да беспощадные старцы.

— Ловко ты насобачился разговаривать, — сказал Рошин, скрытно скользнув взглядом по собеседнику. Звали его Иван Сергеевич Квашин. С ним он таскался вот уже неделю в одном вагоне, спал рядом на верхних нарах. Квашина в вагоне прозвали «дедом». Всюду, где можно, он пристраивался с газетой, — надевал на сухонький нос золотое пенсне и читал вполголоса. «Эту пенсне, — рассказывал он, — получил я в Самаре по ордеру. Эту пенсне заказал Башкиров, миллионер, мукомол. А я вот пользуюсь».

— Это верно, что насобачился, — ответил он Рошину, — я ни одного митинга не пропускаю. Придешь на вокзал, или еще куда, все декреты, постановления, все прочту. Наша пролетарская сила — разговор. Чего мы стоим, молчаливые-то, без сознания, скот и скот...

Он вынул газету, осторожно развернул ее, степенно надел пенсне и стал читать передовицу, выговаривая слова так, будто они были написаны не по-русски.

...«котные кровавая шайка мировых имперялистов пусть зарубит себе на носу, что мир принадлежит трудящимся, а не сытой буржуазии, беднякам, а не тем, кто высасывает из рабочих и крестьян последние соки»...

Рощин отвернулся и не заметил, что Квашин, произнося эти слова, пристально глядит на него поверх пенсне.

— Вот, парень, и видно, что ты из богатеньких, — другим уже голосом сказал Квашин, — мое чтение тебе не нравится. А ты не шпион? А?

От станции Афипской эшелон в пешем строю двинулся к станции Ново-Дмитровской. В полуночной тьме неистово свистал ветер на штыках, рвал одежду, сек лицо ледяной крупой. Ноги проваливались сквозь корку снега, уходили в липкую грязь. Сквозь шум ветра доносились крики: «Стой! Легче! Куда прешь, дьявол?».

Сквозь шинелишку стужа дула в кости, застывало сердце. Рощин думал: «Только бы не упасть, — конец, затопчут»... Мучительнее всего были эти остановки и крики впереди. Ясно, что сбились с дороги, бродили где-то по краю не то оврага, не то речки. «Братцы, не могу больше», — прощался чей-то срывающийся голос. «Не Квашин ли это крикнул? Он все время шел рядом, недавно отстал. Догадывается, не верит ни одному слову». (Рощин насилу от него вчера отвязался). Вот опять впереди остановились... Рощин уткнулся в чью-то коробом замерзшую спину. Стоя с засунутыми в рукава окоченевшими руками, с опущенной головой, подумал:

«Вот так четыре года преодолеваю усталость и холод, исходил тысячи верст затем, чтобы убивать немцев. Это очень важно и очень значительно. Обидел и бросил Катю, — это менее значительно. Завтра, послезавтра перебегу, и в такую же метель буду убивать вот этих, русских. Странно. Катя говорит, что я благородный и добрый человек. Странно, очень странно».

Он с любопытством отметил эти мысли. Они оборвались. «Э-э, — подумал он, — плохо. Замерзаю. Проходят последние и главные мысли. Значит, сейчас лягу в снег».

Но замерзшая спина качнулась и пошла. Качнулся и пошел за нею Рощин. Вот, ноги уже стали вязнуть по колено. Пудовый сапог с трудом выворачивался из глины. Донесло ветром обрывок крика: «Река, ребята»... Раскатилась ругань. А ветер все свистал в штыках, навевал страшные мысли. Неясные, согнувшиеся фигуры брели мимо Рощина. Он собрал силы, со стоном вытащил ногу и опять побрел.

Темной чертой на снегу проступал бурный поток, дальше все занавесило летящим снегом. Ноги скользили по откосу. Бешено неслась темная вода. Крики:

— Мост залило... Вон — горбом торчит...

— Назад, что ли?

— Это кто — назад? Ты, что ли? Ты — назад?

— Пусти... Товарищ, да — пусти.

— Дай ему прикладом...

— Ой... ой... ой...

Внизу за краем берега вспыхнул конус света от электрического фонарика. Осветилась горбушка моста, залитого серой, стремительно несущейся водой, расщепленный кусок перил. Фонарик взмахнул высоко, зигзагом, — погас. Хриплый, страшный голос:

— Отделение... Переходи... Винтовку, патроны на голову... Пошел! Не вались, по-двое, мать и не мать!...

Подняв винтовку, Рощин вошел по пояс в воду, и она была все же не так холодна, как ветер. Она сильно била в правый бок, толкала, старалась унести в эту серо-белую тьму, в пучину. Ноги скользили, едва ощупывая доски разбитого моста.

---

Варнавский полк был переброшен на Ново-Дмитровскую для подкрепления местных сил. Все население станицы, и казаки и иногородние, вооружились, рыли окопы, укрепляли станичное управление и отдельные дома, ставили пулеметы. Тяжелая артиллерия находилась южнее, в станице Григорьевской. В том же районе стоял 2-й Северо-кавказский полк, под командой Дмитрия Жлобы, преследовавшего добровольческую армию от самого Ростова. Крупная часть стояла в Смоленской. Западнее, на Афипской, — гарнизон, артиллерия и бронепоезда. Силы красных оказались разбросанными, что было недопустимо в такую топь и бездорожье. Главнокомандующий, Автономов, отчетливо не понимал задуманного Корниловым движения на Екатеринодар, и предоставлял себя бить по частям.

Под вечер через площадь к станичному управлению проскакал казак, весь залепленный мокрым снегом и грязью. Стал у крыльца. От коня валил пар, худые бока его раздувались.

— Где товарищ командир?

На крыльцо выскочило, торопливо застегивая шинели, несколько человек. Расталкивая их, появился низенький, с кривой трубкой, Сапожков, в кавалерийском полубубке:

— Я командир. Что скажешь?

Переводя дух, навалиясь на луку, казак сказал:

— Застава наша вся перебита. Один я ушел.

— Еще что?

— А то еще, что к ночи ждите сюда Корнилова, идет всей силой...

На крыльце молча переглянулись. Среди стоящих было четверо местных коммунистов, организаторов обороны станицы. Сапожков засопел, собрав мелкими складками подбородок: «Я готов, как вы, товарищи?»... Повернулся, ушел в дом с двумя рослыми мужиками из Ревкома. Казак, слезши с коня, стал рассказывать как было дело, в котором всю заставу порубили черкесы из бригады генерала Эрдели.

Скоро тесная толпа бойцов, казачек, мальчишек сбилась у крыльца. Слушали молча.

Подошел и Рошин, обвязанный с головой башлыком. Ночью ему удалось выспаться и обсушиться в жаркой и вонючей хате, где вповалку среди портянок и мокрой одежды лежало человек пятьдесят красногвардейцев. Хозяйка, вдова, молодая казачка, на рассвете испекла хлеба, сама разрешила и раздала ребятам ломти: «Уж постарайтесь, солдаты, не допустите офицеров в нашу станицу». Солдаты отвечали красивой казачке:—«Ничего не бойся. Одного бойся...»,— и тут ввертывали такое крепкое словцо, что она замахивалась краюхой: «А, ну вас, кабаны,—перед смертью, а все про одно и то же»... Квашин, оказавшийся в той же хате, и очень довольный и угощением и шутками, сказал хозяйке, выставив бороденку и тряся ею, как козел:

— Из Нижнего-Новгорода я прибыл, ягода, за тебя воевать, — ничего не бойся, отстоим.

От вчерашнего ночного похода у Рошина осталась ломота и тупая боль во всем теле. Но с решением его было твердо. С утра он копал лопатой на огородах. Потом носил жестянки с патронами с подвод в станичное управление. В обед выдавали по чашке спирту, и от огненной влаги у Рошина прошла ломота, отмякли кости, он решил, — не откладывать, кончить сегодня же.

Сейчас он вертелся у крыльца, ища случая попроситься в передовую заставу. Продумано было все, вплоть до капитанских погон, зашитых на груди в гимнастерке. Как он ожидал, так и случилось. Из управления вышел помощник командира, матрос в бушлате и папахе, мрачный и бородатый.

— Братишки, товарищи,—сказал он в толпу,—катись-ка на двор, нужны охотники на опасное дело.

Через час с одной из партий в пятьдесят бойцов Рошин выходил за станицей на равнину, затянутую непроглядным туманом. Спускались гнилые сумерки. Снег теперь перестал, порывистый ветер хлестал крупным дождем. Шли без дорог по сплошной воде, как по озеру, в направлении холмов, где нужно было рыть окопы.

---

В сырой утренней мгле блеснула зарница. Бухнуло. Тишина. И сейчас же по холмам, по берегу речки беспорядочно защелкали выстрелы. Снова — зарница, пушечный выстрел, и там, впереди, в тумане гулко затукал пулемет.

Это подходил Корнилов. Его передовые части были уже на той стороне реки. Рошину показалось, что он различил две — три фигуры, перебежавшие, нагнувшись, к самой воде, в кусты. Колотилось сердце. Он высунулся из окопчика, вырытого у кручи над речкой.

Мутная, оловянного цвета река неслась водоворотами высоко в берегах. Налево, посреди нее, был виден наполовину затопленный мост. На него из воды вылезло десятка два тех неясных фигур, —

нагнувшись, перебежали. Все беспорядочнее, все учащенное стреляли с холмов по реке, по мосту. Но вот совсем близко, на том берегу, ударило длинное пламя орудия. Над окопчиком, где сидел Роцин, разорвалась шрапнель. Из-за гребня, вниз к переправе, посыпались серые и черные фигуры, — сбегали, сползали на зад, скатывались, падали. У всех черточками на плечах виднелись погоны.

Снова орудийный удар и рваный грохот над окопчиком. «Ой, ой, братцы», — затянул голос. Сквозь треск стрельбы кто-то завопил:

— Обходят!... Ребята, отступайте!..

Роцин чувствовал, — вот, вот — жданная минута. Он быстро прилег ничком, не шевелился. Пронеслось в голове: «Платка нет, кусок рубашки на штык и кричать, — непременно по-французски»... На спине ему тяжело кто-то упал, навалился, обхватил за шею, дыша, полез к горлу пальцами. Роцин вскинулся, — увидел за плечом своим лицо, залитое кровью, с выпученным рыжим глазом, с разинутым беззубым ртом. Это был опять Квашин. Он повторял, будто в забытьи:

— Крестись, своих увидал...

Роцин, отдирая его со спины, поднялся во весь рост, закачался. Как клещ, вцепился Квашин в плечи. Борясь, Роцин опрокинулся на бруствер окопчика, в бешенстве вцепился зубами в вонючий полущубок. Чувствовал, — локти и колени начинают скользить по жидкой глине, обрыв был в полутора шагах. «Пусти же», — зарычал, наконец, Роцин. Земля под ним осела, и он вместе с Квашиным покатился под обрыв к реке.

---

От орудийной стрельбы гудело все вокруг, вздрагивала земля от взрывов, и на холмах пулеметы добровольцев — казалось — стрекотали, как кузнечики. Через реку переправлялись главные силы армии. По переправам била артиллерия из станицы Григорьевской. Гранаты ложились повсюду по снежному полю, падали в реку, — взлетали лохматыми столбами воды.

Пехота переправлялась — по-двое — на конях. Лошади пятились, заходя в быструю реку, их кололи штыками. С крутого и раз'езженного берега вскачь с'езжала орудийная запряжка. Валясь со стороны на сторону, орудие скрывалось под водой. Ездовые били плетями, тощие кони кое-как выволакивали пушку на горб полузатопленного моста. По сторонам падали, рвались снаряды, кипела вода. Коня становились на дыбы. Путались в постромках.

Поскакали вниз пулеметные двуколки, мимо моста — в реку. Поплыли, закрутились. Одну перевернуло, понесло вместе с конями и людьми, вцепившимися в колеса. С неба молнией скользнула в эту кашу граната, и высоко поднялись в водяном столбе осколки дерева: и клочки разорванных тел.

На берегу вертелся на грязной лошадке небольшой человек в коричневой байковой куртке, в белой глубоко надвинутой папахе. Задрав острую бородку, грозя нагайкой, он кричал высоким фатов-



ским голосом. Это был генерал Марков, распорядившийся переправой. Впоследствии, после его смерти, добровольческая армия созидала его культ. Именем его был назван полк. О его храбрости и находчивости рассказывали фантастические истории.

Марков был из тех людей, дравшихся в мировую войну, которые навсегда отравились ее трупным дыханием: с биноклем на коне, или с шашкой в наступающей цепи, командуя страшной игрой боя, он, должно быть, испытывал ни с чем несравнимое наслаждение. В конце концов он мог бы воевать с кем угодно и за что угодно. В его мозгу помещалось немного готовых формул о боге, царе и отечестве. Для него это были абсолютные истины, большего не требовалось. А дальше, он, как шахматный игрок, упирался в доску, стискивал кулаками виски и, решая партию, изо всего мирового пространства видел только расположение фигур на квадратах.

Он был честолюбив, надмен и резок с подчиненными. В армии его боялись, и многие таили обиды на этого человека, видевшего в людях только шахматные фигуры. Но он был храбр и хорошо знал те острые минуты боя, когда командиру для решительного хода нужно пошутить со смертью, выйдя впереди цепи с хлыстиком под косой свинцовый дождь.

Час и другой и третий продолжалась переправа. Реку и берега снова затянуло снежной метелью. Ветер усилился, поворачивая на север. Быстро холодало. Рощин, лежавший с вывихнутым плечом у воды под кручей, давно уже бросил надеяться, что его кто-нибудь заметит. Несмотря на боль в плече, он вытащил из-за пазухи погоны, кое-как пристегнул их булавками к гимнастерке, сорвал пятиконечную звезду с картуза и самый картуз бросил в воду. Труп Квашина давно унесло рекой. Раненые валялись повсюду, было не до них.

Переходившая армия, не останавливаясь, с боем уходила на Ново-Дмитровскую. На людях замерзала одежда, покрывалась ледяной корой. Земля застывала и звенела под копытами и колесами, кочки и колеи рвали обувь и раздирали ноги. Кое-кто из раненых поднялся и полез на обрывистый берег, ковыляя и срываясь. Рощин чувствовал, что ноги его примерзают к земле. Стиснув зубы (болело плечо, поясница, разбитое колено), он так же поднялся и побрел за вереницей раненых. На него не обращали внимания. Большого труда стоило взобраться на кручу. Там наверху подхватила метель, в шуме ее посвистывали пули. Ковылявший впереди сутулый человек в мерзлой, запачканной кровью, офицерской шинели и в торчащем конусом башлыке, неожиданно рванулся вбок и упал, раскинув руки.

Занесенная снегом, валялась лошадь с задранной задней ногой. У брошенного орудия стояли, низко опустив морды, две костлявых клячи, — бока их смерзлись и на спины нанесло сугробики. А впереди все грознее, все настойчивее стучали пулеметы. Добровольческая армия дралась за то, чтобы этой ночью залезть в теплые хаты, не сдохнуть на вьюжном поле.

По наступающим была артиллерия из Григорьевской. Но остальные силы красных, так же и резервы из Афипской, не были брошены в бой. Второй Кавказский полк получил приказ о наступлении только уже после того, как Варнавский был окружен в Ново-Дмитровской и погибал в рукопашном бою на улицах. Второй Кавказский прошел десять верст по сплошным болотам и плавням, потеряв утонувшими и замерзшими 128 человек, и ударил в тыл белым, дав возможность остаткам и партизанам прорвать окружение.

Такая же путаница и неразбериха происходила и у белых. Кубанский отряд Покровского, который должен был атаковать станицу с юга, заупрямился и не пошел по болотам. К тому же Покровский, получивший генеральские погоны не от царя, а от Кубанского правительства, был жестоко обижен на военном совещании генералом Алексеевым, сказавшим ему с вельможной презрительностью: «Э, полноте, полковник,—извините, не знаю, как вас там величать»... За этого «полковника» Покровский и не пошел через болото. Коннице генерала Эрдели, направленной в обхват станицы с севера, не удалось перейти через разлившийся овраг, и к ночи она вернулась к общей переправе.

Первым у Ново-Дмитровской оказался Офицерский полк. Полузамерзшие, остервенелые офицеры, матерые вояки и крутые монархисты, услышали жилой запах кизяка из труб и печеного хлеба, увидели теплый свет в окошках и, не дожидаясь подкреплений, поползли по снежно-грязному месиву, по сплошной воде, подернутой ледком. У самых подступов их заметили и открыли по ним винтовочный и пулеметный огонь. Офицеры бросились в штыки. Каждый из них знал, как и что в каждую секунду он должен делать. Повсюду мелькала белая папаха Маркова. Это был бой командного состава с неумело руководимой и плохо дисциплинированной толпой солдат.

Офицеры ворвались в станицу и перемешались в рукопашной схватке на улицах с варнавцами и партизанами. В темноте и свалке пулеметчики были заколоты, или разорваны гранатами у своих пулеметов. К белым непрерывно подходили подкрепления. Красные были окружены со всех сторон и стали отступать к площади, где в станичном управлении сидел Ревком.

Стреляли из-за каждого прикрытия, дрались на каждом перекрестке. В вихре грязи подскакала орудийная запряжка, повернулась с краю площади, орудие устало рылом в фасад станичного управления и плюнуло гранатой,—бух-дзын! Бух-дзын! Из окон начали выскакивать люди, повалил желтый дым,—там от орудийного огня начали рваться жестянки с патронами.

В это, как раз, время Второй Кавказский полк обстрелял с востока наступающих. Варнавцы услышали бой в тылу у неприятеля и приободрились. Сапожков, сорвавший голос от крика и ругани, выхватил у раненого знаменосца полковое красное знамя, обернутое клеенкой, и, размахивая им, побежал через площадь к высоким мотающимся тополям, где гуще всего скоплялись белые. Варнавцы стали

выскакивать из-за ворот и заборов, подниматься с земли, бежали со всех сторон со штыками на перевес. «Ура» не кричали, а может быть, и кричали какие-нибудь слова. Опрокинули заграждение, прорвались и вышли из станицы на запад.

Эту ночь Рошин провел в брошенной телеге, вытащив из нее два застывших трупа и зарывшись в сено. Всю ночь одиноко бухали пушки, рвалась шрапнель над Ново-Дмитровской. С утра туда потянулись обозы добровольцев, ночевавшие в станице Калужской. Рошин вылез из телеги и пошел за обозом. Возбуждение его было так велико, что он не чувствовал боли.

Ветер, все еще сильный, дул теперь с востока, разметывая снежные и дождевые тучи. Часам к восьми утра сквозь несущиеся в вышине обрывки непогоды засинело вымытое, весеннее небо. Прямыми, как мечи, горячими лучами падал солнечный свет. Снег таял. Степь быстро темнела, проступали изумрудные полоски зеленой и желтые полосы жнивья. Блестели воды, бежали ручьи по дорожным колеям. Валявшиеся повсюду, в лужах и на буграх, человеческие трупы казались только заснувшими в такое утро.

— Гляди-ка, да это Рошин, ей-богу! Рошин, ты как сюда попал?— крикнули с проезжавшего воза. Рошин обернулся. В грязной и разломанной телеге, которой правил хмурый казак, накрывшийся прелым тулупом, сидели трое с замотанными головами, с подвязанными руками. Один из них, длинный, худой, с вылезавшей из тряпья шеей и торчащей перьями бородой,—приветствовал Рошина частыми кивками головы, растянутым в улыбку запекшимся ртом. Рошин едва признал в нем товарища по полку, Ваську Теплова, когда-то румяного весельчака, бабника и пьяницу. Молча подошел к телеге, обнял, поцеловал:

— Скажи, Теплов, к кому мне нужно явиться... Кто начальник штаба? Как-никак, видишь, красногвардеец, погоны булавкой приколоты. Вчера только перебежал...

— Садись. Стой, остановись, сволочь!—крикнул Теплов извозному. Казак заворчал, но остановился. Рошин влез на угол телеги, свесив ноги над колесом. Это было блаженно—ехать под горячим солнцем. Сухо, как рапорт, он рассказал свои приключения с самого отъезда из Москвы. Теплов сказал, мелко покашливая:

— Я сам с тобой пойду к генералу Романовскому... Видишь—обе руки прострелены, а ноги отлично работают... Доедем до станицы, пожрем, и я устрою твое дело в два счета... Чудак! Ты, что же,—прямо хотел явиться по начальству: так, мол, и так—перебежал из красной шайки, честь имею явиться... Ты наших не знаешь. До штаба не довели бы, прикололи... Смотри, смотри,—он указал на труп у дороги, глядевший мертвыми глазами в небо.—Это Мишка, барон Корф, валяется... Ну, помнишь его... Эх, был парень... Слушай, папиросы есть?

Махорка? А утро-то, утро! Понимаешь, душка моя, послезавтра в'езжаем в Екатеринодар, выспимся на постелях, и вечером—на бульвар! Музыка, барышни, пиво!

Он громко, рыдающе засмеялся. Его обтянутое до костей болезненное лицо сморщилось, лихорадочные пятна пылали на лбу и скулах.

— И так по всей России будет: музыка, барышни, пиво. Отсидимся в Екатеринодаре с месяц, почистимся, и—на расправу. Ха-ха! Теперь мы не дураки, душка моя... Кровью свой купили право распорядиться российской империей... Мы им порядочек устроим... Сволочи! Вон, гляди, валяется. — Он указал на гребень канавы, где, естественно растопырившись, лежал человек в солдатской шинели.— Это непременно какой-нибудь ихний Дантон... А не хотите ли аракеевских поселений? По николаевским шпицрутенам заскучали? Революция! Сволочь русский народ, самая низкая нация, дерьмо!..

Он захлебнулся от сухого рыдания. Телегу перегнал неуклюжий плетеный тарантас. В нем, залепленные грязью, в чапанах с отброшенными на спину воротниками и в мокрых меховых шапках сидели двое,—тучный, огромный человек с темным оплывшим лицом, и другой,—с длинным мундштуком в углу проваленного рта, с запущенной седоватой бородой, мешечками под глазами и с отчетливым профилем, как на римской монете.

— Спасители отечества,—покивал на них Теплов,—за неимением лучшего—терпим. Пригодятся.

— Это, кажется, Гучков, толстый?

— Ну да, и будет в свое время расстрелян, можешь быть покоен... А тот, с мундштуком,—Борис Суворин, тоже, браг, рыльце-то в пушку... Как будто он монархии хочет, и—не вполне монархии,—виляет, но способный журналист... Его не расстреляем...

Телега в'ехала в станицу. Хаты и дома за палисадниками казались опустевшими. Дымилось догоревшее пожарище. Валялось несколько трупов, до половины ушедших в грязь. Кое-где слышались отдельные выстрелы,—это приканчивали жителей, вытащенных из погребов и сеновалов. На площади в беспорядке стоял обоз. Кричали с возов раненые. Между телег бродили одуревшие, измученные сестры в грязных солдатских шинелях. Откуда-то со двора слышался животный крик и удары нагаек. Скакали верхоконные. У забора кучка юнкеров пила молоко из жестяного ведра.

Все ярче, все горячее светило солнце из голубой ветряной бездны. Между деревом и телеграфным столбом на перекинутой жерди покачивались на ветру, свернув шеи, опустив носки разутых ног, семь длинных трупов,—коммунисты из Ревкома и трибунала.

---

Наступил последний день корниловского похода: конные разведчики, заслонясь от солнца, увидели в утреннем мареве за мутной рекой Кубанью золотые купола Екатеринодара.

Сам по себе поход был незначительным эпизодом на огромном полотне русской революции. Он не удался. Главные вожди и половина участников его погибли. Казалось—будущему историку понадобится всего несколько слов об этих недолгих событиях, развернувшихся на одной из окраин российской территории.

На самом деле корниловский «ледяной поход» имел чрезвычайное значение в ходе всех дальнейших событий. Белые нашли в нем впервые свой язык, свою легенду (не хуже спасения Сусаниным царя в костромских лесах), получили боевую терминологию,—все, вплоть до новоучрежденного белого ордена, изображающего на георгиевской ленте терновый венец, пронзенный мечом.

В дальнейшем, при наборах и мобилизациях, в неприятных объяснениях с иностранцами и во время недоразумений с местным населением—они выдвигали первым и высшим аргументом венец великомученичества. Возражать было нечего: ну, что же, например, что генерал Май-Маевский перепорол уезд шомполами (шомполовал, как тогда кратко выражались),—пороли великомученики, преемники великомучеников, с них и взятки гладки.

Еще важнее: великомученичество дало первоклассный материал для европейских газет. Законы высшей морали требовали, чтобы человек сражался и умирал не за материальные блага, но за нечто идеальное (лучший пример—крестовые походы). Человек, бегущий с вилами к воротам—отбиваться от разбойников—заслуживает уважения, удивления и прочее, но не венца героя. Герой—бескорыстен. (Такую разборчивость буржуа подцепили от господ, которым в конце восемнадцатого века поотрубили головы). Поэтому ни в прокламациях, ни в газетах и журналах, издаваемых белыми на юге России, никогда ни слова не говорилось о каких-либо материальных целях доброармии. Идеализм, чистый идеализм.

Вот так, например, добровольческая контрразведка обращалась в день Троицына дня к Красной армии (листовки с агентами—по деревням и лагерям, образцы — в Париж):

«Наступают радостные весенние праздники, праздники цветов, трав и деревьев. Цветут акации, волнуется молодая трава, и тихо шелестят блестящими листьями деревья. Хаты тонут в черешнях, и перед хатами высокие роины, колыхаемые ветром, ведут между собой таинственный разговор. Синют степные речки, вошедшие в свои зелено-бархатные берега, и тихо рокочут прозрачными волнами, несущимися к седому тихому Дону. И вся природа, нарядная и ликующая, как в заколдованном волшебном сне, погружена в какую-то божественно сладкую истому.

«Но ликует ли наша любимая родина мать, наша матушка Россия, превратившаяся из царства мирных земледельцев в какое-то мрачное звериное царство? Красноармейцы! Бог послал вам тяжелое испытание, чтобы вы почувствовали, что не единым хлебом будет жив человек, а тем более хлебом, отнятым у своего ближнего.

Одумайтесь. Бегите в эти светлые праздники от ваших Лениных и Троцких-Бронштейнов, обещающих вам коммунистический рай. Они лгут. Рай внутри вас. Бегите и тащите к нам с собой ваших комиссаров»<sup>1)</sup>... И так далее...

Такая постановка дела на юге России была вполне приемлема для европейской прессы. Тем более, что белые герои не требовали ничего материального... Слезу сочувствия. Терновый венец. Немного аэропланов, ну, там, шинелишек, патронов, башмаков, пушек, консервов,—словом, лишь самое необходимое для героя.

Взбудораженные народные массы России, еще не знающие—откуда ждать беды, красные войска, еще без дисциплины и формы с одним огромным зарядом темперамента, будущие командиры и партизаны, еще неповоротливые и неумелые, коммунистические ячейки, надрывающие глотку на бешеных митингах, словом—вся вз'ерошенная революцией часть населения нашла в борьбе с Корниловым впервые живого противника, не в митинговом бреде, а в чистом поле увидела врага в лицо,—«гадюку, паразита, наемника мировой буржуазии». Узнала его ухватки и прыжки, зубы и хвост, узнала первую большую победу в кровавом бою.

Бой под Екатеринодаром был тем началом, когда, вслед за прологом, взвивается занавес трагедии, и сцены одна страшнее и гибельнее другой начинают проходить перед глазами в мучительном изобилии.

Итак, задачей передовой конной части, посланной под Екатеринодар, было—отбить у красных единственный в тех местах паром на переправе через Кубань близ станицы Елизаветинская. Это была новая хитрость Корнилова. Его могли ждать с востока, с юга,—непосредственно от Ново-Дмитровской, наконец,—с юго-запада по железной дороге Новороссийск — Афипская — Екатеринодар. Но предположить, что для штурма города он выберет крайне опасный обход в сторону, и переправу, без мостов, на одном пароме, всей армии через стремительные воды Кубани, отрезая тем себе всякую возможность отступления,—такой диверсии штаб Автономова предположить не мог. Но, именно, этот наименее охраняемый путь, дающий два-три дня передышки от боев и выводящий армию прямо в сады и огороды Екатеринодара, и выбрал хитрый, как старая лиса, Корнилов.

Недостаток в огневом снаряжении был пополнен при занятии станции Афипской, где добровольцы взорвали пути, чтобы обезопасить себя от огня броневых поездов. Все же пулеметы с одного из поездов доставали до фланга наступающих, которые шли по сплошной талой воде. Когда полоса пуль, поднимая фонтанчики воды, добежала до них,—они падали в воду, уходили с головой, как утки. Высушившись, перебежали. Гарнизон Афипской защищался отчаянно. Но они были обречены, потому что они только з а щ и щ а л и с ь, а про-

<sup>1)</sup> Из деникинской листовки 1919 года.

тивник их маневрировал. Медленно, точками, змейками цепей, части добровольческой армии окружали и обходили Афипскую. Солнце заливало сиюю равнину с торчащими из воды деревьями, стогами, крышами хуторов, с пролетающими по заливным озерам теньями весенних облаков. Корнилов в коротком полушубке с широкими генеральскими погонами, с биноклем и картой, двигался на коне, впереди своего штаба, по этому зеркальному мареву. Он отдавал приказания ординарцам, и они в вихре брызг мчались на лошаденках. Одно время он попал под обстрел, и рядом с ним ранило шикарного генерала Романовского.

Когда станция была обойдена с запада и начался общий штурм, Корнилов ударил коня плетью и рысью поехал прямо в Афипскую. Он не сомневался в победе. Там, между путями, вереницами вагонных составов, железнодорожными зданиями, пакгаузами и казармами ворвавшиеся части истребляли красных. Это была последняя и самая страшная победа добровольческой армии. Немногие из гарнизона унесли ноги.

Полковник Неженцев, краснощекий, моложавый, возбужденный, прыгая через трупы, подбежал к Корнилову, блеснув стеклами пенсне, рапортовал:

— Станция Афипская занята, ваше превосходительство.

Корнилов перебил тотчас же со злым нетерпением:

— Снаряды взяты?

— Так точно, семьсот снарядов и четыре вагона патронов.

— Слава богу, — Корнилов широко истово перекрестился, царапая ногтем мизинца по заскорузлomu полушубку, — слава богу.

Тогда Неженцев глазами указал ему на стоявших толпой у вокзала ударников, — особый полк из отчаянных головорезов, носивших на рукаве трехцветный угол. Как люди, вошедшие на крутую гору, они стояли, опираясь на винтовки. Лица их застыли в усталых гримасах бешенства, руки и у многих лица — в крови, блуждающие глаза.

— Два раза спасали положение и ворвались первыми, ваше превосходительство.

— Ага. Простите, — Корнилов ударил коня, и во весь карьер, хотя расстояние было невелико, подскакал к ударникам (они сейчас же заволновались и быстро стали выстраиваться), изо всей силы, как это обычно изображают на памятниках, осадил коня, откинул голову, крикнул отрывисто:

— Спасибо, мои орлы! Благодарю вас за блестящее дело и еще раз за то, что захватили снаряды... Низко вам кланяюсь...

Он сорвал папаху и низко поклонился.

Получив запас огневого снаряжения, армия двинулась на Елизаветинскую, и восточнее, в трех верстах от нее, начала переправляться на двух досчатых паромах через Кубань. Силы армии к этому времени исчислялись в 9 тысяч штыков и сабель и 4 тысячи лошадей.

Переправа продолжалась три дня. Огромным табором раскинулись по сторонам ее воинские части, обозы, повозки, парки. Весенний ветер трепал лохмотья вымытого белья, развешенного на оглоблях. Дымили костры. Паслись на лугах стреноженные лошади. Повеселевшие офицеры влезали на воза и в бинокли старались рассмотреть в синеющей дали сады и купола заветного города. Говорили:

— Господа, вот так же крестоносцы подходили к Ерусалиму...

— Там, господа, были жидовочки, а здесь—пролетарочки...

— Объявим социализацию... Хо-хо...

— В баню, на бульвар, и пива!

Со стороны Екатеринодара не было попыток помешать переправе. Иногда только постреливали разведчики. Красные решили защищаться. Спешно, всем населением—и женщины и дети—рыли окопы, путали проволоку по кустам и кольям, устанавливали орудия. Из Новороссийска подезжали эшелоны черноморских моряков, везли пушки и снаряды. Комиссары говорили в воинских частях о классовой сущности корниловских добровольцев, о том, что за их плечами ослабилась «беспощадная рожа мировой буржуазии», клялись—умереть, а не отдавать Екатеринодара. В победу над Корниловым мало кто верил,—казалось—сам чорт наворожил ему счастье. Но отдать ему город—никто и не заикался.

На четвертый день добровольческая армия двинулась на Екатеринодар.

*(Продолжение следует.)*

---



# Пьяное солнце

Повесть

ФЕДОР ГЛАДКОВ

(Окончание<sup>1</sup>)

## VIII

За эту неделю Акатуев впервые узнал что такое одиночество. Особенно мучительно было по ночам. От непривычки ложиться рано он долго и тоскливо лежал на кровати с открытыми глазами и смотрел в ночную пустоту. За окном близко и упруго шумел город, призрачно играла где-то духовая музыка, дрябло звонил и лязгал трамвай, шаркали шаги внизу, за балконом, по тротуару, и, блуждая по площади, всей утробой выл пьяный горемыка. Хотелось встать, зажечь электричество и заняться по привычке делами. Но электричество гасили рано, а дел с собой никаких не было, хотя пустой портфель лежал на столе (при отъезде не мог с ним расстаться — руки не выносили пустоты). За стеной, в соседних палатах, похрапывали больные, трещали и поскрипывали кровати. И душная комната шелестела успокоенными — особенными, ночными — шорохами, и чудилось: не то тоненькой струной ныли комары, не то обсыпалась песком штукатурка, не то стены насыщались сонным дыханием больных. Было невыносимо жарко, ноги пересыхали и обжигали друг друга, не хватало воздуха для легких.

Он часами лежал, распятый, на кровати, и ему было стыдно и досадно, что он лежит здесь как дурак, оторванный от работы, от обычного делового напряжения, предоставленный самому себе, и голова его наполнена всякой дрянью, осевшей в мозгу от пережитого дня, нелепого, идиотского, бесконечно нудного от безделья.

— И чорт же занес меня в эту дыру!...

Дома, по горло занятый работой, он часто страдал головными болями и с нарывами в мозгу от переутомления ложился в постель так же деловито и торопливо, как выполнял положенный по плану-

---

<sup>1</sup>) См. „Новый Мир“, кн. 8 с. г.

порядок трудового дня. Вставал рано с мутной, отравленной головой, загруженной заботами нового трудового дня. Он ничего не знал, кроме своего сложного административного аппарата, с бесчисленными отделами, под'отделами, комиссиями, подкомиссиями, совещательными органами, и всякая мелочь проходила через его мозг и остро вонзалась занозой в его натруженную память. Сидел ли на заседании Губплана, или в своем кабинете обсуждал с толпой специалистов проект электрификации края, или слушал ученый доклад о перспективах кустарной промышленности,—он все время думал только об одном: как бы всю эту обычную словесную чепуху и ученый кавардак превратить в практическую повседневность. Он сидел целыми часами, немой и непроницаемый, слушал, скучая, и всем казалось, что он думал о чем-то другом, далеко от тех важнейших вопросов, которые дискусируются на совещании. Он давал всем этим инженерам и экономистам выговориться до конца, до полного изнеможения, а потом сразу обрывал их:

— Все дело, товарищи, сводится к очень простой вещи. Нужно сделать то-то и то-то и—баста.

Потом вставал и уходил куда-то, слепой и замкнутый, грузный от уверенности в своей силе, простой и властный. И все эти седые инженеры с недоумением и почтительностью смотрели на него и ловили одобрение в его глазах. А он видел, что они разочарованы и изумлены его примитивными заключениями, и его простые, практические мысли по поводу их сложных, научно-обоснованных проектов казались им слишком вульгарными и обыденными.

Домой он приходил только спать, и когда видел молчаливую домашнюю женщину, которая пахла кухней и бельем, с угасшими глазами, с монгольским лицом, обрюзглым и водянистым от неподвижности, он вспоминал, что он живет с ней уже восемь лет, что эта забайкальская чалдонка, должно быть, тоскует по сибирским сопкам и по своей прозрачной дикой Ингоде.

И за эти несколько лет ответственной работы он ни разу не ездил в отпуск, не лечился и совсем не думал об отдыхе, чувствовал только одно: на плечах у него—большой груз неотложной работы, и без этой работы жизнь для него невыносима. Он восстановил промышленность в крае, построил одну электростанцию, которая насыщает энергией целый район, построил завод земледельческих машин и, когда ездил на постройки или на открытия заводов, всегда переживал большие встряски, которые не забудутся никогда.

А теперь в эти пустые бессонные ночи он мучился от бессмысленного бездействия, от духоты санаторной комнаты, от комариных шумов, и его мысли о работе казались тоже пустыми—будто машина на холостом ходу.

Впервые он почувствовал, что он смертельно устал. И не знал, от чего устал: может быть, от того, что заработался, надорвался от переутомления, а может быть, от этой душной пустоты и вынужден-

ного безделья. Раза два он писал письма к товарищам — большие, обстоятельные, с бесчисленными запросами, соображениями, предложениями, и в эти моменты чувствовал себя опять в своем кабинете, где он пишет доклады по очередным вопросам хозяйственного плана.

В последние дни у него появились неожиданные мысли, и он почувствовал себя совсем другим человеком. Вся эта густая толпа больших — партийцы, рабочие, комсомольцы — поразила его: все они несли в себе облик тех привычных людей, с которыми он встречался и дома, — на партсобраниях, на производствах, в учреждениях. Но он впервые увидел в них такое, чего не замечал раньше: поразила его странная их развязность, а в глазах — пьяная влага. Все были необычно горласты и бесцеремонны. И женский смех, раскатистый и дикий, грохотал по коридорам, в вестибюле и на улице с раздражающим бесстыдством. Случилось так: он сходил по лестнице на процедуры. Сзади него смеялись и задирали его женщины. Он сделал вид, что не слышит и не замечает их. Неожиданно они навалились на него мягкой бабьей тяжестью, и почувствовал на плечах и на спине их груди и липкие руки.

— Бери его, несчастного больного, на руки. Снесемте на солнышко.

И он неустойчиво забарахтался в воздухе. Ему чудилось, что его щупали множество бабьих рук: они терзали его щекоткой и рыхлой мягкостью объятий. Долго не мог после этого твердо стать на ноги и оправиться от стыда и неиспытанной гадливости... А они, уже близкие и доступные, жадно и влажно звали его глазами, и тела их, округлые, рвущие тонкое полотно платья, казались голыми и дрожащими от его близости.

В часы отдыха, сбившись в курилке, расплываясь тенями в удушливом грязном дыму, мужчины дурманно громоздили небывалую похабщину и с наслаждением барахтались в мате. Ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о своей работе, о любви к ней, об общественных делах. А если говорили о заводе, о производстве, — больше жаловались на расценки, на администрацию, на охрану труда, на колдоговоры, на кооперацию и безнадежно махали руками. Часто вспоминали о событиях гражданской войны и с горящими глазами хвалились своими подвигами, — хвалились наперебой, мешая говорить друг другу, и создавали легенды — одну невероятнее другой. А когда, изнуренные воспоминаниями, обалдело глядели в дымные стены, вздыхали мечтательно:

— Да, друзья... было времечко... не забыть и в могиле...

А потом — опять мат и похабные анекдоты.

Да, это были обычные люди — массовые работники, которые насыщают все учреждения и организации и с которыми встречаешься каждый день. Почему же они, сорвавшись с цепи, так безобразно и унижительно выворачивали изнутри все самое мерзкое и гнусное и ненасытно купались в своей собственной грязи? Акатуев со страхом

чувствовал, что не может бороться с этой грязью, и вязнет в ней сам, беспомощно и безнадежно. Были моменты, когда решал немедленно уехать обратно — бежать от всей этой мути, как от заразы, как от смертельной опасности.

Но, как только встречал Марусю и думал о ней, он забывал о своём решении. Странно, Маруся была, как все комсомолки, — живая, радостная, с круглыми невинными глазами, бесконечно милая, ядреная от полнокровной юности, но что-то в ней было такое, чего не мог он определить, и что вросло в него глубоко и неотразимо. С первого же дня встречи эти ее глаза и неудержимая молодость внезапно ослепили его и опьянили кровь восторгом и нежностью: она вся трепетала в нём, цветущая смехом, и этот смех и молодость дрожали в каждой клеточке его тела. И давно неиспытанные волнения и какие-то замиранья в сердце, которые он знал только в молодые свои годы, остро мучили его в те мгновения, когда он оставался один. Незаметно и быстро сжился с потребностью видеть ее хоть на короткий миг и чувствовать ее девичью близость.

Он ловил себя на одной жадной и назойливой мысли: если бы он обнял ее хоть раз и поцеловал, как мальчик, он стал бы совсем другим — тоже молодым, бодрым, полным сил и радости. И мир обнажился бы и загорелся бы той солнечной весной, какую он переживал только в детстве.

Днем, когда Акатуев встречался с Марусей или сидел рядом с нею за столом, душа его улыбалась ее улыбкой, и кровь смеялась в сердце ответными молодыми ударами. Он хотел постоянной ее близости, и ее голос, ее кудри, безоблачные ее глаза и непоседливая ее суетливость были ненасытно желанными. И когда не видел Маруси — был молчалив, угрюм и старчески грузен. В эти минуты он тосковал по ней и искал ее по всем коридорам и по аллеям сада. Ночи были полны отчаяния, и одиночество его было сплошной пыткой. Уже не думал он о делах, о том, что осталось там, за тысячу верст, и портфель его, истерзанный пятью трудовыми годами, был уже невыносим: в нем отражались эти годы непереносной страдой будничных дел. Он спрятал его в чемодан, на самое дно, и не вынимал до самого отъезда.

Эта ночь была особенно невыносима. Он лежал и слушал обычные шорохи успокоенной тишины. Кто-то храпел за стеною, и она дрожала низкой струной. Эта тишина была похожа на безысходность. Но струнный храп человека за стеной был назойлив и нестерпим. Ему было душно, и он метался в жару. И в ушах волновался невнятный звон, где-то далеко играла музыка, и ливнем пели волны в прибрежных камнях. Скорбно вздыхал, покинутый и одинокий, маяк-ревун на пустынном рейде.

И вот в этот миг мучительно захотелось ему увидеть Марусю и почувствовать ее близость. Кажется, будет легче, если даже коснуться ее двери, которая источает запах ее рук.

Он встал с постели, оделся, и в мягких туфлях пошел к двери. Делалось это без участия его сознания, точно во сне. И как только рука его коснулась латунной ручки и ощутила металлическую ее прохладу, он очнулся и остановился в изумлении.

— Неужели это — я, председатель совнархоза, старый партиец, бывший начподив, крадучись, иду, как мальчик, к двери девчонки и мечтаю о любви? Если бы увидели меня теперь мои уважаемые спецы и сотрудники?... Глупо, нелепо, пошло.

Он болезненно почувствовал, что лицо его обожглось от прихлынувшей крови.

— Чорт знает, что такое! Этому надо положить конец. Если и завтра будет такая же катавасия,—немедленно надо уехать.

Он прошел к двери на балкон, распахнул ее и вышел на площадку. Во тьме залива созвездиями мерцали огни и горящими змейками трепетали в невидимой воде. Площадь тоже таяла во мраке: огни кино потухли, и неясный силуэт памятника, размытый в контурах, дыбился выше крыш и казался грозным. На вокзале утомленно и задумчиво вздыхали гудки паровозов и сонно дышали паром. Звезды были неправдоподобно маленькими и тучами пылились, как облака искр. Было пустынно и неприятно. И в воздушной ночной пустоте он почувствовал, что он — один, и нет в мире ни одного человека, который понял бы его в эту минуту и сказал бы ему простое, задушевное слово.

Акатуев возвратился в палату и вдруг понял, что не выдержит и выйдет в коридор.

— Все равно. К чему притворяться, если я уже не уважаю себя? К чорту!

Он осторожно повернул ключ и отворил дверь. В коридоре было пусто и сумеречно: горели только две синие лампочки у самого потолка. Здесь было так же душно и так же не хватало воздуха, как и в палате.

— Ну, что, брат Акатуев, и ты выворачиваешь свое нутро? Вот так администратор!... Настоящий Ромео... Роковая любовь...

Но и это угасло. Неудержимо билось во всю грудь и замирало сердце, и он весь дрожал странной мелкой дрожью, как в ознобе.

Он стоял около двери Маруси и прислушивался — нет ли за нею шорохов и глубоких ночных голосов. И ему чудилось: вот-вот она выйдет из двери, взглянет на него в изумлении во весь размах глаз и засмеется. Но за дверью была тишина и сонный покой.

Шоркающие шаги рокотали по коридору, как шаги целой толпы, и Акатуев сразу же увидел недалеко впереди призрачно-четкую фигуру Мазина. Он шел босой, в синих трусах до колен и с удивлением пристально смотрел на Акатуева.

Тихо, почти шопотом, он спросил издали:

— Вы чего это бродите здесь, товарищ Акатуев?

— А вы чего?

— Не могу заснуть. Хотел пройти в уборную освежиться водой.

— Как будто не по пути: уборная в противоположной стороне.

— Это неважно. Я увидел вас издали: вы крались, точно вор. И я подумал, что вы страдаете лунной болезнью.

Он подошел вплотную к Акатуеву, и в его глазах мутно чернела ненависть. И Акатуев понял, что и Мазин вышел неспроста: совсем не нужна ему была уборная, а столкнулись они здесь потому, что оба были во власти одной и той же силы, которую нельзя было пре-возмочь.

— Боюсь, товарищ Мазин, что вы сваливаете с больной головы на здоровую.

Мазин ничего не ответил и дрожал той же мелкой знобной дрожью, как и Акатуев. Эту неугасимую черную ненависть увидел в глазах Акатуева и Мазин, и между ними навсегда легло непререоборимое расстояние.

Они оба в упор молча посмотрели друг другу в глаза и сразу же отвернулись, и лица их дрогнули судорожными гримасами.

## IX

Праздничные дни нарушали весь стройный распорядок в санатории. С самого утра после чаю больные бездельно и глупо толпились около фасада здания, мечтательно смотрели в небо, в море, на далекие дымные холмы, медленно расплзались по площади говорливыми группами, парочками и рассыпались улицами на целый день. Стояли фаэтоны и линейки перед толпою, и извозчики крикливо и возбужденно торговались долго и назойливо. Люди густо нагружали экипажи и отъезжали от санатория в разные стороны. У всех были праздничные, бездумные лица, немного глупые в улыбках. Иные шли на пристань, к солнечной мраморно-прозрачной колоннаде, и брали лодки на прокат. В санатории оставались только слабые и с больными ногами. Они густым рядом садились на скамьях вдоль стены и жарились на солнце, как старики, или по-черепашьи уползали в сад и спускались к самому берегу. Там в одиночку рассаживались на ноздристых отшлифованных камнях, как бакланы, и, ослепшие от солнца и кипящего блеска моря, долго, безмолвно парились в прибрежном влажном зное, слушая грустный, певучий плеск волн, ползающих по гальке и раковинам. Глубоко и печально ухал вдали буюк-ревун, и всем казалось, что это в недрах своих вздыхает море. Легко и воздушно летали в лазури над зеркальным заливом гидропланы, пернато поющие пропеллерами, а в маревой дымке залива, похожего на тихое блистающее озеро, успокоенно дремали лодки, и с них полгушачьи прыгали в море голые люди с криком и хохотом. Эти крики и хохот были призрачно далекие и не тревожили лазоревой тишины.

Маруся теребила Софью Петровну и тянула ее к фаэтону.

— Ну, Софья Петровна, ну, родненькая! Поедем. Вы только сидите и сидите. Надо же подышать и небом.

Софья Петровна отмахивалась с обычной материнской улыбкой.

— Ах, куда мне, Марусенька, с моими ногами. Что ты, девочка! Я и здесь без няньки обойтись не могу, а ты меня тащишь в путешествие... Поезжайте на здоровье, а я здесь поползаю по тротуару и по саду. С меня и этого довольно.

— Шагай, Марусенция. Борзые кони бьют копытами и рвутся вдаль, как ветер.

Мазин стоял на подножке фазтона и был по-мальчишески юрок, возбужден и смеялся ядрено и радостно. Он горел на солнце чистой рубашкой, рыжими вихрами и весь искрился бронзой. Акатуев, грузно и упруго, напряженный здоровьем и кровью, ходил около лошадей и любовно гладил их по сизой шерсти. Он раздувал ноздри и улыбался про себя, точно нутром чувствовал какое-то сродство между лошадьми и собою.

Селя как-то сразу — все трое вместе, и как-то само собою случилось, что Маруся села рядом с Акатуевым, а Яша — напротив, спиной к извозчику.

Чайкина размахивала руками, скалила зубы и горланила на всю площадь:

— Маруся, не будь дурой. Ты — одна среди этой обезьяньей банды, не теряй головы и держи их на прицеле. Я знаю им цену, мордатым.

Мазин призывно махнул рукою:

— Товарищ Чайкина, будь храброй женщиной — присоединяйся к нашей банде. Люблю чувствовать близость врага.

— Ну вас к чертям! Я — толстая: раздавлю тебя, как червяка. Я привыкла драться на расстоянии. У нас — своя банда. А вас я везде достану своим горланом.

И правда: она горланила всем нутром, и казалось, что от ее рева дрожали лошади, стены санатория и глохли люди, которые смотрели на нее с тревожным изумлением.

— Вот мы с кем поедем — с самыми верными моими союзниками и сердечными друзьями. Вот.

Она облапила Софью Петровну и Мордых, придавила их к своим плечам и со смаком и свистом поцеловала и того и другого поочередно.

Мордых смущенно, по-воробыному хихикал и морщил жухлое лицо растерянно и беспомощно.

— Ведь вот, будь ты неладная. Не баба, а — партизан. Нашей крови баба — цены ей нет.

Чайкина скалила зубы и расцветала улыбкой, и эта улыбка не шла к ее неженскому лицу: она была ребячьей и застенчивой.

Софья Петровна болезненно морщилась и была беспомощна и покорна под ее рукою.

— Совсем ты изуродовала меня, шалая.

А Марусе казалось, что все эти люди, которые толпились на тротуаре перед фаэтоном, смотрели на нее с прощальной лаской и завистью, точно она совсем покидала санаторий, и чувствовала, что она им близка, что они сжились с нею и унесут с собою память о ней навсегда.

Армянин, чистильщик сапог, скалил белые зубы, махал щеткой от Ограды, и голос его был скрипучий, в трещинах:

— Ай, пам-пам!.. Пачему уезжаешь — меня обижаешь?.. э? Нех-х-харашо, душа мой... Чалавэк веселый — батынки должна быть веселый... Батынки блэстыт — душа блэстыт. Какой батынки — такой и чалавэк. Э? неправда, да?

Потому ли, что мягкий и плавный полет на фаэтоне успокаивал, укачивая на рессорах, или потому, что городские улицы, с плывущими по обе стороны каменными пыльными особняками и праздничными людьми на тротуарах, развлекали их, — все трое молчали и смотрели в разные стороны. Маруся чувствовала теплую, животную тяжесть Акатуева, и ей чудилось, что она растворяется в ней, делается меньше ростом и слабенькой, как ребенок. Мазин ни разу не взглянул на нее — был слепой, мутный, чужой и почему-то тревожно замкнутый.

На окраине, около пивной, похожей на притон, толпились пьяные, орали и махали руками. В гуще толпы кто-то в изодранной рубаше и с лицом, обмазанным кровью, надрываясь до хрипа, рвался кого-то бить. Его хватили за шиворот и тащили назад, а он выл и размахивал кулаками. Из толпы оторвались трое парней и с гиканьем побежали за фаэтоном. Маруся с'ежилась и прижалась к Акатуеву.

— Это — наши шелопаи. Вот мерзавцы!

Комок рыхлой земли пылью взорвался на боку лошади. Кони испуганно рванулись и понесли. Извозчик растерянно оглянулся и плаксиво взвизгнул в косноязычном мате. Акатуев попрежнему был спокоен и тяжел. А Мазин вдруг осунулся и побледнел.

— Я этого не оставлю. Надо, товарищ Акатуев, решительно потребовать изгнания их из санатория. Обсудить о них вопрос и сообщить в их организаци. Это — гнусная зараза, с которой необходимо бороться самыми крайними средствами.

Акатуев невозмутимо, рассеянно и нехотя сказал в сторону, не прерывая своих мыслей:

— Не волнуйся, товарищ Мазин. Ты должен знать, что эти юнцы — не хуже других: ведь это бытовое явление. Надо бороться другими средствами.

Маруся выпрямилась, и глаза ее загорелись смехом. Спокойные слова Акатуева точно налили ее силой.

— Они — жалкие трусы. Я им здорово нахлестала морды. Яша — свидетель. Пусть они попробуют еще раз затронуть меня.

Акатуев засмеялся, ожил, и в лице его вспыхнуло что-то юное, похожее на огонек в Марусиных глазах.



— Истинная храбрость, Маруся, чужда рассудочности. В мозгу живут только черви, а глубокое чувство омывается кровью, кровь же питается только солнцем. У Мазина — не то: его мозги источают черви, и поэтому он скоро превратится в сухую воблу.

— Bravo! Он совсем не любит природы, а на солнце смотрит с практической точки зрения.

— Он будет, Маруся, хороший хозяйственник.

— Не сомневаюсь: он будет такой же умник, как ты, и будет так же важничать. Такой же будет генерал. Я — вместе с природой и — сильнее вас.

— Правильно. Я — на вашей стороне. Плохо то, что наша молодежь — слишком рассудочна и схоластична. Даже так называемое комсомольское веселье слишком похоже на параграф инструкции.

Мазин пристально посмотрел на них потухшими глазами, и лицо его стало желчным и пыльным. На одно мгновение он прищурился на Марусю, и она увидела в спрятанных зрачках острую вражду.

— Что ж... примем к сведению... Мы должны равняться по старым партиям... Не беда, если они болтают глупости и разлагают молодежь. Во всяком случае, я протестую. Я и впредь буду считать дураком всякого, кто будет отрицать, что чувство природы прямо пропорционально созерцательной пассивности. Я могу жить только в орбите действенной активности.

У Маруси округлилось лицо, и глаза стали огромными от смешливого изумления. Она напряженно вытянулась и заволновалась, торопливо отмахиваясь от него руками.

— Брось, Мазя, молоть околесицу. Брось. Барабанишь ты какой-то книжной крошкой. Шпаргалка-парень.

Акатуев обнял Марусю и прижал к себе.

— Молодец, Маруся. В тебе неизмеримо больше здоровой силы, чем в обоих нас, вместе взятых. Мазин — буквоед. Это — профессиональная болезнь. Но вы поглядите на него, шельмеца: язык у него шелестит брошюрами, а сам все-таки едет с нами наслаждаться просторами.

Яша все больше тускнел и враждебно замыкался в себя. Лицо его стало синеватым и острым, как у трупа.

— Ты ошибаешься, товарищ Акатуев. Я еду с вами по другому поводу. Мне необходимо осмотреть наши крепостные сооружения.

Акатуев насмешливо заиграл глазами.

— Ах, да, я и забыл. Но не слишком ли ты загружаешь себя деловыми прогулками, товарищ Мазин?

Мазин с ненавистью скользнул по нем взглядом, и этот взгляд нечаянно оцарапал Марусю.

— Я не привык бездельничать. Но я замечал не раз, как ответ-работники, старые партийцы сибаритствуют, заражаются эстетством, очень любят природу и зазнобистых женщин.

Акатуев пылливо и спокойно уставился на Мазина и усмехнулся.

— Такие есть. Я бы сказал сильнее: есть просто мерзавцы, которых надо гнать из партии, как элемент разложившийся и зло-вредный. Но что ж плохого в том, что партиец и ответработник любит природу и эстетствует, то-есть любит красоту? Сибаритство и женщины — это, конечно, плохо. Нельзя же, товарищ Мазин, чтобы партийцы и ответработники были деревяшками, анахоретами, бездушными автоматами. Полнота жизни и творчество — это необходимые условия для роста личности. Не забывай, что мы творим новый мир, то-есть новую культуру, нового человека, новые отношения между людьми.

Мазин упрямо и желчно оборвал Акатуева, глядя поверх его головы:

— Нам этими прекрасными вещами некогда заниматься: мы слишком бедны, у нас еще хозяйственная неустроенность, еще рабочие влачат полуголодное существование. Рано заниматься сытой лирикой. В нас еще цепко сидит мещанин и поет нам о безмятежном покое и благополучии. А особенно его морда самодовольно ухмыляется в таких значимых местах, как наш санаторий.

— И это есть. Но нельзя выдавать частный факт за общее явление. Это — паникерство.

Мазин зло и упрямо огрызнулся:

— Мещанство и мерзость махрово расцветают в бездельи. Мы все здесь во власти дурной крови. Здесь нет твердой почвы и целеустремления. Здесь — зыбь. И все страдают морской болезнью.

Маруся впервые видела Мазина в таком состоянии. Эта тусклая трупная маска, с глазами, налитыми мутью, испугала ее. И от того, что он дергал головой и плечом, а лицо его осунулось и помертвело, он был похож на урод. И ненависть в глазах, и его враждебное отчуждение рвали в душе Маруси какие-то дорогие нити. Ей было больно, что Мазин — иной, чужой и невиданный до сих пор, что сейчас он не чувствует ее близости. Сердце ныло от обиды, и ей самой хотелось сделать ему больно.

— Мазю укусила какая-то блоха, и он тяпает топором по пустому месту. Я не желаю его слушать.

Она почувствовала, как Акатуев тепло и грузно прижимается к ней, и опять огромной волной плеснула в нее непереносная его сила. Где-то глубоко птицей вспорхнула радость, и она неудержимо залихватисто засмеялась.

— Чучело! откуда у тебя такой загробный лай? Сидит лягушкой и квакает.

Было душно и знойно. На небо нельзя было смотреть: оно все пылало пламенем. Солнце было над головами, но казалось, что оно было всюду, и воздух клубился и плыл в хрустально-маревой зыби. По обе стороны волновались обожженные холмы, усыпанные желтыми камнями, и они были похожи на огненные цветы. Всюду было пустынно, голо, безжизненно, и горячий воздух обжигал лица

и легкие невидимым пеплом. Вдали за каменным взгорьем, над холмами и разрушенными утесами, пылающими огненным раскалом, густой и темной лазурью разливалась необъятным полукругом странно вздыбленная даль моря. Она была беспокойна — упругими миражными волнами струилась в этом жирном полукружии, вихрилась и воздушно таяла в блистающих небесах. Налево, в узеньких чашах впадин, зелеными пятнами квадратились огороды, и темными веничками торчали молодые кипарисы и тополи. Направо, на уродливых прибрежных скалах, похожих на блестящие черепа, громоздились отвалы камней, чернели ямы и мусорные кучи, а среди них — ровные блестящие площадки и причудливые сооружения.

А прямо, на взлете взгорья, дымился зеленым облаком лесок. Около него — опять кучи камней, канавы, долинки в кипарисах и развалины каменных зданий и стен.

## Х

Яша спрыгнул с фаэтона и широкими стремительными шагами пошел по камням к руинам построек, угасших в тысячелетиях. Потом сразу же остановился, обернулся и поднял руку.

— Вы меня не ждите, товарищи. Я пойду берегом обратно. Там есть много для меня интересного.

Сказал это сурово и бездушно, и лицо его было попрежнему покрыто пылью, а глаза — тусклые, неживые, в бельмах.

Акатуев стоял поодаль от Маруси и, раздувая ноздри, нюхал воздух. На Яшу он не взглянул и будто не заметил его ухода. Маруся с тревогой и изумлением провожала Мазина глазами и порывалась бежать за ним, но не решалась. Почему так внезапно он бросил их и ушел один, чужой и далекий?

— Яша! Это — возмутительно и не по-товарищески. Ну, куда тебя понесли лешие? Воротись!

Но он не оглянулся: он не слышал — был глух к ее крику. Широко и торопливо он шагал по пустырю, засоренному щебнем и камнями, пережженными солнцем, и на изрытом горбыле, на фоне воздушного провала, он казался большим и одиноким. Этот неприятный пустырь в развалинах древних забытых человеческих жилищ, засыпанных тысячелетним мусором и пылью, обмызганный дождями и суховеями, казался одичалым кладбищем, а эти бурые и желтые известняки — изуродованными черепами, выщербленными из могил.

— Ну, чорт с тобой! Скатертью дорога! Пожалуйста!

А у самой дрожали слезы в глазах. Акатуев взял ее под руку, и она покорно пошла с ним, не зная куда. В движениях его была ласковая мягкость, неуклюжая осторожность и скрытая нежность: так, должно быть, он ласкал котят и щенков. И Марусе было смешно и немного жутко.

— Зачем мы сюда приехали? Что тут хорошего? Только одни обломки, камни и мусор. Я не люблю кладбищ.

Она чувствовала тяжелую теплоту его руки и молчаливую таинственность его влечения к ней. Это странное — немного конфузливое и пристальное—влечение билось смутной тревогой в сердце и неосознанным страхом. Ей хотелось вздохнуть глубоко, всей грудью, и опять почувствовать себя легкой, крылатой, чтобы свободно полететь навстречу воздушному простору и густому, безбрежному разливу моря, зеркально уходящему за мерцающий горизонт. Но рука Акатуева приросла к ней и была неотразимо тяжела и любовно-ласкова.

— Мы, Маруся, сейчас дойдем до утесов и спустимся вниз, к морю. Там ты увидишь настоящую красоту. Я здесь был когда-то — в дни борьбы с Врангелем. Природа здесь полна контрастов и неожиданностей. Унылая пустыня внезапно превращается в сказочные картины. Нам нужно пройти только эти могилы минувших эпох. Ты видишь, мы идем по узенькой улице античного города. Когда-то здесь горели на солнце чудесные мраморные дворцы в коллонадах и портиках. Здесь была шумная жизнь торгового города. На площадях и в храмах бродили софисты, христианские проповедники, рабы, патриции, клиенты, воины в металлических доспехах. Здесь была когда-то напряженная классовая борьба, лилась кровь, расцветали пиры аристократов. Может быть, на том месте, где мы сейчас идем, были произнесены первые слова любви, а может быть, бичами стегали рабов, как наши извозчики лошадей. Возможно, что здесь же произносились бунтарские речи обездоленных, или фантастически вопили христианские апостолы. Многое, что исчезло под пластами этой земли и впиталось этими камнями и обломками статуй и колонн, — слезы, страдания, вера в будущее, кровь, — все это в других формах передано через века нам. Вот это самое солнце светило тогда так же, как и сейчас, и так же плескалось море у этих берегов. Может быть, так же шли в эту же сторону, к морю, по этой же улице, двое таких же, как мы — такая же кудрявая девочка и какой-нибудь философ — и говорили о прошлом.

— Я — вовсе не девочка, а ты — не философ. Ты — просто ответработник и хозяйственник.

Она с усилием освободила свою руку и побежала вперед, встряхивая золотыми кудрями. Под коротким платьишком, похожим на ночную рубашку, ядрено наливались плечи и спина. Вся она была в движении, и жизнь играла в ней кровью и ненасытной радостью. Издали она казалась прозрачной, как чайка, легкой в полете: так и казалось — взмахнет она руками, запляшет, запоет и засмеется.

Акатуев шел за нею сильными шагами и, не отрываясь, смотрел на нее, и сердце его не успевало бороться с кровью. Ему хотелось догнать ее, схватить и раздавить в обнимке. Она не обращала внимания на раскопки руин — на площадки форума, на фундаменты храмов

и зданий, на улицы и переулки, на изуродованные остатки колонн, статуй и подземных церквей. Она вся стремилась в даль, к морю, к воздушному простору. Он, тяжелый, грузный от прожитых лет, от огромного опыта гражданской войны и тяжелой хозяйственной работы,—он идет широким зрелым шагом тридцатилетнего мужчины, а она — вон, далеко, оторванная от него, своя, непонятная, легкая, как птица, еще ребенок. Мир распахнулся перед ним, и мир был полон молодости и солнца, а он чувствовал себя усталым, оторванным от этого мира, и был в нем непривычно-чужим, одеревневшим, а она вот жила этим миром и была в нем своя, как тот вон дельфин, который играет в зеленой зыби. И если бы он испил вина от ее крылатой юности, крепко прижал ее к себе, а она обняла бы его и сама на его груди стала бы пьяной, — он стал бы иным — он родился бы к новой жизни, и это солнце, и это небо растворились бы в его крови неиспытанной силой и мощью.

И эти годы лежали на нем, как тяжелая суровая ноша. И работа его была — не радость, не подвиг, полный энтузиазма, а угрюмая обязанность, деловая поденщина, которая измотала его и ожесточила своей суровой необходимостью.

Вся его жизнь с детских лет была жестокой борьбой. Еще мальчиком он ушел из семьи. Скитался по чужим людям, и детские дни меркли в подвалах и лачугах, и эти дни были промозглые, пропитанные железной ржавчиной, скрежетом напильников, минеральным маслом, известью, красками, грохотом молотков, пресной пылью свинцового шрифта, удушливым дымом и окалиной угарно-темных, 'оглушительно-лязгающих вагонных мастерских. Там узнал первые волнения в подпольях революционных кружков. Там же узнал неиспытанные радости дружбы с необыкновенными людьми и ослепился от необычных мыслей, насыщенных дерзновенной смелостью и силой. И там же впервые отравился на всю жизнь чудесной мечтой о подвигах, о будущих победах пролетариата, о социальной революции. И с тех пор стал опьяняться книгами — их притягательной мудростью и пережил первые страдания взбудораженной мысли. Потом — техническое училище. Паровоз. Каторга. Революция. Гражданская война. Ответработа. Дни, которые шли мимо него, за стенами и окнами учреждений. Ночи — в табачном дыму, в непрерывных заседаниях, в ворохах бумаг, головной боли от усталости. Восстановление заводов и фабрик, топливо, транспорт, электрификация, пищевые продукты, кожевенное производство, производственные совещания, изобретательство, режим экономии, рабочая сила, техническое руководство... И — переутомление, болезнь. Два сердечных припадков и панический страх смерти. В работе не видел людей, а только живые аппараты. Сходил с женщинами и не видел женщин. И не знал, что такое любовь. Мерещилось, что когда-то в книгах эта любовь трепетала белыми крыльями. Книг уже не было в руках это было в далекой юности. А сейчас — только тяжелая деловая страда, и мучительная

бессонница. И вдруг он точно вынырнул в другой мир, в иное изменение, и перед ним открылись необъятные лазурные дали и воздушная глубина, горящая солнцем. И в этом мире он вдруг с изумлением увидел Марусю — девушку, полную радости, с которой она не может совладать. Вот она, вся земная, поющая смехом и солнцем, — такая простая и невиданная раньше никогда. Она влекла его неиспытанной жизнью и новизной и была дорога, как далекое прошлое, как эта вот простая и родная былинка на дороге, такая золотистая и зеленая, которая дрожит от тихого бриза, плывущего с моря... Отдохнуть и забыть все эти угарные, непосильные рабочие дни, замкнутые в деловом кабинете, под тяжестью нескончаемых дней, уходящих в будущее... Отдохнуть и отдаться голубому простору — опьяниться животной свободой, хмельно пахнущей землей и морем в манящей зыби, и этим пернатым небом в облачном цветении.

Маруся стояла на краю утеса в аспидных ребрах и смотрела вниз с изумлением и криком. Платьишко трепалось позади, и ноги ее и грудь упруго и четко просачивались через материю. Кудри трепыхались золотом и вихрем дымились над головою.

— Ну, и красота же, товарищ Акатуев, — вот чудеса! Ах, какой же дурак этот Мазин!

От нее немного пахло терпким потом, и вся она была близкая, доступная, доверчивая и безгрешная. Она наклонялась над обрывом, как будто хотела полететь, как птица, над бездной, и никак не могла успокоиться от восторга и изумления.

— Ты погляди только, товарищ Акатуев. Внизу — будто тоже небо, а мы — будто плаваем в высоте... Ты летал когда-нибудь на аэропланах?

— Маруся, осторожнее, голубчик: ты нечаянно можешь сорваться и разбиться на смерть.

Она взмахнула руками и заплясала над пропастью, и лицо ее и глаза вспыхивали пьяным наслаждением и озорством.

— А я не боюсь! А — я не боюсь!... Я не только на земле хочу, но и — в воздухе...

Он схватил ее, прижал к себе и отнес немного назад. И когда он смотрел на нее, Маруся увидела бледное испуганное лицо, раздувавшиеся ноздри, глаза, налитые страхом. И в его обнимке в это же мгновение она вдруг ощутила странную горячую дрожь.

— Ого, да ты тоже пугаешься и трусишь, как все. А я думала... И посмотрела на него разочарованно и насмешливо.

— Маруся, я прошу не шалить... рисковать глупо. Давай спустимся вниз, к морю.

— Не хочу. Я пока хочу посидеть на высоте. Садись. Ближе к краю... Что ты пыхтишь, как баба...

Он показался ей смешным — неповоротливым, сырым и мешковатым.

— Садись! Милости прошу! Не свались! А то рухнешь, как бурдюк.

И не смотрела на него: села легко, будто играла. Коленки выскользнули у нее из-под платья, круглые и наивные, а она не видела — смотрела на море — не закрывала их. И в этой ее откровенности была детская чистота. Он сел около нее, свалился на бок и, опираясь на локоть, положил голову на ладонь.

Сразу же перед ним обрывалась воздушная глубина, огромная до головокружения, и каменные ребра утеса, в сизых острых обломках и зубьях, в трещинах и размывах, отшлифованных ветром и раздробленных солнцем в мелкий щебень во впадинах, были первоначально дики, ржавы, изуродованы веками. Эта мерцающая, взволнованная глубина казалась бездонной, и зеленая пучина в спиралях зыби была густой, янтарно-дымной, как мед. Снизу, из бездны, она поднималась в небесную даль и там, недостижимо далеко, зеркальным горизонтом скользила по лазури, как вздутая орбита космически-необъятного пузыря. Она врзалась в дымно-прозрачные скалистые далекие берега и вправо и влево, и видно было, как упругая зыбь взрывалась о прибрежные камни сугробами пены и вьюжным вихрем брызг. Вспыхивали и трепетали огненные чайки. Они невесомо падали на зеленую зыбь и замирали в трепете крыльев. А потом опять взлетали, подхваченные солнечными вихрями, стряхивая алые ноги, как кровавые капли. Где-то низкой струной пел в воздушных просторах аэроплан. И крылом белой птицы застыл в неподвижности острый треугольник паруса, и казалось, что он реет где-то в небесных просторах. Откуда-то справа, из-за клыкастых руин утеса, стонало невидимое и неведомое чудовище: это мычал по-бычьему буюк-ревун у далекого облачного мыса.

Маруся присмирела и стала маленькой и хрупкой, как ребенок. Она смотрела в даль, очарованная и необычная, и глубоко вздыхала.

— Это — сказка, Маруся. Неправда, когда говорят, что сказки, это — то, чего нет. Сказка, это — действительность, которая живет за пределами наших будней. Сказка, это — такое состояние, когда человек отдается во власть природы или человеческих массовых стихий. В первом случае мы — как эти чайки, а во втором мы совершаем великие подвиги.

— Брось философствовать, товарищ Акатуев. Ведь до чортиков хорошо и без философии.

Все осталось позади, и вчерашний день, сгущенный в глухих стенах рабочей комнаты, в бестрепетных цифрах и докладах, в угарных заседаниях, в выполнении плановых заданий, в проведении хозяйственных кампаний, в кропотливом изучении всяких вопросов, связанных с проведением режима экономии, индустриализации края, социалистического накопления и т. д., — все это ушло вместе с каменной устойчивостью трудовых дней без рассветов и вечерних зорь. За эти восемь лет он не знал сладостного молчания успокоенной крови и тихого звона отдыхающего мозга. Он забыл, как шумят деревья в лесу, как пахнет трава по утрам, ядреная от

росы, в алмазных переливах, как вздыхает кукушка в синеем на взгорье перелеске, как в лиловые вечера по полям, неизвестно где, плачут и смеются девичьи песни. Он нес в мозгу, в крови, в мускулах только надсадные, напряженные дни бесконечной трудовой повинности. Ему казалось, что это была изнурительная сизифова работа: он неустанно и непрерывно ворочал огромные тяжести и привык думать, что этих тяжестей никогда не переносить. Чем больше, чем лихорадочнее он ворочал их, тем больше их громоздилось и тем огромнее была их тяжесть. И странно: он чувствовал себя обреченным, знал свое предназначение, и это бремя тогда не мучило его отчаянием и страхом за себя. Это было неизбежно и необходимо. С процессом этих работ он сросся: у него не было тоски по свободе, и голову не отравляла мысль, что он — обречен, что он — раб, что он — пленник на всю жизнь. И не думал об отдыхе.

Он неотрывно смотрел на Марусю, вдыхал какие-то терпкие ее запахи, и она казалась ему необыкновенной, выхваченной из сказки, невыразимо красивой, целомудренно прозрачной. В ней жила сгущенная сила, как в этом знойном солнце, в этих раскаленных камнях, в этих золотых мочках травы, которая упрямо и могуче брызгала из-под камней и неудержимо тянулась к солнцу. Он смотрел на нее, и волны неиспытанного восторга, нежности и любви проходили через его сердце, и оно замирало, обливаясь взволнованной кровью.

— Ах, какой же все-таки дурак этот Мазин! Ах, какой же набитый балбес!

— Я понимаю его, Маруся. В природе — много соблазнов. Среди природы человек обостренно чувствует самого себя. А это очень опасно, Маруся, потому что перестаешь надеяться на себя.

Маруся рванулась к нему и озлилась.

— Это — вранье!

— Да, Маруся. В своей изнурительной работе мы не замечаем людей и расцениваем их, как простых исполнителей известных функций. Ты понимаешь, что это значит? За все время моей работы в совнархозе, т.-е. за пять лет, я ни разу не был ни у кого из моих товарищей — не знаю, чем они живут, какие у них привычки и вкусы. Личные связи рвутся и исчезают в нашем быту. А наш быт — это перманентная нагрузка. И в этом быту слово «дружба» исчезает в нашем языке. Меня никто не знает, и все мы очень одиноки по существу.

Маруся изумленно смотрела на него во весь голубой размах глаз, а Акатуев впервые заметил, что у нее — длинные золотые ресницы и заразительно порхающий нос. А в глазах все время переливаются неуловимые ручейки, и лоб не по-женски высокий. Все в ней дразнило избытком хмеля и нетронутой ясности.

— Товарищ Акатуев, можно допустить, что когда-нибудь, миллионы лет назад, люди летали по воздуху?



— Я думаю. Ведь мы прошли бесконечную цепь сменяющихся видов. Наши отдаленные предки были, вероятно, летающими ящерами или что-нибудь в этом роде.

Маруся задумчиво сжала губы и прищурила глаза.

— Да, это верно. Иначе откуда тогда сны, где я летаю легко и свободно?

И сразу же смутилась и засмеялась сконфуженно.

— Я в первые дни боялась тебя, товарищ Акатуев. Мне казалось, что ты сделаешь со мной что-то страшное. Это, вероятно, от того, что ты привез с собой весь свой совнархоз. Ты, должно быть, суровый диктатор и тиран.

Акатуев по-юношески улыбнулся.

— Насчет тирана я бы поспорил, а что касается диктатора, то ты, конечно, права. Я такой же диктатор, как и ты, но мы, руководители всяких органов, несем ответственность за правильное и четкое проведение директив единственного грозного диктатора — рабочего класса. Ну, а теперь ты меня уже не боишься?

— Нисколько. Ты вот лежишь, а мне кажется, что ты очень слабый и мягкотелый.

— Из этого следует, Маруся, что человек творится по образу и подобию своего дела. Работа — великая сила: она держит человека в постоянном заводе, как пружину. Сейчас эта пружина развернулась, и сила ее напряжения равна нулю. По давней привычке, когда я был машинистом, я сказал бы, что я — как холодный паровоз, который пущен в ремонт. Я теперь одного хочу, Маруся, — твоей дружбы и ласки. Я ослабел и хочу, чтобы ты поддержала меня.

Он дотронулся до ее волос, погладил по плечу и робко взял ее руку. Маруся испуганно взглянула на него и взволновалась. Сердце забило, как птица, и оглушило кровью. Когда он положил ее руку на свое лицо, шершавое от бритья, а потом поцеловал ее в ладонь, она, онемевшая, замерла в покорности немого страха.

— Ты — родненькая моя... ты — золотая Маруся...

Этот большой человек, с неотразимой силой и властью в черепе, лежал перед нею, как укрощенный зверь, — слабый, усталый, беспомощный и пьяный. Может быть, потому, что она чувствовала его силу, или потому, что он так нуждался в ней — в ее смехе, в крылатой ее радости, в ее молодой крови, — она покорно отдала ему свою руку и смутно, одним нутром, чувствовала, что она не хочет и не может бороться. Стоит ему протянуть к ней свои руки, схватить ее и смять в обнимке, и она не сможет овладеть ни одним мускулом, не будет кричать о помощи, а только замрет и, может быть, потеряет сознание. Застывшими глазами она смотрела на его властный череп и в опьяневшие черные глаза в угарном блеске и неотразимых ресницах, и в лице ее, немного сбледневшем, ничего не было, кроме слепого изумления и панического вопроса, застрявшего где-то глубоко в мозгу. И во всей ее фигуре, охваченной столбняком, заоченело

ожидание последних мгновений, которые обрушатся на нее смертельным ударом.

Она не заметила, как он сел около нее и прижал к себе необъятными руками. Как сквозь сон, слышала глухие, бьющие в грудь удары сердца и видела его могучее лицо, исковерканное иступлением и невиданной гримасой боли.

Она не знала, сколько времени длилось это самозабвение — может быть, один миг, а может быть, целые часы. Потом сразу же почувствовала, что она сидит у него на коленях, по-детски обнимает его обеими руками и прижимается головою к его груди. И не поймешь: не то это был гул прибоя внизу, под скалами, не то гулкие удары его сердца. И такой маленькой и беспомощной она была в этих его огромных руках, такой ничтожной и изнуренной, что хотелось войти в него, раствориться в нем и не просыпаться прежней, отдельной от него. А он прижимал ее голову к груди, целовал ее в волосы, в глаза, в щеки и нежно ласкал ее могучими руками.

— Марусенька, если бы ты знала... Я совсем стал другим человеком. Не бойся, родная. Я не могу оскорбить тебя. Мне нужно только почувствовать тебя около сердца и приблизиться к твоей юности.

А она не отрывалась от него и замирала от наслаждения. Его грудь была широка и надежна и дышала какими-то неиспытанными одуряющими запахами. И сквозь слезы, помимо сознания, она лепетала, как ребенок:

— Ведь ты помнишь?... ты помнишь, как ты схватил матроса?... этого бешеного матроса... А я... а я вырвала у него нож... Я этого не забуду... не забуду никогда... Ты сильный и большой... И я не знаю, почему так хорошо...

...Она сидела около него на земле, неустойчивая и разбитая. Опираясь руками о камни, она в страхе смотрела на него и ничего не понимала. Мерещилась зеленая зыбь в бездонной глубине, и клубился вокруг огненный воздух. Где-то недалеко пронзительно кричали чайки. Акатуев дрожащими руками ощупывал себя, и лицо его было залито потом, а сквозь поть смотрели мимо нее чужие, отвердевшие глаза и чужое суровое лицо — такое же, каким он было в первый день их встречи.

— Ты прости меня, Маруся. Это слишком зашло далеко... Не надо этого, Маруся... Не сердись на меня... Я совсем потерял голову. Поедем домой, Маруся. Этой своей слабости я не прощу себе. Я еще не изменял себе никогда. Поедем, Маруся. Давай твою руку.

Она с ужасом, не отрываясь, смотрела на Акатуева и никак не могла осознать, что произошло, но чувствовала, что произошло какое-то огромное событие, которое перевернуло всю ее жизнь. С судорогами страдания в лице, она, как дурочка, послушно протянула ему руку и встала. Так же молча и послушно она пошла рядом с ним и вплоть до фаэтона шла, как больная, — вся во власти этого человека, и его рука, горячая и мускулистая, вела ее без всяких усилий, и она казалось тяжелой и нечеловеческой, ласковой и повелевающей.

## XI

До вечерней тьмы Маруся лежала на кровати и не выходила ни к обеду, ни к чаю, ни к ужину. Лежала она с закрытыми глазами, в мутном полусне, без дум, без боли, растворясь в нескончаемом стоне поющих телеграфных проводов, и никак не могла понять, откуда этот поющий стон, и почему сердце бьется раз в раз с этими волнами, плывущими через нее откуда-то из бесконечности. Лежала она неподвижно в вязкой пустоте, без ожиданий, вся пустая, бестелесная, невесомая, без ощущения времени, медленно опускаясь в бездонную глубину, и чувствовала только одно — свое сердце с мерцающим слезным томлением. И не было ни вопросов, ни страха, ни отчаяния, ни удивления перед тем, что пережито. А было одно: лежит она очень давно, и события этого дня мерцают, как мутные образы погасающего сна. И только в оранжевом тумане закрытых глаз, в вихрях искр и вспышек зарева отчетливо широкими взмахами пролетали чайки с острыми крыльями, и широкими спиралями судорожно плыли со всех сторон необъятные полукружия зыби.

Огромной машиной неожиданно наваливалась на нее мутная тень, и Маруся оставалась неподвижной и немой, в туманном полубытьи, будто отдыхала, разбитая изнеможением, а проходила эта тень густым и грузным облаком, и где-то глубоко внутри кричала тоска и боль. На мгновение отчетливо и осязаемо пристально и близко дышало на нее лицо Акатуева в суровой округлости черепа. Глаза смотрели пристально и пронизывали ее до нутра, и в них горела тоска и крик о помощи.

Далеким маленьким призраком вспыхивал Мазин, исчезал и сейчас же забывался. Он широкими шагами, не оглядываясь, шел камнями и щебнем по горбылю холма и четко рисовался на лазури, похожей на далекое успокоенное море. И от того, что он уходил от нее, ни жалости, ни обиды не было у нее. Может быть, она даже хотела, чтобы он ушел от них и больше не возвращался.

Приходила Софья Петровна с рыхлой хромой грузностью, искоса, знаяще шупала ее опечаленными материнскими глазами, но не тревожила расспросами. Маруся отмечала, что Софья Петровна знает, что у ней на душе, но притворяется несмышленной и слепой. Она знает, что Маруся провалилась в беду и барахтается в ней в беспомощности и отчаянии, а помочь ей не хотела. Софья Петровна проходила на балкон, опять возвращалась и опять украдкой вглядывалась в Марусю. И сама с собой, точно не в силах бороться с своим восторгом, тихо вздыхала сквозь шопот:

— Ах, что за чудесный день!... Просто себя теряешь под этим солнцем. Бакланов и чирков стреляют с лодок. Не могу вынести этого ненужного безобразия. Зачем им бакланы и зачем чирки, болванам?

Через полузакрытые веки Маруся смотрела на Софью Петровну и встречала ее затаенный и встревоженный взгляд. Софья Петровна

уходила на некоторое время, и Маруся опять погружалась в свое мучительное и желанное одиночество.

Были минуты, когда она теряла ощущение времени — она жила сразу и прошлым и настоящим. Так бывает во сне или в бреде. События и образы насакивали друг на друга, кувыркались, и жизнь трепыхалась клочками.

...Ужас обрушился на нее из глубокого предутреннего сна. У отца были всклокочены волосы и борода, а в глаза точно плеснули водой. Солдат с винтовкой подошел к кровати, где она, полуголенькая, дрожала в одеялке (оно трепыхалось разноцветными тряпками), сбросил ее на пол и стал раскидывать наотмашь постель. Отец оглушительно завыл и сразу крикнул и задохнулся. Весь мир сплюснулся и огненной головешкой ударил ее по лицу. Комнатка обрушилась и превратилась в обломки. Исковерканная балка брякнулась откуда-то сверху, сверкнула зубами и ударила отца в грудь.

— Не трогать девочку, мерзавцы! Ее никто не смеет потревожить. Это стоит дороже жизни...

...И выпуклые глаза Чайкиной на скуластом мужском лице нахально смеются. Нагая, она хлещет рубашкой бронзовый череп Акатуева и хохочет.

— Гони их всех к чорту! Они — вреднее и подлее капиталистов.

...Яша Мазин, не оглядываясь, уходит по щебню и камням, угрюмо и натужно. За горбылем исчезают его ноги, туловище и голова.

...Четко шлепают ножонками ребята. Барабан. Галстуки это или красные искры? Идут рядами, наплывая друг на друга, поднимают друки в пионерском салюте и кричат одним коротким визгом:

— Маруся! ай!

А потом — вперебой песенный речитатив:

Что же это будет?

Ничего не будет...

Под костистыми глазницами из черных ресниц горячей влагой блистают глаза Акатуева в мольбе и усталости.

— Я еще не изменял себе никогда... Я не прощу себе этой слабости...

Что же дальше будет?

Ничего не будет...

А где-то очень больно и очень горько плачет тоненький детский смех.

Его уже нет... его уже нет... Почему нет его и нет меня? Нет, нет...

В коридоре захлопали двери, и откуда-то шарахнулась горластая толпа и завывала пустотами. Потом сразу же опять затихло. Опять хлопнула дверь, и голос Чайкиной закадычил около Марусиной палаты:

— Жди чорта лысого! Постройшь с вами, бандитами, социализм... Вы только хотите построить свой социализм — для себя. Вы уже и сейчас весь быт нашей жизни провоняли. Туда же — новый

быт! Язык вам выдрать надо за словоблудие. Вас надо перевешать, а потом строить новый быт. Не вы будете его строить, а мы, — мы, освобожденные женщины. Мы боремся и будем бороться не на живот, а на смерть с вами, кобелями, за диктатуру женщины...

Чей-то хохочущий бас всхлипывал от смеха и срывался на кашель. Все норовил возразить Чайкиной, а она глушила его своим неистощимым горланом, и слова ее пробкой затыкали его горло. Случилось как-то так, что бас ловко врезался в ее слова в тот момент, когда она хотела передохнуть:

— Ты хочешь, Чайкина, диктатуры амазонок... Срежешься, Чайкина. Это уже устарело. Знай, голубчик, что амазонки когда-то потерпели крах, взбесились от крови и сами вешались на шеи мужиков... Бабы орудут левой фразой, а сами еще не хотят вылезть из пеленок рабства...

— Стоп, стоп!... Убери язык!...

— Да, да!... Я тебя слушал, послушай и ты меня. Женщина построена так, что она не может жить без самца — хозяина и насильника. Она даже и во сне мечтает о мускульной власти...

Чайкина грубо и больно придушила собеседника одним вздохом:

— Дур-рак ты и балда!

И пошла грохочущими шагами по коридору.

Голос Чайкиной, по-мужски размашистый, разметал Марусин полубред. Не то был сон этот день, не то — явь. То, что было сегодня в густом огненном воздухе, вспыхивающем чайками, над упругими спиралями зыби, — какое-то не настоящее и мерещилось как видение, которое мешалось с детством — давно это было — и растворялось в ушедших годах. И Софья Петровна была давнишней, очень похожей на кого-то страшно родного, которого впервые увидели глаза, рожденные для жизни.

Все обычно и просто. Квадратные стены устойчивы и тверды, и в лиловых струях вечера, которые дымятся сумеречной тишиной, в провале распахнутой двери на балкон, — грустное увядание и вздохи замирающих волн. Дрябло и буднично звонили далеко и близко склянки на военных судах. Где-то очень далеко, должно быть, на берегу за садом, а может быть, в море, два голоса пели какую-то хорошую песню. Она то замирала совсем, то опять наплывала на Марусю, и ей казалось, что этот лиловый вечер тоже весь в зыби. Она не помнила, как поднялась с кровати, не помнила, как вышла на балкон навстречу этим поющим лиловым волнам. Небо за городом было как безбрежное море в далекой стране, где еще горело невидимое солнце, и облака, пепельные, вытянутые, тихие, омывались, как необитаемые острова.

Задив дымился вдали отражениями взгорий, засоренных ворохами хибарок рабочего предместья. И грузные громады военных кораблей аспидными мысами сурово вонзились в воду остриями носов, густо плавилась и стекали нефтью в бездонный струистый блеск. И всюду вода жила своею невероятной жизнью: в раскаленной дымке

смахивались и пышно горели радугой необъятные полотнища вечерних свето-теней — последних вздохов остывающего неба в первой капели звезд. Два голоса еще пели где-то очень далеко, в фиолетовых струях залива. Один из них залился на очень высокой ноте и сразу замер. И Маруся впервые увидела над головою в вечерней окалине неба прозрачную улыбку молодой луны. И опять, как и в прежние дни, непостижимая небесная волна унесла с собою всю душевную сумятицу. Опять Маруся стала другой — пернатой, невесомой, и опять хотелось поднять руки и плавно лететь туда, — к этим необитаемым островам, к этой уходящей солнечной легенде за горбатыми силуэтами гор на горизонте. Как это все ничтожно и смешно! Весь этот день — такой пустой и глупый: и эта поездка на развалины древнего города, и этот Акатуев с его бритым черепом, и тот его лепет о ее молодости и своей усталости, и эти ее непрошенные слезы не то от страха, не то от ребячьей беспомощности. Как она завтра взглянет на него? Он совсем не страшен, и нет в нем ничего необычного и неотразимого, что убивает человека с первого же взгляда. Все эти ответ-работники сильны и могучи в своей работе, и воля их тогда жутка и беспощадна, как маховик. А как только они отрываются от дел, становятся жалкими, беспомощными, как испорченные пружины.

И по какой-то непостижимой причине она вдруг до отчетливых мелочей опять вспомнила о пионерах, которые остались дома — там, где эта заря. Фабричный клуб в красных летающих полотнах, и — крик, толчея... хохочут зубы, глаза, лоснятся щеки от смеха. И крики: Маруся! Маруся!...

И с нежностью в замирающем сердце, задыхаясь от любви к ним, к этим ребятам, которые остались там, она побежала в палату, включила электричество и, дрожа от нетерпения, стала рыться в бумажках на столике. Нашла карандаш, полистала блок-нотик и торопливо зачертила им по бумажке. На первой строчке карандаш хрупнул и брызнул черной пылью. Она вздрогнула, сдвинула брови и озлилась.

Взглянула на острие, и опять карандаш заплясал в ее пальцах.

## ХІІ

Софья Петровна постучала в дверь, и на лице ее, необычно бледном при электричестве, с сухой кожей, обожженной внутренним жаром, глаза непривычно и очень молодо блестели от волнения. Видно было, что она изо всех сил старалась раздавить сердце и быть спокойной, холодной, замкнутой и отчужденной.

Глухо и далеко промычал сердитый голос, и сразу же дверь открылась. Суровое, острое в скулах, в носу и подбородке, одеревневшее лицо Акатуева выглянуло в узкую щель.

— В чем дело?

И как только встретился с глазами Софьи Петровны, мгновенно засветился внезапной яркой улыбкой.

— Заходите, Софья Петровна. Пожалуйста! Совсем не ожидал...

Акатуев широко распахнул дверь и, не переставая улыбаться, с дружеской ласковостью бережно взял ее под руку. Он осторожно опустил ее на стул, потом широко и могуче зашагал к двери и плотно затворил ее.

На полу около кровати лежал раскрытый чемодан, большими ворохами валялись рядом смятые газеты, и, крепко стянутая ремнями, круглым тюком пузатилась в парусиновом чехле постель, готовая в дорогу. Пахло старым бельем, пылью и спертым воздухом.

— Я уезжаю, Софья Петровна. Отдохнул. Хватит.

Софья Петровна с пугливым изумлением взглянула на него.

— Что же так сразу... неожиданно? Ведь — прошла только неделя, а у вас курс лечения полтора месяца.

У ней дрожали руки, и лицо было старчески бледно. Акатуев сел против нее и смотрел мимо, в стену, и улыбался только зубами, а глаза были, как роговые.

— Без привычки трудно пользоваться отдыхом, Софья Петровна. Я никогда не лечился. За эту неделю, первую в моей жизни, я понял, что отдых для меня — вещь непосильная. Для этого нужна длительная муштровка. Я могу чувствовать себя хорошо только в процессе работы. Здесь я устал больше за эту неделю от нелепого безделья, чем за эти годы напряженного труда. Надо исподволь приспособляться к отдыху. Вероятно, это от того, что мы привыкли не принадлежать себе и не знать собственного нутра. А нутро это — штука очень неожиданная и жуткая.

Софья Петровна зябко ежилась и нелюдимо озиралась. И этот человек, к которому она не могла привыкнуть, и эта комната, которая бездушно и слепо давила ее пустотой и каким-то странным, смутно знакомым холодным беспокойством, тяготили и изнуряли ее. Она сидела на стуле и мучилась от неприятности и тоски, как это было недавно, когда она по обязанности посещала рабочие кабинеты разных заводов и канцелярии учреждений. Как и тогда, она чувствовала сейчас себя маленькой, раздавленной и бесконечно одинокой. Этот человек был один из тех товарищей, которые когда-то, очень давно, были близки, понятны, молоды, и сердце их было осязательно, а душа широко распахнута в глазах. Сейчас же они оледенели, обособились, ушли в свои деловые нормы и умерли для простой человеческой дружбы.

— Теперь такое время, товарищ Акатуев, когда вообще очень трудно к чему-нибудь приспособиться. Я вот 20 лет работаю в партии, была на каторге, а вот сейчас впервые испытываю, что такое быть лишней и растерянной. Говорю это потому, что к слову пришлось. Хоть вы и старый партиец, но едва ли вы меня поймете.

Акатуев сбоку смотрел на нее и был замкнут и казенно внимателен, точно выслушивал одну из бесчисленных надоевших ему посетительниц. Он тяготился ею и видел, что она пришла к нему не просто. По привычке, выработанной годами, глаза его потемнели.

— Пора уже выйти, Софья Петровна, из пеленок революционной романтики. Мы сейчас — только честные, преданные делу, поденщики. Социализм строится не сердцем, а холодным рассудком, железным упорством и самоотречением. Теперь сердце — вредный и лишний придаток, как червеобразный отросток слепой кишки. Нужен только хороший делец и педантичный чиновник.

Софья Петровна судорожно улыбнулась и никак не могла остановить своих растерянных глаз на его лице. Его грубо сколоченное, массивное туловище и сизый череп в шишках и шрамах были невыносимы. Изменилась ли она сама за эти годы, или раньше эти люди были иными, или, может быть, потому, что вся жизнь изменила свое содержание, свой облик и поставила людей в непривычные, сложные отношения, — Софья Петровна чувствовала себя бесконечно чужой среди этих людей и никак не могла их понять и сжиться с ними. Вот и этот человек: в него нельзя войти, нельзя коснуться его души, потому что нет слов в ее языке, которые дошли бы до его нутра. Ее слова уже устарели и кажутся ему смешными, похожими на детский лепет, и он только улыбается их наивной ненужности. И она была рада, когда он наклонился к ней и с почтительной вежливостью остро посмотрел ей в лицо понимающими глазами.

— Вы, вероятно, зашли ко мне, чтобы поговорить о Марусе?

— Да, да, товарищ Акатуев. Вы на меня, как старый революционер, не можете сердиться. Мы должны быть откровенны: мы, мой друг, не привыкли лгать.

Он холодно и замкнуто улыбнулся:

— Конечно.

— Она очень потрясена, товарищ Акатуев. Что произошло между вами? Она — в каком-то столбняке, совсем помертвела, и я боюсь, как бы с ней чего не случилось.

И впервые Софья Петровна увидела, как он смутился и сконфузился.

Он встал, осмотрел влажными глазами стены комнаты, засмеялся и опять сел.

— Видите ли, Софья Петровна, я поэтому и уезжаю. Вы, может быть, думаете, что было что-то в роде насилия, что я воспользовался ее слабостью? Но, уверяю вас, ничего не было.

— Я вам верю, товарищ Акатуев... но все-таки?

— Но все-таки... была минута слабости. Со мною это случилось впервые в жизни. Ведь чудно! (Он опять смущенно засмеялся.) Вы удивляетесь: вот, мол, какой облом и дубина, а распустил нюни, да к тому же — администратор, ответработник. Оказывается, мы страшно односторонки и ограничены и не знаем в себе самых простых вещей. Буду краток. Меня срезала ее открытая и буйная юность. Только и всего. И мне неудержимо захотелось приблизиться к ней. Я изнурен и устал в работе. Там я этого не замечал, а здесь, когда она дохнула на меня, я почувствовал, что я — одервенел. И не мозгом, а всем существом



я почувствовал, что стоит мне хлебнуть этой ее молодости, я опять оживу и буду так же юн и полон бодрости, как и она.

Он растерянно взмахнул рукою и опять встал.

— Бывают же такие глупые моменты... В моем ли положении говорить такие нелепые слова, а? Я с первого же дня вышел из колеи. Вы успокойте ее; Софья Петровна. Я здесь — дурак дураком, а там, у дела, я — как рыба в воде: там я живу по регламенту, и каждый мой шаг — под контролем. Там — крепкие рельсы, и я вижу себя в действии на много дней вперед. Я не могу отдыхать: эта свобода хуже тюрьмы. Как видите, я струсил перед этой свободой и удираю к своему привычному ярму. Я не стыжусь этого.

Софья Петровна встала и в волнении взяла его руку.

— Товарищ Акатуев, вы — удивительный и редкий человек. Я понимаю вас, и мне очень хочется сказать вам хорошее, душевное слово.

В ее глазах плеснула горячая волна.

— Я отстала немного от этой нашей жизни, и не могу приспособиться ко многим ее сторонам. Ко многим людям, которые раньше были моими самыми близкими друзьями, я уже не могу подойти. Мне больше дорого мое прошлое. Нужно побольше дружеского внимания к людям, сердца побольше. А то уж больно все обездушились и стали до ужаса одиноки. Человек человеку стал истукан. Я почувствовала в вас живую, горячую кровь, и мне хорошо и радостно.

Она взяла его голову и поцеловала. Глаза ее залились слезами, и она, потрясенная, неустойчивая в ногах, пошла к двери.

Акатуев молча смотрел ей вслед с ласковой взволнованной насмешкой.

### XIII

Маруся бросила карандаш на стол. Он покатился по скатерти, со звоном упал на пол, и эта звонкая игра его на полу была похожа на ребячьи, неумелые удары палок о барабан. Длинные кудри золотистыми стружками падали ей на лицо. Она раз за разом откидывала их назад взмахами руки, а они опять осыпались на лицо. Щеки у нее румянились, и ямочки вздрагивали и улыбались, а глаза стали еще больше, и при свете огня они были ярко голубыми и играли нутряной янтарной влагой. И по этим слишком детским глазам никак нельзя было дать ей семнадцати прожитых лет. И вздернутый в игривом задоре нос тоже был детский, в нем крылато дрожал сдержанный веселый смех.

Маруся сморщила лоб, сдвинула брови и стала читать письмо. Но морщинка на лбу и сосредоточенно сдвинутые брови сразу же задрожали и растаяли. Лицо ее стало опять прозрачным и готовым к смеху.

«Ребята! До чортиков я стосковалась по вас: не дождусь дня, когда удеру из этой гнусной анархии. Сроду больше не поеду в этот

сумасшедший дом. Здесь много партийцев и комсомольцев. Я живу в одной палате с партийкой с громаднейшим стажем: в партию она вступила за пять лет до моего рождения. До какой степени она хорошая и взаимно понимающая, что хоть сейчас записывай ее в комсомол. Глаза у ней немного печальные: это — от каторги. Здорово она пострадала за рабочий класс и крестьян. А губы — смехотворные, как у любой из наших пионерок. Есть здесь замечательный комсомолец — Яша Мазин, с которым мы — друзья. Умница на 150 процентов. Только очень невыдержанный и капризный, должно быть, от здорового переутомления. Болезнь у него — психостения гравис. Это ему простительно. Потом у него дергается голова и плечо. Грустно и больно смотреть на это его тяжелое страдание. Ну, да ничего — выправится. Надо самоотверженно лечить таких незаменимых несчастных работников. От них зависит успех нашего социалистического строительства. Берегите своих товарищей-руководов и всегда будьте с ними в полном контакте. О других не буду писать, потому что тогда вышла бы целая поэма. Но большинство товарищей очень ценные, как, например, Чайкина, активистка, которая всех мужчин, которые идут с нами плечо в плечо, считает врагами, а не товарищами. Она все горланит и, конечно, здорово ошибается. Потом приехал один ответ-работник, тов. Акатуев, который никак не поддается описанию. Такая силища и такой организатор, что место ему в центре — наркомом или в ЦК партии. Но у него есть уклон в слабую сторону. Он до чортиков переутомился и хочет опереться на молодость. Как мы его можем поддержать? Он думает, что ежели я хохочу и бегаю, как бешеная, так смогу омолодить его. Я рада бы, да разве это в моих силах? Есть здесь и вредный элемент: мерзкие хулиганы, — наши же комсомольцы. Позорно таких иметь в организации. Но я их не боюсь и на-днях одному из них нахлестала даже морду.

«Ребята, какая здесь великолепная, красивая природа. Ежели бы можно было — никогда бы отсюда не отлучалась. А море? Оно — живое, ребята. Оно такое же, как небо, только на земле. И звезды в нем горят, и плавают облака. Но в волнах оно — открытое и понятное, а когда тихое, как зеркало, оно непостижимо. Но оно всегда поет и вздыхает. А когда ревет, то кажется, что это огромные массы на демонстрации с знаменами, с музыкой, с песнями и грохотом. Нельзя описать моря, ребята: разве можно описать революцию?»

«Ну, баста: довольно расписывать. Скоро приволокнусь к вам, и опять закрутим с вами старый хоровод. Я здесь лечусь почем зря: и гидротерапией, и гальванизацией, и всякой чертовней. Особенно дивная гидротерапия: это — ванны и души. Меня терзают душем Шарко: пускают из пожарной кишки струю и как будто всю насквозь пробивает. Я даже ору, как корова. Так хорошо, что сказать нельзя.

«Ну, так еще раз баста. Всех вас целую, всех обнимаю и всех люблю до отказа. Будьте готовы. А я всегда готова. С коммунист. приветом. Ваша Маруська».

Она сложила письмо, всунула в конверт и послушавила его. Поискала карандаш — не нашла. Положила огненную голову на руки (локти — на стол, ладошки ложечками — под челюсти) и застыла во внутреннем порыве, будто пораженная неожиданным видением. А это от того, что ей было хорошо: высказалась, прокричалась в письме, будто рассказала себе милую детскую сказку. Вот он маленький городок рабочих-текстильщиков, серое родное небо, которое мажется дымом кирпичных труб, березки и липы на тротуарах и скверах, клуб, похожий на сарай, и ребята — целые вороха играющих ребят, и она, Маруся, среди них, как веселый быстроглазый поводиры.

В открытую дверь на балкон струятся глубокие вздохи волн у берега. Очень далеко неустанно стонет ревун в морской пучине. Там — пустынно и страшно от этой безбрежной и бездонной зыби. Устало гроыхает и свистит на поворотах разболтанный трамвай. Звенят склянки, и от этого кажется, что люди никогда не спят на кораблях, а неотрывно смотрят в морскую ночную даль в тревожном ожидании. Около лампочки сеется мошкара, и трепещет крыльями мохнатая золотая бабочка. И в звенящей тишине нельзя понять, не то это звенит крылатая мелочь, не то далеко, может быть, в предместьях, поют невнятную песню. Глухо шоркают путаные шаги по площади, где-то гомонят голоса и вспархивает девичий смех.

«Ах, Маруська, Маруська! Ведь как чудесен мир и как хороша жизнь! Зачем ты сидишь в этой кубышке и разводишь какую-то глупую канитель?».

Она вздохнула глубоко, во всю грудь, и уронила руки. И все прислушивалась к себе и бессильно тонула в беспричинном восторге.

И когда вошла Софья Петровна, волны безмолвной радости еще пели в сердце Маруси и плыли из него, как из родника в солнечный день, — играли янтарными изломами в глубине и полыхались по комнате, встречаясь с другими поющими волнами, необъятно плывущими между морем и небом, обрызганным звездной росой.

Софья Петровна подошла к ней тихо и робко, ласково обняла ее, нежно погладила по волосам, нежно ладошкой подхватила под мягкий подбородок и опрокинула ее лицо. С пристальной материнской улыбкой взглянула ей в глаза и поцеловала долгим любовным поцелуем.

— Марусенька моя! Юность моя!

Маруся обхватила ее шею руками в восторженном порыве и засмеялась пискливо, счастливо, как цыпленок.

— Софья Петровна! Родненькая моя!

— Что, голубка? Ну что?

— Софья Петровна, милая! Как мне хорошо! Ах, почему мне так хорошо? Раньше этого не было... Скажи мне, Софья Петровна: может быть, я разлагаюсь?... Может быть, это заедает мещанство?... Может быть, это — обывательство от безделья? Этого со мной не было бы там, на работе... Это было бы там недопустимо.

Софья Петровна ласково и осторожно сняла ее руки и засмеялась.

— Я принесла тебе поужинать, Маруся. Надо поесть, родная, а то ты проголодалась.

И Маруся впервые увидела на столе две тарелочки: на одной — котлетка с картофелем, а на другой — стакан молока с пирожным. Она заливчато засмеялась и вскочила со стула. Непоседливо приплясывая над тарелкой, она жадно набросилась на еду.

— Ой, как хочется жрать!... Даже кишки завернулись веревочкой...

Софья Петровна подвинула плетеное кресло к открытой двери, села по-старушечьи и долго возилась с ногами, чтобы им было удобно. Потом, как успокоилась, заговорила задумчиво:

— Нашей молодежи тяжело жить в эти годы. Она быстро сгорает, надрывается, страдает нервным расстройством и в 18 — 19 лет большинство — или калеки, или сухие бездушные старики. Взять хотя бы санаторий: в нем не меньше трети комсомольцев, и все они похожи на пожилых, много переживших, уже изнѳсившихся людей. Такой, как Мазин, не один. А ты чем лучше других?

— Я? Да Софья же Петровна... да во мне — сто лошадиных сил... Ты, пожалуйста, меня не задевай, а то буду лягаться.

— Юность берет жизнь беспокойством, Маруся, смехом и шалостью. А вы все — кандидаты на инвалидность или на душевное расстройство.

— Не все, Софья Петровна, — не плети чепухи. А хулиганство, по-твоему, тоже нервное расстройство? Я бы этих господ всех положила под ногу. Это — симулянты и мерзавцы... До чего же жрать хочу, даже подавилась. К чорту!... Разве ты назовешь меня клячей?

— Подожди, скоро будешь и ты клячей, Маруся. Вот лечишься — ремонтируешь себя. Уедешь — нагрузят тебя всякой общественной работой, и сразу же опять затрещат у тебя позвонки. Глядишь, через полгода опять пошлют в ремонт. Вот ты сейчас о хулиганстве сказала. Отчего это? А все оттого, что молодежь не удовлетворена: не могут подойти к ней, не знают, что ей нужно, не считаются с ее возрастом и развитием. Я не могу видеть, как мучают у нас лошадей: навалят на телегу сто пудов — вези. Лошадь рвется в оглоблях и не может тронуться с места, а ее истязают кнутом и палками. То же самое и с молодежью. Не могу я с этим согласиться, не могу принять. Наблюдала я, как воспитывают наших пионеров. Шагистика, барабан, казенщина, казарма. И я удивляюсь, как они не разбегутся все от этой солдатчины. Надо побольше искусства — музыки, поэзии, интересных игр. И не кое-как, не формально, не по циркулярам, а побольше настоящего высокого искусства, настоящих, образованных, любящих свое дело воспитателей. Ах, везде — бюрократизм, казенщина, автоматизм, невежество, некультурность.

— Ну, голубчик, Софья Петровна. Ведь это же — интеллигентщина. Как ты этого не понимаешь? Ведь это же страшно не по-большевистски.

— Не могу иначе, Марусенька. Меня считают капитулянткой и обвиняют во всех грехах: должно быть, я слишком отстала от жизни.

— Ну, да. Очень даже отстала и многого не смыслишь.

Софья Петровна грустно улыбулась и замолкла, смотря в сумрак угасающего вечера.

— Ты бы немного погуляла, Марусенька. Вечер чудесный.

Маруся в изумлении всплеснула руками и во весь размах глаз пристально посмотрела на Софью Петровну. Она раскрыла рот в порыве к крику, но споткнулась и только сказала серьезно и заботливо, будто вспомнила о важном деле, которое нужно было выполнить немедленно:

— Ведь вот дура набитая! Конечно же. Ведь мне письмо нужно сдать моим ребятам. Совсем идиоткой стала.

Она подняла карандаш. Стоя, написала адрес на конверте и совсем неожиданно вынула откуда-то марку.

— С этими пионерами я тебя, Софья Петровна, обязательно прищью. У меня двадцать восемь ребят, и у нас здорово идет работа. Ну, конечно, те недостатки, о которых ты говоришь, очень чувствительны. Но ведь мы же — бедная страна, и у нас нет лишней копейки на культурную работу. Как ты этого не можешь понять?

Софья Петровна не смотрела на нее и грустно улыбалась.

— Тут тебя недавно Мазин спрашивал, да я не пустила. Ждет тебя, должно быть, внизу.

#### XIV

По обе стороны парадной двери, по фасаду, вплотную к ограде палисадника, стояли скамьи, и на них плотными рядами сидели больные — вперемежку мужчины и женщины. Толпезный неразборчивый говор слышен был еще в вестибюле, а здесь он был похож на хоро-водное веселье. Взвизгивали и хохотали женщины. Два ослепительных электрических пузыря жирно освещали вороха людей, асфальтовый тротуар, и булыжная мостовая за тротуаром мерцала перламутром. Струистые кипарисы горели, как факелы, — ближние пылали одной половиной, а другая половина была черная, — и во тьме ветвей летали искры. Остальные кипарисы пламенели только отдельными пернатыми ветвями, улетающими вверх. По тротуару тоже слонялись больные и скучали от безделья. На другом конце площади ярко и обильно раскаляли фасад и тьму густые гроздья фонарей кино, и черный памятник генералу на огненном фоне был похож на часовню. Толпились и ломились в двери кино матросы, красноармейцы, просто граждане, и расцветали белыми пятнами девчата. Издалека, с главной улицы, плыл глухой шум движения. Отчетливо цокали копыта лошадей, громыхал и звонил трамвай.

Где-то недалеко, должно быть, в приморском саду, играли на мандолине. За колоннадой пристани, похожей на остатки древнего храма, вздыхало и пыхтело море.

Была густая и душная тишина, и от этого хотелось уйти куда-то далеко, где не было людей, смотреть на звезды и слушать море.

Маруся вышла на крыльцо, посмотрела и в ту и другую сторону: Мазина не было. Позади, в вестибюле, заорала Чайкина:

— В текстиле красные директора — бабы, и они похлеще мужчин справляются с работой. А я добьюсь, чтобы меня назначили директором треста. И я покажу вам, где раки зимуют. Мы захватим власть не гражданской войной, а овладеем командными высотами собственным нахрапом.

Маруся прыгнула с крыльца и бегущими шагами полетела по тротуару в сторону сада. Кто-то из мужчин с игривой серьезностью крикнул ей фальцетом:

— Марусенька, деточка, красавица! Иди, иди проворнее: Мазин бродит по саду и умирает от тоски.

А потом засмеялись толпой.

В саду было тоже душно, и горло пересыхало от пыли. Ползали встречными толпами сгустки молодежи и дымились пылью. Было много матросов и хулиганского вида парней в кепках, задранных на затылок. У всех темнели открытые груди. Всюду ворковал хохоток барышень. На проволоках, натянутых поперек аллея, тускло горели электрические лампочки в пыльных пузырях, и около каждого из них желтым широким диском прозрачно раскалялся воздух. И в этом призрачном свете лица женщин казались очень красивыми, дразнящими и необыкновенными. На скамейках, под темными ворохами кустов, густо сидели утомленные от зноя, распаренные тихие обыватели. Они, вероятно, выползли сюда целыми семьями и лениво ворошили в ленивых сплетнях свои домашние будни. Так же они выполняли и много лет назад и так же наслаждались ленью и сонным покоем. И по их сытым, безмятежным лицам и благодушным фигурам видно было, что они забыли и о революции, и о громовых годах гражданской войны, и о голоде. А о том, что совершается теперь, они ничего не знают и не хотят знать: пусть делают, что угодно, лишь бы дни были привычно уютны, и время плескалось бы так же однообразно, как волны у берега.

Маруся прошла к прибрежному гранитному парапету, но здесь люди прилипали к нему густым рядом — плечо к плечу. Она спустилась по гранитным ступеням вниз, на бетонную площадку, которую широко и плавно обмывали волны. Море темной мгlistой громадой пласталось у ног и пучинно плавилось во тьме: оно было страшно и неизвестно, как ночь, и грозно в волнах, как живое. Хлюпала и харкала вода в трещинах и ямках на площадке и потом после каждой волны улюлюкала, как ручей. Где-то далеко во тьме вспыхивала молнией ослепительная искра, и от этих вспышек наползающая зыбь была ярко зеленой. Было немного жутко стоять и смотреть на море.

И опять то, что было пережито сегодня, показалось мелким, тусклым и далеким, а огромной, необъятной была эта ночная

тьма до самого неба и эта безбрежная морская вздыхающая волнами пучина.

Мазин вынырнул откуда-то сбоку, из тьмы, и Маруся сразу узнала его и не испугалась.

— Ну, как, гражданочка? Очухалась и выползла? Как с гуся вода?

Он стоял отчужденный, враждебный, смотрел не на нее, а в морскую мглу, на вспыхивающую молнию, и голос его срывался взволнованно и насмешливо. Пахло от него потом и пылью. Маруся молчала и тоже не смотрела на него. Сердце больно сжалось от обиды, а потом разбухло и зазвенело кровью в голове.

— Что это — «все»? В чем дело?

— Пойдем по берегу. Тут — массивы. Гладко и удобно. Можно посидеть и послушать волны.

Он грубо взял ее под руку, а потом сразу же подхватил под бедро и толкнул вперед. И это его бесцеремонное отношение к ней поразило и испугало Марусю. Она рванулась от него и остановилась. Было больно сердцу и захотелось заплакать.

— Яша... это — что же такое? Ты с ума сошел... Яшка?

Мазин засмеялся и опять с грубой настойчивостью взял ее под руку. Он потащил ее за собою во тьму и не смотрел на нее. И в его руке и походке были совсем незнакомые порывы, похожие на насилие. Эта рука и эта бездонная тьма, вспыхивающая молнией над морской зыбью, были страшны, и сердце заняло от предчувствия беды.

— Куда ты меня ведешь? Не хочу я. Оставь пожалуйста, Мазя... Не валяй дурака.

— Иди, иди!... нечего егозить... Разыгрывает из себя недотрогу. Какая невинная девочка — подумаешь! А с Акатуевым можно было валяться на траве и наслаждаться природой? Все вы — на один манер: все вы любите, чтоб вас лапали, как кур.

Наверху, за утесами, в саду, едва слышно гомонили толпы гуляющих. Где-то недалеко, над головами, сдавленно хохотала и взвизгивала девчонка, а впереди, во мраке, таинственно пересвистывались и воровски перекликались голоса.

— Ты не смеешь так говорить, Яшка. Я не желаю слышать эти мерзости... Брось руку!

— Иди, иди!

И все смеялся, развязно во всю глотку, запрокидывая голову, и от этого необычного хохота и хулиганской развязности у Маруси дрожало нутро. Она беспомощно горбилась, таяла от страха и мутной лихоты.

— Все вы, шлюхи, одинаковы, хотя и комсомолки. Я был дурак и балда, что манежился с тобой, как с Маргаритой. А всякая Маргарита — всего-навсего только похотливая кошка.

Маруся дрожала в ознобе и никак не могла поймать туго натянутой струнки, которая до боли трепетала где-то между мозгом и сердцем. А в этой струнке было все, и ухватиться за нее нужно было

сейчас же, немедленно: порвется эта струнка, и она, Маруся, погибнет, и весь мир исчезнет безвозвратно. И ей чудилось, что она тает, делается бестелесной и растворяется во тьме и в этих хлюпающих, сосущих волнах.

Это — не Мазин, такой близкий, понятный и привычный. Тот Мазин умер — может быть, сегодня утром умер, а может быть, несколько дней назад. Да, это было в ту ночь, которая невыносимо обжигала огоньком керосиновой лампочки. Солдаты схватили отца и уволокли в ночь, а её, голенькую, сбросили с кровати на пол вместе с постельным тряпьем. То, что было тогда, — еще и теперь ужасом душит ее в кошмарах. И то, что тащил ее под руку Мазин, — это было самое страшное, потому что он сам был внезапно трущобный и растворялся во тьме. Друг и милый товарищ, которого знаешь и которому веришь, по непонятной причине вдруг становится зверем...

Она робко, как ребенок, отстранялась от него, но его рука больно давила ее предплечье и вздрагивала в алчной судороге.

— Я, как дурак, три недели бил около тебя баклуши. Думал: вот девка, которая впервые в жизни дает мне радость подлинной человеческой любви, и с которой работа будет чудесным праздником. Я забыл с тобой все мои мысли об организации, о моей работе, которую я должен был выполнить здесь, на досуге. Все пошло к черту. А потом бродил, как бездельник, и даже противно было зайти в здешний комсомол. А сегодня я с омерзением увидел, что ты просто потаскушка, которая вешается на шею первому встречному.

— Это — неправда! Это — ложь!... Ты не смеешь мне говорить эти поганые слова... Уйди от меня прочь!... Я не могу...

— Ну, не егози, гражданочка. Я видел все. Пусть это — мерзко с моей стороны, но я следил издали, как шпион. А теперь я имею право поступить с тобою, как хочу.

Он облапил ее дрожащими руками и, задыхаясь, потащил куда-то в сторону, по щебню, к отвесным скалам, во тьму.

И как только Маруся услышала последние слова Мазина и почувствовала его хриплое дыхание и нечеловеческие руки, она сразу пришла в себя. Всегда так с ней было: она терялась и беспомощно слабела от шуток, от шалостей ребят, была не находчива и пуглива. Но когда грозила ей опасность или кто-нибудь из товарищей хотел ею командовать, она сразу напрягалась и ошеломляла горланом... И не сознанием, а всем нутром, — силой, которой она не знала и которая вспыхивала в ней сама собою, — Маруся почувствовала, что она — сильнее Мазина. Это был не Мазин, а непримиримый враг, с которым нужно бороться. Она рванулась из его рук и наотмашь ударила его по лицу. Он закричал зубами и захлебнулся от боли, но руки его судорожно ломали ее. Она еще раз ударила его, опять изо всех сил рванулась всем телом, изогнулась и сбросила его руки. Измятая и исковерканная, она стала перед ним, готовая к борьбе, с сердцем, которое разбивало грудь.



— Дурак! Сволочь! Грязная свинья! Я тебе руки поломаю, животное. Научись сначала быть товарищем и человеком. А с такой скотиной я разговаривать не желаю.

Мазин, ошеломленный, дрожащий от злобы, отброшенный в сторону, стоял, готовый к прыжку и смотрел на нее из тьмы тусклым лицом, которое дергалось, как у припадочного. А она, Маруся, вдруг заплакала, задыхаясь от горя.

— Мазя... ну, что же это такое? Мазя!... Да разве так можно?...

Он весь дрожал от ненависти, и руки его в судороге рвались к ней, чтобы изломать ее, искалечить и задушить. Она была только одна — безнадежно одна, как ничтожная пылинка в великом неудержимом крушении.

Не то из тьмы, не то из ее нутра призывно крикнул голос Чайкиной:

— Маруська! Где ты, чертовка? Маруська!...

В прорыве сознания она увидела, как откуда-то со скал закувыркались черные крылатые тени. Кто-то наступил ей на ногу, споткнулся и упал. От боли она коротко вскрикнула, но липкая и вонючая рука всосала в себя ее губы. Потом поволочили ее по камням и сразу же бросили в мокрую яму.

Она билась, как рыба, и, задыхаясь, ломала чьи-то большие руки. Рядом тоже рвались и рычали, как собаки, размытые скрюченные призраки. На мгновение она услышала хриплый голос Мазина:

— Ребята!.. Что вы делаете, ребята!..

— Бей, братва!.. Накладывай ему по первое число... Нагружай его до отказа...

Потом — глухие чвóкающие удары и — стон.

Маруся отчетливо, необычайно резко схватывала каждую мелочь, которая мелькала в ее глазах: вот — приляпушенный нос и вывороченные губы в оскале зубов, вот — толстое голое плечо, которое торчит выше головы, вот — прямо над нею, рядом, черный лохматый куст, который хочет оторваться от скалы... И с неиспытанной ясностью очень спокойно и жадно думалось:

«...за горло... выдавить глаз... надо — камнем...».

Но рука срывалась на сырую россыпь раковин, а пальцы скользили по челюстям и в изнеможении рвали мускулы и рубаху парня, который наваливался на нее всей тушей.

Нечаянно она почувствовала опору под ногой и изо всех сил рванулась в сторону. Парень рычал, задыхался и, как слепой, искал ее грудь и ноги. И как только она встрепенулась в последних порывах к борьбе, этот потный и мясистый ком свалился в сторону и крикнул от боли и ярости. Она птицей вспорхнула с земли и крикнула с надсадным отчаянием:

— Чайкина! Сюда... Чайкина, помоги!..

И не побежала во тьму, а рванулась к куче псов, которые скулили и грызли друг друга.

— Ах, вы, мерзавцы!.. Это что же такое?.. Ах, вы, собаки!.. Чайкина-а!..

И опять отчетливо увидела, как ринулся на нее тот парень, который только что терзал ее в мокрой яме. Она отскочила в сторону и толкнула его. Он вцепился в ее платишко, споткнулся и кувырнул ее вместе с собою. Невероятным усилием мускулов она вцепилась в руки непереносно тяжелого парня и забилась под ним, задыхаясь от отчаяния. Легкие ее разорвались от пронзительного крика, и она сразу же провалилась в черную пустоту.

Внезапно около нее оглушительно заревел дикий голос Чайкиной. Ее подхватила какая-то большая волна и бросила в высь. Она дрожала в сильных и мягких руках и захлебывалась от рыданий.

Очнулась она от яркого света, который мучительно колол ей глаза острыми ресницами. Потом наплывали на нее ночные толпы людей, призрачные от горящей пыли и тающего света электричества. Где-то близко, сейчас же над головою, вспыхивали звезды и исчезали. Как живые, кружились и падали на нее целые вороха деревьев с горящими листьями. А толпы людей в торопливом топоте и свалке наваливались на нее, и множество жадных лиц с блестящими глазами, в удушливом дыхании, в тревожном говоре сливались в одно кошмарное лицо, и лицо это опять дробилось на множество лиц и мучило ее, как тяжелые образы сновидения, которых никогда не бывает в обычной жизни. Потом поняла, что она — в саду, что все эти толпы — это гуляющие обыватели, которые смотрят на нее с любопытством и взволнованным участием.

Шла она широкими шагами, и голова ее в склокоченных мокрых волосах напряженно закидывалась назад, будто была неживая. Лицо было сурово, с немигающими глазами, одичалое, похудевшее, с крепко стиснутыми челюстями. Люди, которые толпились около нее, панически заглядывали ей в лицо, не прикасались к ней, точно боялись ее. Грязная, измокшая юбочка прилипала к телу, и Маруся тряслась мелкой остывающей дрожью. И не видела она Чайкиной, которая шла около нее и что-то горланила на весь сад, ни Мазина, который судорожно держал ее за руку. Он шел около нее необычный, совсем не похожий на Яшу, — весь истерзанный, больной, и лицо у него было испачкано кровью, а капли ее густо и жирно стекали на грудь и рубашку.

Когда вышли из сада, Чайкина свирепо схватила Марусю за плечо и злобно рванула к себе.

— Достукалась, чертовка? По делом!... На! Получай!... Эх, Маруся, Маруся!... Если бы я не чуюла беды, разве бы я трепалась за тобою? Счастье твое, что я услышала твой рев, а то бы лежала теперь, как падаль... Очень хорошо! Я довольна. Здорово проучили... Ну? Где твое равенство, га-га-га?..

А Маруся не слышала ее. Только в груди дрожала и плескала ярость. Хотелось кричать всей грудью, всем телом:

— Я вам покажу, мерзавцам!... Я вам покажу...

Но только дрожала и путалась в лепете:

— Разве же так можно жить?... Товарищ Чайкина, разве же это возможно?... Нужно же бороться, Чайкина... Надо же это убить...

А Чайкина вдруг задохнулась от злобы и толкнула Яшу в плечо.

— Пошел вон отсюда!... К чертовой матери!... Видеть не могу мерздатого кобеля... И на глаза мне больше не попадайся, вон!...

Яша робко и умоляюще посмотрел на Марусю и, отрываясь от ее руки, бормотал, как в бреду:

— Ты... Маруся... Не надо, Маруся... Я скажу тебе многое... Ты прости... Ты меня извини, Маруся...

И пошел вперед, весь разболтанный и обреченный, дрыгая плечом и голову.

А Маруся по-ребячьи, торопливо и ласково кудахтала ему вслед:

— Ничего, Мазя... Ничего... Ты успокойся... Только не надо, Мазя, такого ужаса... Мазя, родной!..

И почему-то смеялась, а может быть, не смеялась, а плакала.

А Чайкина с грубой лаской прижимала ее к себе и горланила:

— Ну, ну, нечего хорохориться... Подожди, не то еще будет...

Около тротуара, против дверей, стоял фаэтон. Лошади огнистолоснились, вскидывали головы и фыркали. Из дверей вышел с чемоданом и постелькой Акатуев.

Из-под черных глазниц он в изумлении посмотрел на Мазина, испачканного кровью, бросил на фаэтон вещи и шагнул к нему навстречу.

— Это еще что такое?

Мазин, как слепой, прошел мимо него и ничего не ответил.

И, когда Акатуев увидел Марусю и Чайкину, он сел в фаэтон и сурово крикнул извозчику:

— Ну, готово... Пошел! Наддай-ка, голубчик, похлеще.

Извозчик жвыкнул кнутом, и фаэтон, резинно вздрагивая, растаял в огненной полутьме.

А Мазин, как тяжело больной, неустойчивый на ногах, с глазами, застывшими в безумии, вошел в свою палату и всею тяжестью тела упал на кровать. Он припадочно дрожал и корчился, уткнувшись окровавленным лицом в подушку, и нудно застонал, разрывая зубами наволочку.

---

## Песнь о лосе.

НИК. ЗАРУДИН.

Березы были из воска,  
Из мглы выростали стога...  
За мордой огромно и плоско  
Повисли седые рога.

Он слушал, дыханье меря  
Ноздрями горячими... Зря!..  
Туманно и тихо над зверем  
Краснела полоской заря.

Тихо—ни звяканья дула.  
Ни тени—лишь солнечный дым.  
С дачи казенной подуло  
Шумом далеким, родным.

Шумело, скрипело. Скрывался  
Ветра тогда поворот.  
И след далекой потерялся  
На опухоль синих болот.

Скоро его загонят!  
А как его луч золотил!  
Он шел как-будто в короне  
Свободы, гордости, сил.

За это любимым даже  
Подносят петлю до сих пор.  
Лишь мартовский наст поляжет,  
Найдет его острый топор.

Он рухнет. От синего свода!  
От теплого лога вдали!  
Над ним прошумела свобода  
С далекой, забытой земли.



# Песня голодных

мих. голодный

Мы с малых лет от злых обид  
Плюем в лицо судьбе,  
И бледный голод в рог трубит,  
Сзывая нас к себе.

Пусть разум спит в нас. Не его  
Мы позовем на пир.  
Пусть нас не любят. Ничего!  
Лишь мы построим мир.

Мы день и ночь идем, идем,  
Не предаваясь сну.  
Зато мы от тебя возьмем  
Твою строку одну.

Кто прошлое свое клянет,  
Пой про себя: вперед!

Пусть сытые сидят и ждут,  
Пусть стерегут свой дом;  
Они червей в себе несут,  
Не ведая о том.

Пусть жизнью всласть они сыты,  
Удел им страшный дан:  
Глаза у них совсем пусты,  
Как без воды стакан.

Им не опомниться потом,  
Туманен им наш след;  
Когда проснешься — ты о том  
Напомни им, поэт.

Кто прошлое свое клянет,  
Пой про себя: вперед!

Египет видим в темный час,  
И Грецию, и Рим,  
И сотни языков у нас,—  
На всех мы говорим;

Среди степей, среди дорог  
Воздвигли города;  
Ревнует нас приятель — бог,  
Завидует звезда.

О нас и Гегель говорил,  
Седой мудрец земли,  
И Фихте ел, и Шеллинг пил,  
А мы все шли и шли.

Кто прошлое свое клянет,  
Пой про себя: вперед!

Когда во тьме расколем дверь,  
И новый мир блеснет,  
Тогда твои стихи, повесть,  
Один из нас найдет.

Их приколотим к небесам,  
Чтоб выше им висеть,  
Чтоб было долго слышно нам,  
Как будут сами петь.

Бокал мы выпьем за тебя,  
Как лишь плебеи пьют:  
— Он жил и пел не для себя,  
Пускай стихи живут.

Кто прошлое свое клянет,  
Пой про себя: вперед!

# На крови

Главы из романа „1905 год“

С. МСТИСЛАВСКИЙ

## 1. Август 1905

За деревьями, от далекой церкви, расплескивая медь праздничным, сытым гудом, — кричали, кричали колокола.

— Слово имеет...

Щурясь от солнца, Бiryюков Семен, литейщик, со сбитою на лоб кепкой, стоял на высоком пне (митинг в лесу, на поляне, между Озерками и Шуваловым, сотни две народу) — и, громким шопотом:

— По кличке сказывать?

— Сам скажу.

— А ну, взлазь.

Черный, лохматоволосый студент (Борис, мы все его знаем, нашего района) с карими, печальными — сквозь огонь «по-грузински», — глазами, легко взбросился на «трибуну», на Бiryюковское место.

— Товарищи!

Голос веселый и звонкий, не по осени весенний голос.

— От имени российской социал-демократической рабочей партии...

— Больших, аль меньших? — ехидно выкрикивает, из-за плеча у меня, Никита: из Айвазовских дружинников. Борис — меньшевик. Большевик сейчас не то, что прежде: стал не в чести в рабочих районах. Борис это знает, как знает Никита. Нейметса Никите — сказать эдак под руку: где-нибудь да аукнется.

Борис хмурится и повторяет, чеканя за слогом слог.

— От, рос-сий-ской социал-демократической партии...

— Больш... — опять начинает Никита. Но Бiryюков взмахивает над кепкой костистой черной рукой.

— Тише там. Не мешай оратору: сам скажется.

— Товарищи! Тут передо мной товарищ Михаил уже говорил вам, что такое царский манифест 6 августа — о созыве народных представителей, о законосовещательной Думе. Раз'яснять тут, правду говоря, нечего: дело ясное. 9 января, когда народ, стадом покорным, под поповским крестоводительством — «Спаси, господи, люди твоя» — шел с просьбой к царю, как заступнику — царское правительство показало, на смирных, да безоружных — свои волчьи зубы. А теперь, когда взошла на той, на январской крови народная месть, — когда по всей России из конца в конец идут разгромы усадеб, — когда народ встает за землю, когда бастуют рабочие... когда революция идет — слышите, товарищи, ход ее, уверенный и твердый — царское правительство пробует показать нам вместо волчьих зубов — лисий хвост. А мы его за этот хвост, да об стенку.

— Фьють, — подсвистнул тихонько Никита. — Эк спарит, скажи на милость. Рази по-меньшевицки так, товарищ Игорь?

Игорь поморщился, поправил пенсне на тонком бледном носу и сказал сквозь зубы:

— Демагогия.

Солнце жжет по картузам и платкам. Лес не шелхнется. День выдался — на диво.

— Товарищи! Питерский комитет социал-демократической рабочей партии вынес по этому вопросу следующее постановление.

— Ты — от себя! бумажки-то мы видели!

— «Российская социал-демократическая партия перед лицом всего мира заявляет:

«Что царский манифест 6-го августа есть наглое издевательство над рабочим классом России, борющимся за свободу и лучшее будущее. Что манифест этот есть в то же время грубая попытка обмануть русское крестьянство и весь русский народ жалкой подделкой народного представительства. Что манифест этот означает твердое и непреклонное намерение самодержавного царя с чиновниками и капиталистами бороться до конца насилем и ложью против стремления народа к освобождению, к жизни, достойной человека. И что, поэтому, истинным преступником против народа будет всякий, кто сознательно будет поддерживать царский обман или примет в нем участие, как избиратель, выборщик или кандидат в Государственную Думу».

— Мы, социалисты-революционеры, то же самое говорим, — перебил высоким фальцетом Игорь... — Михаил до вас...

— Правильно! — поддержал Никита...

— То же, да не то же, — засмеялся с пня, покачиваясь, Борис. — Одно дело — Вань, другое — Иван Иванович. Желаете, раз'ясню.

— А ну, раз'ясни.

Борис поднял над головой пальцы, широко растопырив их.

— Видишь?

— Вижу.

— Ну, а теперь? — Пальцы сложились в шиш. Толпа загоготала.

— Пальцы — те же, а фигура, видишь ты, разная. Так и у нас с вами.

Гогот, снова, волною прошел по митингу.

— Это не аргумент, — надсаживаясь, крикнул Игорь. — Я прошу слова.

— Ти-ше! — покрывая смех и гомон простучал сухой Бирюковский голос. — Вопрос первой серьезности, а они...

— Требую слова, — повторил, багровея, Игорь.

— Я не кончил, — щурится Борис.

— Ти-ше!

Бирюков взлез на пень, охватив Борца за талию: вдвоем тесно.

— Ти-ше! Предлагаю собранию...

— Слешный вопрос имею оратору.

Бирюков присматривается. — Ты? Какой же тебе вопрос: ты же сам меньшевик?

— Поэтому и вопрос. Вне очереди.

— А ну...

— Будучи российской социал-демократической партии, фракции меньшинства, каковой фракции и товарищ Борис, спрашиваю: по какому обстоятельству, меньшевиком будучи, оглашает к руководству резолюцию большевистского комитета, а не свою, меньшевистскую.

— За-гнул! — восхищенно толкает меня в спину Никита. — А, товарищ Михаил?

Борис, строго сжав губы, смотрит над толпой — далеко куда-то, не отвечая.

На минуту — тихо становится на лугу. И сквозь тишь, внезапно, совсем близко, от опушки самой — ударяет протяжный многоголосый, согласный напев.

Да я-ви-лась солн-це крас-ное

Еще явила-ся мать пре-свя-та-я бо-го-ро-дица...

— Никак попы?

— Окстись, ты... Рази это церковное?

— И откуда попам — в лесу...

— Верно, — подмигивает мастеровой в синей рубаше, с Никитой в обнимку. — Поповское дело — огородное.

Борис потрянул головой.

— Товарищи!..

Но напев, однозвучный и настойчивый, нарастая, выходит на поляну. По устью тропки, — прямо на митинг, на насторожившуюся толпу, вытягиваются по два, — большой и малый, тягуче вынося тяжелые, пыльными лаптями оплетенные, ноги и длинные, обтертые бледными ладонями, зрячие посохи. Одна—две—три—четыре пары.

— Нелегкая их, — ворчит Бирюков. И машет рукой.

— Гей, дядье, сворачивай вправо, стороной.



Мальчик, ведущий первого слепца, обернулся. Но слепой, не меняя шага, тащит его за руку, прямо - прямо перед собой, упрямо зачиная новую строфу.

На-ез-жал на ста-до на зве-ри-но-е...

И мальчик послушно вступает, низким альтом, оглядываясь на следующие пары.

На се-рых вол-ков, на рыс-ку-чи-их.

А сзади догоняют уже голоса и шаги.

Гой вы, волки, волки рысчучие,  
Разойдитесь, разбредитесь  
По два, по три, по единому,  
По глухим степам, по темным лугам.

Митинг молчит. За спиной у меня кто-то подшептывает, быстро, молитвенно, тревожно, с подхрипом.

— Во знамение, во знамение, господи боже мой.

Слепцы подошли вплотную. Толпа расступилась, отдергивая ноги — от нащупа настороженных посохов. В шапки мальчиков, цепляя отлохматившуюся лоскутами подкладку, падает медь.

А ходите вы по времени...

— Как на Питерский большак выйти? — спрашивает под напев передний вожатый. Слепые стали, выпятив к небу мертвую бель опорожненных глаз, перекатывая под клочкастыми бородами кадыки на желтых; морщинами взрезанных, шеях. Посохи упором вперед, в при-топанную траву.

— Было те сказано: вправо держи, стороной. За березами — вона — тропа. По ей — до коровьего дома: крыша крутая, красная, черепицей крыта — сразу приметно. Обогнешь ее — тут тебе и шоссе.

— Спаси Христос.

Пошли. Не поют больше. Но толпа смотрит им вслед, тихая.

Бирюков осматривает ряды, и трясет головой недовольно.

— Товарищ Борис имеет слово.

— Я просил, — напоминает Игорь. Никита трясет его за рукав:

— Брось: не видишь что ли?

Борис прокашливается, снимает фуражку.

— Ты покрепче, — шепчет Бирюков. — Вишь, напели... Эти... перехожие...

— Товарищи! — Голос у Бориса глухой, не сразу разгорается. — Революция идет — и никакие силы ада и мрака не остановят ее пришествия.

— Это ты о ком? — задорно и визгливо, отзывается из задних рядов молодой бабий голос. — Сам — семя антихристово.

Митинг колыхнулся, переглянулся, молчит. Борис продолжает, стиснув зубы.

— Не остановят! Только не поддавайтесь на посулы — не верьте — ни начальству, ни буржуазии, каким бы сладким голоском она не пела. Заговорит глаза и продаст. Необходимо народное правление. Установить его может только Учредительное Собрание.

— Наддай круче — снова шепчет Бирюков. — Глянь-ка: народ расходиться начинает.

— Добыть Учредительное можно только с бою. Товарищи рабочие, вооружайтесь, собирайте силы, готовьтесь нанести удар старому порядку...

Митинг — огромной, потемнелой льдиной залегший на зеленом лугу, медленно оттаивал по краям. Вразброд и кучками, люди тянулись к лесу.

— ...путем всеобщих стачек, вооруженных демонстраций и восстаний...

— Ка-за-ки!

Кто крикнул? Толпа шарахнулась. Зарябили в глазах картузы, платки, плечи.

Бирюков — на Борисовом месте:

— Организованно, товарищи! Какие казаки! Откуда? Не расходись: резолюцию принимать будем.

Митинг таял. По всему солнечному полю — быстрые пестрые пятна.

— Организованно, товарищи! — еще раз, надрывно, крикнул Бирюков. — Я вам говорю: никакой опасности...

Нас оставалось у «трибуны» десятка полтора человек. Бирюков крикнул еще раз и вытер пот.

— На-род! Тоже... массовка.

— Слабы сознательностью, — хрипло сказал Никита.

Бирюков пожал плечом. — И то, откуда ей быть? Это разве рабочие? Тут кто: аппретурщики, да плотники. Мало, что не от сохи. Это тебе не Московская застава.

— Заторопились... Глянь-ка: бегом пошли!

— Позóрили что, похоже...

Бежавшие, один за другим, пропадали за деревьями. Луг опустел.

— Что ж нам — торчком стоять середь поля? Идем что-ли?

— Итти - то, все же, с опаской надо бы. Народ-то не зря побег. Как бы чего не вышло.

— Мало их зря бегают, — презрительно протянул Никита. — Аппретурщиков-то!

— Береженого, брат, бог бережет. Нагайкой-то окропят не велика сласть: а ежели в каталан — на выпись из столицы? Переждем, чего тут.

— Ходим, — решительно сказал Бирюков. — Тут у нас местечко одно: особо приспособленное. Приходилось, когда, отсиживаться.

Мы втянулись в лесок. Похрустывал под ногою сухой, заждавшийся осени валежник.

За валежником — папоротниковая заросль.

— Осторожней, товарищи, папоротника не ломай, приметно.

Спустились, отгибая перистые, в рыжих завитках шершавые листы — в сырую, мшистую низинку.

— Здесь.

— Вот те и приспособлено!

Вправо, влево — сквозь сетку рубчатых стеблей, сквозь жидкий перелесок, меж шапок мухоморов, багряющих по проплешинам заросли, под чахлым березняком, — видно далеко, на выстрел.

— Тут по женскому делу и то не схоронишься. Одно слово — меньшевистская конспирация.

— Легче на поворотах, Никита.

— А вам теперь что же, товарищ Борис! Вы, будто, из малых — в большие подались. Так, что ли?

— Ну и подался — тебе какая забота?

— Как не забота: у нас, чать, с большевиками по боевому делу — блок: на основе межпартийного соглашения. Обольшился — мы, стало быть, с тобой как бы в родстве. Правильно говорю, товарищ Игорь?

Игорь сидит, подвернув кверху острые, щупленькие коленки. Он поджимает губы и забрасывает за ухо шнурок пенсне.

— В родстве? — Глаза тускнеют по-нехорошему. — наших рабочих — к себе отбивать: затем только и блок.

— Чего вы, товарищ, — миролюбиво тянет Бирюков; вместе с Митрохиным, районным организатором нашим, он примостился на кочку, спиной в скат низины, в мягкий податливый мох, — и благодумствует. — Отмитинговали, так скажем, и буде: теперь опять приятели. На одном деле стоим: чего пынаться-то.

— Это правильно, — поддержал Никита. — От разговоров все: было бы дело — не было бы пынянья. Живо бы разобрались, что к чему.

— То-есть, как «было бы дело»? — строго спросил Игорь.

— А теперь, что же по вашему мы делаем?

— Это как понимать, — с неожиданным раздражением сказал Никита. — Я о своем. Я вот — пятый месяц в боевой дружине. Слово-то какое! А на поверку — звание одно: солдат на палочке верхом — расходись, дай дорогу. К чему нам тогда оружие дадено? Так народ — ни в жизнь не осмелет...

— Сколько раз говорено, — поморщился Игорь. — Отдельные партизанские выступления только дезорганизуют силы. Надо ждать сигнала к общему выступлению.

— Пока солнце взойдет — роса глаза выест. Чем у нас силы мало? Силы, я скажу, в-во! Чего, говорю, ждете? Накопление! Жадность одна. За кем, спрошу, гонитесь? За аппаретурщиками. Это разве

рабочий? Ты ему о самодержавии, а он семечки лузгает. На кой он нам ляд дался.

— Не дело говорите, Никита, — вступился Борис. — А на войне как по-твоему: увидел неприятеля — так сейчас и лезь в драку? Там маневрируют, надо маневрировать и здесь.

— Война — другое, — упрямо тряхнул волосами Никита. — Там, действительно, берется винтовкой. А в нашем деле — духом надо брать. Винтовкой разве возьмешь самодержавие?

— Ну, о духе то вы, товарищ, бросьте, — усмехнулся Борис, — это — та же поповщина, только навыворот. Организация, средства, план — вот в чем вся сила. На этом и партия стоит.

— По-книжному, по-читанному — оно, может, и так, — протяжно сказал Митрохин. — Однако по жизни нашей, надо сказать, так не оказывается. Недалеко ходить: скажем, — слепец.

— Что слепец? — нервно отозвался Игорь.

— Откуда у него, скажем, сила?

И Борис и Игорь улыбнулись брезгливо, но ничего не ответили.

— От правды, — учительно и твердо сказал Митрохин. — Кто как, а они правы, слепые-то.

— В чем правы?

Митрохин помолчал.

— Как уж выразить более доступно не знаю. В жизни своей правы.

— Перед кем правы-то? — ухмыльнулся Бирюков. — Перед теми, что ли? — он мотнул кепкой в сторону лужайки. — Послушали и потекли... во сретение... Зрячие!

— Потому и потекли, что духу нет! — запальчиво крикнул Никита. — Был бы дух, небось, остались бы. В кусты не поперли.

— Да что ты все — «кусты, кусты», — в свою очередь загорячился Бирюков.

— А ежели в самом деле казаки. Что ж нам, в самом деле зря башку подставлять? Приставная она у тебя, что ли?

— Не серьезно это, товарищ Никита.

— Холодного вы существа человек, товарищ Борис.

Никита поднялся на колени.

— Начетчик. Вот и товарищ Игорь тоже. А у меня, да и у других ребят наших — верите — сердце дрожит. Который месяц! Все: завтра, да завтра. А сегодня бьют, и завтра бьют. На заводе — размахнулись было: эх, ухнем... Стачка! Мастера на тачке вывезли — в мусор носом, любо! А он, гляди, ныне — опять в книжечку пишет. А комитетские: помолчи, говорит, да затаись, говорит, да чтобы не громко. Кружок провалишь. Вся Рассея, как есть на под'ем стала: а вы — кружок. Зачем тогда маузера выдали. Вот этак его, под рубахой таскать?

Игорь строго посмотрел на Никиту.

— А вы что же, не знаете, товарищ, что оружие на митинг брать запрещено?

— Знаю, как не знать, — ослабился Никита. — Я его всегда беру. Разве угадаешь, когда пригодится. Намедни, за заставой — повернулся околоточный на обходе. Ночь, вокруг заборы одни. Чик. Шуму от его немного: только вонь пошла, от околотка-то.

— Ну-с, это...—еще строже начал Игорь, и оборвал. Справа из-за деревьев—почудился или нет—далекий человеческий голос.

— Кричат никак?

Прислушались еще: крик повторился.

Никита вскочил на ноги.

— На слух—на большаке кричат, к ферме.

— Тише, ты, — прижал его за плечи, тоже вскочивший Митрохин.—Затаись, братцы. Человек по лесу.

— Наш.—Присмотревшись сквозь папоротники, сказал Борис.— На митинг: я ему сказал—к трем часам, и оповестить не успел, что перенесли на двенадцать.

— Экой барин по обличью, — сощурил глаза Бiryюков.— С тросткой, не иначе. А тоже, скажи, партийный?

Борис слегка покраснел.

— Да, и надежный партиец, давно работает, и сейчас — на очень доверенной работе. На людях редко показывается. На заводы ему ходить нельзя — так очень просил на сегодняшний митинг... соскучился без людей. Такая досада — не успел оповестить: очень с ним трудно сноситься.

Человек был уже близко. В чистенькой, проглаженной чесучевой паре, румяный, толстенький, золотые очки перед серыми, маленькими, острыми глазками.

— Коли свой — надо обкликнуть. Пробродит зря, искавши.

Борис поднялся и сложил рупором руки.

— Николай!

Румяный остановился, повернул голову, подхихикнул, и подошел, зигзагом, тщательно давя мухоморы.

— Залегли, герои отечественного освобождения. — Он сощурил глазки за очками и снова подхихикнул. — Выбрали местечко — можно одобрить. Воздух — благодать: после подполья-то. А-ах!

Он широко, по-карасья, раскрыл рот.

— Хвоя, ландыш.

— Ландыш-то откуда? — улыбнулся Борис. — Вы поэт, Николай.

— Благодать, — повторил он, жмурясь. — Ну, а там как? Собрались — уже?

— Простите вы меня, товарищ Николай. Не смог вам дать знать. Митинг уже разошелся.

— Разошелся? — Серые глазки испуганно и злобно блеснули из-за очков. — То-есть, как разошелся!

— Мы начали на три часа раньше, — виновато опустил голову Борис.

— Незадача, — скривил губы Николай. — Давно разошлись?

— Только что.

— Так... А я-то думаю: кого это драгуны на шоссе лупцуют.

— Драгуны?

— Как же, как же. Тоже опоздали, по видимости. Я шел, — а они по шоссе, на рысях, на рысях — в окружение. Отсюда разве не слышали?

— Слышали, — хмуро отозвался Никита. — Я и то было... — Он снова вынул маузер из-под блузы.

Серые глазки дрогнули и сузились в щель.

— Может, еще у кого есть оружие?.. Вот лихо бы было. Поучили бы опричников.

— Что вы такое говорите! — возмущенно выкрикнул Игорь.

— Очень просто. До коих пор давать своевольничать? Они лупят, а мы, революционеры, смотрим. А казачье — день ото дня лютее.

Никита, молча, поднялся, нахлобучил картуз и пошел, проламываясь целиной.

— Куда! Никита! Назад!

Мы все вскочили. Но Никита, не оглядываясь, пригнулся и бросился бегом, треща сучьями. Пока мы, обрывая ногами оползавший прядями мох, выбирались из низины — он исчез за деревьями.

— Не угнаться... как пошел, — тихо сказал Бирюков, не глядя на нас.

Митрохин снял шапку и перекрестился.

— Об упокоении раба божия Микиты.

— Да что вы, в самом деле, — взялся за голову вздрогнувшими руками Игорь. — А еще в партии.

— Партия — она партия и есть. А о душе тоже подумать надо. Душу-то загубили, а? Душу-то, говорю. Где Микита? Я вот тебя спрошу, господин золотые очки.

Николай снял шляпу и отер лоб.

— Я в сущности не понимаю, почему он, собственно, от нас убежал. Что я сказал такого?

— Не понимаешь? — потряс включенной бородой Митрохин. — Поймешь. Это, по-твоему, что?

За лесом сухо стукнули, в догон друг другу — один, два, три выстрела.

Лицо Митрохина сразу стало спокойным. Губы улыбнулись. Он тихим движением подтянул пояс.

— Что ж, пойтить и мне.

Игорь цепко ухватил его за плечи. Спавшее пенсне нелепо и гадко плясало на шнурке.

— Нет! Нет, это уж оставьте. С ума сойти. Не пущу.

— А ты что — свечку поставишь за упокой, али в газете напишешь... и квит... барин. — Снова потемнев, хрипло сказал Митрохин. — Пусти! Шутишь, что ли? Книжку-то убери — о смертях дело. Ты кровь-то видишь сквозь стеклышки? Я — сквозь лес вижу.

Он оттолкнул Игоря и, тяжело ступая, пошел по следу Никиты.

Николай засунул руки в карманы и тотчас вынул их снова.

— У кого еще, товарищи, есть оружие? Идемте.

Митрохин резко обернулся и стал.

— А у тебя есть?

— У меня — нет, — пробормотал Николай, растерянно оглядывая нас. — Я у них спрашиваю. У меня — нет.

— Ну и у нас нет.—Митрохин повел плечом и медленно подошел обратно к Николаю. — Ты куда зовешь-то? Я на уходе не слышал.

— Я... на выручку: если у кого есть оружие... Пойти вместе... нельзя же так оставлять.

— На выручку,—протянул старик.—Вишь ты какой. А я-то было подумал — прости ты меня, Христа ради. Ну, иди, я посмотрю. Иди, говорю.

— С вами?

— Нет, — зло рассмеялся Митрохин. — Я, брат ты мой, видишь ли, струсил. Жизнь свою пожалел. Миките-то, какая выручка. Только три раза и стрелил: слышал? А в пистоле — снаряду сколько? Считал когда? Три раза, как это понимать? Больше стрелить не дали. Вот я и струсил. А ты не струсил, зовешь. Ну и пойди. Оружия нет? Вот оно, голубок. Тяни руку.

— Товарищ Борис... что же это, в самом деле...

— Не надо, Митрохин, стыдно.

— Стыдно? А мне и невдомек... Ну, прости, коли обидел. Бирюков, идем к себе, что ли. Вишь она, беседа-то, расклеилась.

— Я зайду к вам, по вечеру, — быстро сказал Игорь.

— Заходите, товарищ. Насчет кружка поговорить? Поговорим, обязательно. Как же, первостепенно. Я же — организатор: что же у меня — понятия нет? Обязательно заходите. Я и из ребят которых покличу. Счастливо.

— Надо и нам, — сказал Борис, глядя в лес, в сторону шоссе. Если там, действительно... они обыщут окрестности... Товарищ Михаил, вместе? — До завтра, Николай. В семь часов, у Фанни. Свободны?

Николай сморщился весь и облизнул широким, белым под налетом, языком сухие губы.

— К Фанни — нельзя, товарищ Борис. Там... провал был.

Борис вздрогнул и остановился.

— У Фанни? Быть не может... Это же не явочная квартира. Кроме организационного комитета...

Николай развел руками.

— Не знаю. А только... вчера у меня там встреча назначена была с Александром. Прихожу — полон двор полиции... не опоздай я — всыпался бы, как кур во щи.

Борис шагнул к нему.

— Что вы говорите! А... Александр...

— При мне на извозчика сажали.

— Александра? — задыхаясь, выкрикнул Борис. А вы, сейчас вот, смеялись... Ландыш! Разве вы не понимаете, что он такое для нас, Александр... Ведь это — конец.

— Ну, что вы, товарищ Борис. Сейчас уж и конец... молоды вы... Революция не делается без жертв... Сколько на своем революционном пути я уже видел потерь... А она идет и идет, революция... Что для нее один, хотя бы и ценный человек.

Не дожидаясь больше Бориса, я пошел через лес, к шоссе.

## 2. Конституция

Тучи гонят в обгон черными, синими клочьями. Мелькнул, между дымными клубами, месяц — ярким осколком щита, рассекая края налетевшего облака. Растерянный. Погнутый. Вот-вот повернется, под новым налетом, тылом к земле... Дзиг! Нет света! Ни зги не видать — ни вверху, ни внизу.

Стачка!

С Адмиралтейства бьют в мглу, хлеща по сгорбленным крышам, шаря бледным, твердым лучем по черными площадям, черным улицам — прожектора: один, два, три... По Троицкому мосту — редкие пешие... один, два, три... На Неве — быстрая, чуть-чуть засеребренная рябь.

Ветрено, весело.

Последняя железная дорога — Финляндская — стала.

Все-общая за-бас-тов-ка!

Но упрямо отзванивают, над стеной Петропавловки, столетним звоном часы: «Коль славен». На крепостном фесе, что выходит к Каменноостровскому, у запавших вглубь, под иконою, древних, плотно припертых ворот, наспех ставят полевую батарею. Пригибаясь — словно под вражьем огнем, — перебегают между орудиями серые, в синем сумраке, солдатские тени. Глухо цокают вдали, по торцам проспекта, копыта полицейских патрулей. Парк шумит — октябрьским ненастным шумом.

Пусто кругом, глухо...

Ночь близко. Над самым городом.

Каменноостровский застыл. Плотно приспущены занавесы в окнах попутных домов. Пугливо выглянул, на случайный звонок, из-за тяжелых, еще не разбитых каменным градом, зеркальных стекол — непривычно растрепанный швейцар. Слизлой дрожью передернутая, тянется обывательская жуть — от домов, от торцов, от дребезжащих под ветром, сиротливых — над пустыми панелями — фонарей. Любо!

— Ударим, наконец?... «С одними ножами засапожными».



В тупиковом, незаметном проулке, тускло мигают над четырехколонным под'ездом два белых, еле налитых светом, фонаря: «Аквариум» — торгует: единственный, кажется, притон в городе, который не затронут забастовкой... Некому о нем вспомнить. Рабочий здесь не бывал — и не слышал.

Вдоль брандмауэра, насупротив под'езда, и нынче, как всегда — вытянулись цепью пролетки — без кучеров, автомобили — с затушенными огнями. С'езд. Но не юлят под ногами голоногие мальчата, навязывая афишу, выпрашивая окурков. Стачка ли их разогнала? Или — что?..

Иван Николаевич назначил — к двенадцати, точно. У меня еще полчаса времени в запасе.

В передней, у вешалок, — некстати, — знакомое лицо. Щекотов, саратовец, земец. Познакомились летом, в Москве, на земско-городском с'езде — в Долгоруковском доме, что за пустырем, против Храма Христа Спасителя.

Хотел пройти стороною. Заметил.

— Во-от, батенька, дела! И вы сюда? Ничего не поделаешь — хоть дорого: единственное место — все рестораны закрыты, а есть хочется смерть... Ну, и вспрыснуть, собственно, надо бы — по-русскому, по-православному обычаю... Можете, батенька, поздравить.

Швейцар, покачивая головой, принял мое пальто...

— Уж не знаю, как вас Иван Павлович устроит: такое нынче скопление... Как бы сказать: катастрофа.

— Еще бы не скопление, ежели некуда иначе и деваться: стачка! Вы не знакомы, господа? Это — наш предводитель уездный; тоже со с'езда. А я вашу фамилию, простите, забыл. Лицо — хорошо помню, а фамилия выскочила.

— Ну и не ловите. Вы, что же, «учредились», наконец: смерть «Союзу Освобождения» — да здравствует «Конституционно-демократическая партия»? Я не поздравляю вас с переименованием.

— Вот мы сейчас — бутылочку: и поздравите.

— Не с чем. «Союз Освобождения» — название нелепое, если хотите, но в этом было что-то свое, Восток. Это — звучит! «Конституционно-демократическая партия» — от одного имени на три версты тянет парламентской скукой, застегнутыми сюртуками, застольным спичем, брр... Вы переходите с Востока на Запад; с восхода — на закат: берегитесь!

— «Ворон, каркая, к мести зовет». Крайний вы, крайний, знаю, Милюков жаловался: к нему, говорит, ни с какого боку. — А я, батенька, бок-то найду, — гогоча, он просунул мне руку под локоть. — Пойдем, в самом деле, никогда не был так голоден, как сегодня. А насчет судеб наших — не сомневайтесь: в России три силы — горожане, земцы, интеллигенция — все три у нас. С нас довольно!

В вестибюле — накурено и людно. Столики — вдоль, стен, столики посредине — вкривь, вкось; даже наверху, на галлерее,

обводящей входы в отдельные кабинеты — столы, столы... И все заняты. Плотно.

Действительно, «катастрофа». Здесь никогда не бывало раньше столов: кого загонишь ужинать в прихожую!

Щекотов оттянул тяжелую драпировку, в арке между вестибюлем и залом, и присвистнул.

— Ну, и штука! Яблочку негде упасть.

— Придется отыскивать Иван Павловича, пусть устраивает.

— Как честный человек — пол-Питера здесь, — хмуро оглядывая зал, протянул Щекотов. — Нет ли из наших кого? В глазах рябит, ей-богу. Какой-токой Иван Павлович?

— Не знаете Иван Павловича?

— Откуда мне знать, я здесь третий раз всего.

— Иван Павлович — граф, богач, здешний метр-д'отель.

— То-есть, как? — Щекотов опустил портьеру и обернулся. — Что вы такое рассказываете?

— То, чего одни провинциалы не знают. Да, сначала был только графом, постоянным здешним посетителем: здесь и спустил все свое огромное состояние. В один прекрасный день проснулся — здесь же в отдельном кабинете — с потрясающей шансонеткой, мятой скатертью и — счетом, который он, наконец, не смог оплатить. Оливье, хозяин здешний — великодушен: они столковались быстро: он дал ему отличный оклад и чин метр-д'отеля. У Иван Павловича опять то, что было прежде: тонкий ужин, отдельный кабинет и потрясающая шансонетка.

— Какой ужас! — повел плечами предводитель. — Ведь он каждый вечер рискует встретить знакомых...

— Рискует? Во-первых, — это его прямая обязанность — встречать. Во-вторых, — вы совсем превратно судите о здешней золотой молодежи: быть на «ты» с Иван Павловичем — шик.

— Наши, ей-богу! — радостно воскликнул Щекотов, снова отвернувшийся портьеру. — Вот видите — там, с краешку от эстрады — пятый... шестой... фу ты, чорт, спутался — так тесно насовано... шестой или пятый стол. Идем. Как-нибудь к ним приспособимся...

Огромные шляпы, открытые груди, открытые плечи, погоны, черные сюртуки, черные фраки лакеев, снующих по узким, чуть приметным проходам между сдвинутыми столиками, — не разобратся глазу в этой пестряди. Лавируя, мы добрались до стола земцев. Щекотов представил меня — широким жестом и невнятным мычанием. Четыре бородатых лица — приподнявшись — промычали также в ответ, кто коротко, кто длинно. Лакеи, вихляя фалдочками, тащили стулья из оркестра. Все устроилось. Я сел и осмотрелся. И первое, что метнулось в глаза: грузная спина и толстый мясистый затылок Ивана Николаевича... Близко, за два стола от меня.

Я встал: извиниться перед земцами и перейти к нему. Но, поднявшись, увидел, что он — не один. Невероятно! Против него, уютно уложив локти на стол, почти по пояс обнаженная, играя алмазами оже-

релья — сидела Минна... Minna la Cyrillienne, — как звали ее в гвардии, потому что она проделала весь дальневосточный поход в вагоне великого князя Кирилла Владимировича. За ее стулом, интимно опершись на спинку, стоял Иван Павлович и смеясь, что-то говорил «Толстому».

Без четверти двенадцать. Подойти раньше срока — или выждать?

Я передвинул стул на тот край, так, чтобы видно было и Минну и Иван Николаевича, и сел снова, не спуская с них глаз. Земцы говорили что-то в голос о с'езде. Я не слушал, и через ровные промежутки повторял: — да, да. Иван Павлович стронулся с места, дружески потрепал Ивана Николаевича по плечу и ушел, хозяйским взглядом осматривая зал. Минна осталась.

О чем они говорят: у них серьезные, у них даже сердитые лица. Щекотов одернул меня за рукав.

— Вот «Каменный Гость»: мы к нему, а он даже не слышит. Ничего, господа, он крайний, но сейчас он будет слушать. Вы знаете, милостивый государь, какую мы нынче на с'езде резолюцию выкатили!

Он сдвинул брови и вытащил из кармана — на машинке отшлепанный — листок:

— «Учредительный С'езд к.-д. партии приветствует крупный шаг н а р о д а, — он поднял многозначительно палец, — н а р о д а на том пути, на каком стоит сама...». Тонко сказано, Родичев писал — он мастер. — «Организованное мирное, и в то же время грозное выступление русского рабочего класса, политически бесправного, но общественно могучего...»

— Карасев платежи прекратил, — визгливо донеслось с соседнего столика. — Кто расчет на наличные вел — все прекратили.

— «Учредительный с'езд, — напрягая голос, перекричал говорившего Щекотов, — считает долгом заявить свою полнейшую солидарность с забастовочным движением». — Видите, как мы, батенька, на самый гребень событий.

— В банке Государственном — не отвечаем, говорят, за срочность переводов, — опять забубнил голос, за моею спиной. — Ты это слышал? Это тебе, брат, уж не крушение самодержавия, а попросту говоря — крышка.

— Ну, с крышкой-то мы еще погодим, — ответил другой голос, — и перешел на шопот; под самым моим ухом — противно! — Акции-то держатся на заграничной-то бирже: это как понимать? И в Париже, и в Брюсселе... Криворожские — 1.300 поднялись, Прохоровские — с 65 на 105, Донецко-Юрьевские, Русский Провиданс, Брянские рельсопрокатные... все вверх полезли. Здешняя на понижение играет, Брюссель — держит. Это, надо думать — штучка!

— Программа Витте отклонена — гремел, уже полупьяный, Щекотов. — Мы идем на полный разрыв с правительством.

Скрипки одолели, наконец, шум. Конферансье крикнул что-то с эстрады. В зале зашикали: — Тише!

Первое отделение программы, — то, которое никто не слушает — отошло. Сейчас — выход Марион, «любимицы публики», популярнейшей шансонетки сезона.

— Ти-ше!

Губы Минны шевелились попрежнему — быстрым и сердитым потоком слов. На этот раз обрывки слов доходили, сквозь стихавший гамон. Она говорила по-немецки.

— Нет, мой лягушонок, mein Frosch, на этот раз неотвертисься. О мебели — я уступила... Но сейчас, со столовым серебром — завтра же... Денежные... не верю.... столько тратишь... нашу квартируку...

Ударили литавры. Голос затерялся в звоне, треске, гуле аплодисментов: Марион — вышла.

Костлявая, узкоплечая, с угловатым «сатанинским» ртом, за укус которого платили бешеные деньги — она стрельнула глазами по залу, рикошетом, без прицела и, приподняв двумя руками топорщащиеся шелком, блестками, кружевами, юбки, показала — высоко над коленями — черные бархатные подвязки.

— Мар-Мар-Мар-Мар-и-он! — крикнул чей-то пьяный и восторженный голос. — Япон-скую!

Шансонетка кивнула копной соломенно-желтых волос, с пучком перьев над левым ухом и постучала носком туфли по пюпитру дирижера. Скрипки взвизгнули. Марион передернула бедрами:

Я Куро-паткин,  
 Меня все бьют.  
 Во все лопатки,  
 Войска бегут...

Четыре офицера в защитных кителях поднялись из-за столика, у эстрады, и подхватили слаженным, спевшимся хором.

Орел дву-главый,  
 Эмблема мощи,  
 Со всею славой,  
 Попал ты во щи.

— Брав-во!

Минна и Иван Николаевич перегнулись друг к другу через стол, почти губы в губы. И жутко-противное — в этих так близко друг от друга шевелящихся жирных, мясистых губах... Она — очень полная, Минна — Матвеёв, капитан из Кирилловского штаба, называет ее — «мясная лавка».

Под Ляо-яном  
 Били, били, били.

азартно выстукивают литавры.

— Ah, mais pop! — взвизгнула на эстраде Марион.

Скрипки срываются. — «Штурм!» — ударяет себя по коленкам Щекотов.

Четыре офицера, в защитных кителях, приставив стулья к барьеру, отделяющему зал от эстрады, пытаются перелезть, через головы

музыкантов, на подмостки. Марион, оскалив зубы, как норовистая лошадь, подобрав ногу, целится в грудь наиболее яростному поручику.

«Esprese de sal с...

Между столиками, скользящей походкой, уже мчится Иван Павлович, помахивая рукой; лакеи, спешно составляя подносы, со всех сторон устремились к барьеру. В дверях, четко рисуясь на малиновом бархате драпировки, выросла фигура плац-ад'ютанта, в фуражке, в походной форме.

— Господа офицеры!

Офицеры оборачиваются к портъере — и никнут. Гул смеха по залу. Кое-где хлопают... Гуськом, вслед за Иван Павловичем, вытягиваются к двери, цепляясь за спинки стульев, — четыре человека в защитных, манчжурских кителях. Портъера поднялась, портъера опустилась. Дирижер взмахнул палочкой. Инцидент — исчерпан.

Опять — черные подвязки, взмет юбок, картавый, высокий голос.

Bonsoir, madame la lune,  
Bonsoir, bonsoir.

За столиком Ивана Николаевича нет уже Минны; он пристально смотрит к выходу. Значит: пора?

Я жму руки соседям по столу — и перехожу к Ивану Николаевичу.

Он обёртывается, и улыбается — доброй, усталой улыбкой. Он ведь и в самом деле, наверное, ужасно устал за эти дни.

— Точны как всегда. Узнали?

— Нет.

Лицо потемнело. Нижняя губа дрогнула, выпятилась, отвисла. Лицо стало противным.

— Ну, конечно. Общее правило наших организаций. Когда надо — так нет.

Он досадливо отодвигает мельхиоровое матовое ведро, из которого торчит горлышко бутылки.

— Нам совершенно необходимо знать, что было на этом совещании. События зреют с часу на час. Вы знаете о ходе забастовки. По сведениям, правда, не проверенным, в провинции начались уже вооруженные выступления. — Он понизил голос. — И здесь, по заводам, настроение такое, что... если искру бросить... Взорвет!.. —

— А-гур-ца!

Мы чуть не вздрогнули. За спиной Ивана Николаевича, кирасирский полковник, выставив четырехзубцем вверх вилку в крепко зажатом кулаке, топорщась крахмальной салфеткой, засунутой за борт колета, — повторил, глядя прямо перед собой, эскадронной командой:

— А-гур-ца!

Лакей, прошмыгнувший мимо — два соусника на подносе — остановился на полном ходу, и подбежал, прядая фалдами фрака.

— Ваше сиясь... изволили требовать?

— Свежего огурца к филе.

Татарин переступил ногами и пригнулся.

— Виноват-с. Огурцов нет.

Полковник поднял бровь.

— То-есть как «нет», если я требую.

— Виноват, ваше сиясь. Негде достать. Привозу нет, ваше сиясь...

Полковник положил вилку и нож и поморгал глазами.

— Что за вздор! Почему нет привозу?

Лакей пригнулся еще ниже.

— Осмелюсь доложить: всеобщая забастовка, ваше сиясь.

— Ну, знаю... Что же, что забастовка?

— Так что огурцов не подвозят, ваше сиясь.

Полковник пожевал губами, брови поднялись еще выше.

— Скажите, пожалуйста! Так что — в самом деле так опасно? —

Он подумал еще и добавил. — Вот... сволочь!

— Сволочь, ваше сиясь, — заюлил татарин. — Совершенно пра...

— Как? — внезапно побагровев, крикнул кирасир. — Ты какое слово, в моем присутствии, поганая морда!

Лакей попятился, балансируя подносом.

— Виноват, ваше сиясь.

Полковник смотрел на него, что-то соображая.

— Всеобщая забастовка... А ты чего не бастуешь, если все хамы бастуют?

— Помилуйте, ваше сиятельство... Мы, так сказать, в вашем услужении...

Пушистые усы раздулись над забелевшими улыбкой зубами.

— Они — сволочь, а ты — трижды сволочь! Пшел! Стой. Убери филе. Без огурца, есть не стану.

— Разрешите, ваше сиятельство, карнишону.

— Прими тарелку, я тебе говорю.

— Слушаюсь.

Лакей вильнул фалдами и побежал дальше. Кирасир покачал головой и сказал, ни к кому на обращаясь.

— Гос-су-дар-ственная власть! Распустили хамье. Теперь... извольте видеть: ешь — карнишон.

— Именно что распустили, господин полковник. — Кирасир всем корпусом медленно повернулся на голос. За ближайшим, тесно придвинутым столиком — два, купеческой складки, осанистых старика.

— Я к вам не обращался, — с расстановкой сказал полковник.

— Мы не в претензии, — благодушно закивал головою один из купцов. — В кабаке, извините, какое обращение. Но как мы городской думы гласные...

Лоб кирасира собрался в морщины. Он подернул левым усом.

— Позвольте: гласные? Разве это люди — гласные?

Купцы озадаченно переглянулись.

— Какие же люди, что вы, помилуйте... Гласный — это который состоятельный.

Кирасир захохотал, колыша крепкие плечи.

— А несостоятельные, что же они — со-гласные?..

Иван Николаевич положил мне ладонь на руку.

— Вы слушайте: урок социологии.

Полковник затрещал стулом, поворачиваясь в три четверти к купцам.

— Это — что вы говорите, очень забавно. И верно выходит. У вас есть деньги — вы — гласный. У меня есть имение — я — гласный. У лакея нет денег, он — со-гласный, у чиновника нет имени, он — со-гласный. У рабочего нет денег, он.. — Кирасир остановился. — Позвольте, как же это? У рабочих нет денег, а они — э — бастуют. Значит они — не согласны?

— Согласны, господин полковник. По правилу! — Мотнул боро-дою купец.

— Как же согласны, когда вот... нет огурцов...

— Оно, конечно, обострение, в роде как,—вздыхнул гласный...— Но исключительно, надо сказать, от смутьянов. У рабочего нашего, господин полковник, душа хорошая, можно сказать, тихая. Темен он, конечно, оттого — смута. Но ежели, которых из'ять...

Полковник встопорщился.

— То-есть, как это... из'ять?

— Ну, известно как: в из'ян вывести.

— Которых?

— Так скажем — пролетариат. Отделить его от рабочего. Только и всего.

Полковник отогнул ухо.

— Шумят, не расслышал. Как вы сказали?

— Пролетариат.

Кирасир захохотал, запрокинув голову.

— Про-ле-та-ри-ат! Какое слово выдумали. А что оно значит?

— А пес его знает. Я на мануфактуре своей кого не спрашивал — не могли объяснить достаточно. В роде как бы — всего решившись.

Кирасир медленно пил вино, приговаривая между глотками.

— Пролет-пролетка-пролетел-пролетар-пролетариат-ат-ат.

Иван Николаевич давно перестал улыбаться. Он сидел, тяжело оперев голову на руки, пристально глядя на чуть пенившуюся еще, желтую влагу, в недопитом — плоском, узорчатом бокале.

— Что же, все-таки, теперь делать?

Он медленно поднял красные, припухшие веки.

— Ужасно досадно, что мне так не удалось повидать ваших офицеров. Подогрел бы я их... Что бы вы думали: если нам их бросить вперед...

— В каком смысле?

Он досадливо потер лоб.

— Мне казалось, я сказал уже. Напряженность поднимается: она дойдет скоро — завтра, послезавтра... до кульминации. В этот

момент — надо взорвать. Но, чтобы поднять массу, нужна искра извне. Нужна — запальная трубка. Сами, одни, они не поднимутся: у них голые руки. У нас мало оружия. Чудовищно мало оружия. Надо искру извне. Войсковое выступление — вот искра. К тому же — это даст рабочим оружие в самый первый, самый опасный момент.

Он говорил совсем тихо. В перекрестном гуле голосов, щелканьи кастаньет с эстрады, я едва различал слова.

— Я много думал эти дни. Центральный комитет решил: надо взрывать. Тем более, что какие-то меры принимаются... Это проклятое секретное совещание... И как это вы, при ваших связях — не могли узнать.

Он допил вино, и выпрямился.

— Так, значит, так: начнем? Сколько вам нужно, чтобы приготовить окончательно?

Я пожал, невольно, плечами.

— Год, или полчаса. Укажите день.

Он сузил зрачки, соображая. Лакей убирал со стола посуду и пустые бутылки. — Кофе прикажете?

— Нет. Счет. Или вы... останетесь еще?

— Я жду Курского. Машинку, две чашки, и шерри-бренди.

— Ну, а я пойду, — протянувшись всем телом, сказал Иван Николаевич. — Сколько с меня?

— Свежая икра, балык, рябиновой четыре рюмки, — начал лакей, быстро доставая из кармана фрака таблетку...

— Сколько всего, — морщась, перебил Иван Николаевич.

Лакей подсчитывал, беззвучно шевеля губами.

— Сорок два рубля.

Иван Николаевич, попрежнему морщась, выбросил на стол две двадцатипятирублевки.

— Ну, я пошел.

— На чем же мы кончим?

— Ах, да, — словно вспомнил он, останавливаясь. — Чем кончим? Срок векселю — послезавтра. И без всяких отсрочек. Послезавтра мы протестуем его. Примите меры. Завтра в три я буду у трех сестер. Знаете?

Он медленно прошел зал, между столиками. Я следил: никто не поднялся за ним следом: слежки нет; чист.

День, и еще день. На этот раз он прав, Центральный Комитет... Запальная трубка?.. Мои офицеры обиделись бы, если б услышали. Курскому нельзя так сказать... Но их надо вывести в дело обязательно... пока они еще дадут себя вывести... Сейчас еще можно, через неделю... Первым подыдем Финляндский полк... Там больше всего этой гремучей ртути...

Куда задевался Курский!

По залу прошел сдержанный, удивленный гул.



— Оливье!

В самом деле, событие — небывалое. На эстраде — блестя бриллиантами запонок на белоснежном пластроне рубашки, в безукоризненном фраке, с пробритыми, до синевы, щеками, округлый, гладкий, сияющий улыбкой — сам содержатель «Аквариума» — *monsieur, monsieur* Оливье.

Он кивал во все стороны напوماженной головой и делал какие-то таинственные знаки за кулисы.

— Ivan Pavloff.

Иван Павлович выступил. За ним — Марион, Минна, негритянское трио... Пестрой лентой потянулся цыганский жор.

Номер — монстр? Вся труппа сразу?

Акробаты, шансонетки, шпагоглотатель, человек-змея... Эстрада заполнилась... Оливье улыбался. Иван Павлович выступил вперед, и — жестом конферансье — протянул руку.

Гудение в зале слегло. Шагнув к самой рампе, Иван Павлович изящно склонился и вынул из кармана фрака печатный листок.

— «Божиею милостью мы, Николай второй, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь...

— Манифест?

Зал застыл. Голос Иван Павловича дрожал, наливаясь слезой, от слога к слогу...

— «Смуты и волнения в столицах... великой и тяжелой скорбью преисполняют сердце наше... Великий обет царского служения...

— Встать! — крикнул, подымаясь на вытяжку, кирасир. Стулья простучали торопливо. И опять тихо.

— «Признали мы необходимым... даровать населению незыблемые основы гражданской свободы... личности... совести, слова, собраний и союзов...

— Конституция!

— «Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы...

— Конституция! — Шопот, неверящий, по залу разросся. — гулом, криком...

— Гимн!

Дирижер, стоя, уже вносил палочку. Марион, подпернув привычным движением бедер топорщащиеся, качающиеся юбки, — бросила первую картавую ноту:

— Боже, цар-ра-а

— Храни, — вступили цыганские басы.

Зал очнулся окончательно.

— Кон-сти-гу-ция!

Земцы, краснолицы, чуть пошатываясь на растопыренных ногах, восторженно вторили басам. Рядом, уткнув голову в стол, между майонезом и оглоданным рябчиком, — плакал, судорожно дергая плечами, высокий белокурый человек:

— Довелось... миллионы, миллионы...

Иван Павлович снова подступил к рампе.

— Я имею честь от имени monsieur Оливье...

— Parfaitement,—закивал француз и приложил руку к пластрону.

— ... и всех нас — поздравить, в лице вашем, всю Россию с конституцией. И просить — от имени всех нас — выпить бокал шампанского за великое будущее нашей великой родины.

Портьера откинулась: вереница лакеев — с подносами, уставленными бокалами, потянулась по проходам между столиками.

— Ура! — подняв руку, крикнул Иван Павлович.

— Ура! — отозвалась эстрада и зал. — Гимн!

— Марсельезу!

Ого! Шляпки закивали. Кто-то вскочил на стул:

— Марсельезу!

К нему, толкая столики, мимо нас, ринулся, придерживая эфес шашки, какой-то очень пьяный улан.

— Я тебе дам... Марсельезу!

Полковник ухватил улана за руку.

— Бросьте, ротмистр, в чем дело?

Улан качнулся, подернулся и стал прямо.

— Какая-то сволочь потребовала марсельезу...

— Ну и чорт с ним! — благодушно сказал кирасир. — Пусть споют. Может быть, это что-нибудь веселенькое.

Ротмистр заморгал глазами. Но на том месте, откуда раздался «мятежный призыв», уже хлопотал вездесущий Иван Павлович. Оркестр играл, надрываясь, бравурный марш.

— Стакан вина! — кивнул кирасир, — Здоровье его величества... Подвоз теперь, знаете, возобновится. А то — изволите видеть, ешь кар-ни-шон!

Белокурый все еще плакал.

Щекотов, с бокалом в руке, постучал вилок о тарелку.

— Господа! Сто лет, как лучшие силы российской общественности изнемогали в тяжелой, непосильной борьбе.

— Тише! — прошипел кто-то.

Странное дело: Щекотова — слушали.

В вестибюле было тихо и свежо. Дуло в приоткрытые двери. На галерее — за столиками уже никого. Я отдал швейцару номерок и закурил, дожидаясь пальто. Мысли бежали вперегон — тяжелые и бешеные.

### 3. Троеручица

На Страстной площади — явственные и тяжелые следы недавнего еще боя. Нелепою грудой торчат на углу оттащенные телеграфные столбы, под корень подрезанные кривым, торопливым срезом. Черными, мокрыми кругами пятнят мостовую следы кострищ. Обрыв-

ками зажгутившихся проволок окручен фонарь. Боченок с выбитым днищем, с пестрыми клеймами «Портландский цемент» — подкатился к обгорелому киоску. Мигает разлущенным козырьком втопанная в снег синяя студенческая фуражка. По штукатурке домов — белую оспою — сыпь шрапнельных разрывов. Было!..

Было. А сейчас... уже нет. На перекрестке, надежно и прочно врывшись тяжелью сапог в замазанный, расхлестанный копытами, подошвами, орудийными колесами снег — трое городских, в башлыках, в черных шинелях, растопыря локти засунутых в карманы рук. Еще стиснуты скулы оторопью недавнего страха, — но по всей постати чувствуется: было. И — нет.

Нет. Но... с монастырской башни — черным, чуть приметным жалом смотрится — вверх по Тверской — пулемет.

Шестой дом от угла Страстной по левой стороне. Я зашел под арку полураспахнутых, гнусавых ворот. Через двор, прямо, во флигеле, в третьем этаже, сквозь стекло — белая свечка в бутылке: знак, что явка не провалена: можно входить смело. Четвертое окно от угла так и мне было сказано. Я поднялся.

— От Ивана Николаевича.

Девушка, открывшая дверь, кивнула головой и обернувшись в коридор, крикнула:

— Виталий!

Виталий оказался белокурым, крупным, круглым. Но под глазами — бессонная синь, пальцы вздрагивают на лацкане тужурки.

— Товарищ Михаил, от военной организации? — как же, как же — ждем... Но... только... Мы вас, признаться, раньше ждали... А сейчас — уж и не знаю, как вам сказать... Связи у нас — за эти дни, признаться, порастерялись.

— То-есть, точнее сказать...

— Видите: начали мы — очень хорошо. И план был, и инструкция. Баррикадами шли к центру: войска, ведь, первоначально все были к центру оттянуты. Каждая дружина — в определенном районе действовала. Связь держать было легко. А с четвертого дня, — как войска начали наступать, — вся система спуталась: дружинники начали переходить из района в район... были, скажем, на Бронной — оказались в Замоскворечьи... разве угонишься! Я сейчас очень затрудняюсь сказать, в каком положении дело... Со вчерашнего дня никто не заходил. Я вам говорю: разбросалась публика...

— Ну, да ведь штаб какой-нибудь у вас есть, все-таки...

— Конечно, есть, — закивал Виталий, расстегнув и тотчас же снова запахнув тужурку. — Штаб на Пресне: она еще крепко занята. Это — на верное.

— Значит, туда мне и надо пройти. Как там связаться?

— На Прохоровскую мануфактуру вам надо будет. Центр там. Но вот, — кого из наших найдете... — он развел руками и сморщился.

Там у нас товарищ Мартын был... Вышла, однако, некоторая неприятность: пришлось сменить. Сейчас Ильин должен бы быть, но возможно, что и он ушел... По совести сказать — и он не очень подходящий, Нет людей, знаете... Кто — куда... Что бы вам хоть чуточку пораньше. Вы Мусю знаете?

— Какую Мусю?

— Да такая она, знаете... Вы с ней на Питерской работе могли встречаться. Она на Выборгской стороне работала, в районном комитете. Не припомните?

— Нет. Может, и встречал когда.

— Она как раз сегодня на Пресню ушла. Вот бы вам с нею...

— Петро здесь еще, — вполголоса сказала, стоявшая у притолки, слушавшая нас девушка.

— Как здесь? — вскинулся Виталий. — Ведь к шести было условлено. Опоздает. Петро...

— Я, — отозвался голос из-за стены. — Не бойсь, поспею — сейчас иду...

— Ну вот — на наше счастье, тут парень один — должен Мусе для пресненцев передать кое-что: он где-то с нею условился. Кстати и вас проводит. А дальше — вы с Мусей... она — все входы и выходы... Видите, слава богу, все чудесно устраивается. Петро, — вот товарищ из Питера, по уличным боям специалист, прислан на усиление штаба.

Петро тряхнул космами оползающих на лоб рыжеватых, ребячьих волос, оттопырил безусую губу над белыми, ровными зубами.

— Добре! Только где его теперь, штаб, разыщешь...

— Муся разыщет, — успокоительно сказал Виталий, забегая вперед нас к двери. — Ну, счастливо! — Осторожненько, переулочками, Петро...

Мы спустились во двор.

— Вы Москву-то знаете?

— Мальчиком жил... Вспомню. Мы куда пойдём?

— Да почти что к Горбатову мосту. Там церковь есть — семи, то ли девяти мучеников. Так вот туда.

— В церковь?

— Обязательно. Для явки сейчас — лучше места не найти. На улице неспособно: только на ходу прохожих и терпят: остановишься, хотя бы и один — того и гляди заберут, а нет — пристукнут. В квартирах — опасно стало: охранка очухалась — действует. Рестораны не торгуют. А в церквях — благодать. Попы-то не бастуют, молят о ниспослании. Шпика — за какой надобностью в церковь занесет. Так мы — в притворе, без людности, сойдемся, поговорим и ладно.

Я оглянулся по кривому переулку, которым мы шли. Никого. Приперты ворота и ставни. Синее поздними сумерками снег.

— В шесть вечера. Вот мы с Мусей и уговорились. Ей оттуда на Пресню — рукой подать. Горбатый мост в двух шагах.

Он тряхнул свертком, который держал в руке.

— Колбасу несуг, для отвода глаз. Очень, знаете, странно: у солдат — к с'естному, форменное, как бы сказать... Лучше всякого паспорта, ей-богу. Если при обыске провиант — сразу доверие... Мы патроны подвозили в Замоскворечье, в мешок с мукой насыпали и везли. Восемнадцать раз, не поверите, извозчика останавливали — потрогают, мука: езжай дальше. Даже сами советовали, как об'езжать, чтобы меньше патрулей было... Мы, однако, все-таки, с вами врозь пойдем, с Гранатного... Здесь видите ли тихо. А в том районе — по пресненской границе, — как бы кого не встретить. На одиночных-то они меньше ярятся. Придержитесь-ка — я вперед пройду.

Снег хрустит под подошвой. Весело посвистывая, идет, в двадцати шагах от меня, качая колбасным свертком на оттопыренном пальце — Петро. Затаившись за палисадниками, высматривают в проулок щелками занавешенных окон — притихшие, наспуленные дома. Пусто.

Свернув с Гранатного влево — Петро перестал свистать. Дошел по морозному стоячему воздуху — взвизг колеса, похрапывание лошади, тихий людской гомон. Далеко — далеко, за домами — стукнул одиночный выстрел. Я прибавил шагу за быстро уходящим вперед Петро.

На Кудринской площади, по засыпанному снегом кругу, в темноте медленно мотались два орудия, в упряжке. Лошади, прихрапывая, тяжело оседали на сугробах. У поваленной желтой будки — кучка офицеров и солдат с фонарями осматривалась вверх по крышам.

Петро пошел левой стороной, я — правой.

Черные тени заступили дорогу.

— Стой! Мать твою... Кто идет?

И тотчас на другой стороне, через площадь — отозвались вскриком такие же черные голоса.

— Стой! Кто идет?

— Академии генерального штаба.

Тени качнулись остриями штыков.

— Виноват, вашбродь. Фонарь, Стеценко.

В тусклом свете желтой, испуганно мигающей свечки — над моим отпускным свидетельством зашевелились, разбирая слова, отороченные рыжей щетиной, солдатские губы.

— Виноват, ваше высокородие. Как вы есть в вольном, не признавать отличия. Притом, в роде бы фронт.

— Стреляют?

— Стишало к вечеру. Однако из-за мостов набегают, которые по времени: пальнет и опять назад.

Близко и сухо ударил выстрел. Мы обернулись. Через площадь, в потеми, кучкою возились люди.

— Поддай-ка огня. Гей!

— Напоролся, бродяга, — тряхнул головой разговаривавший со мной ефрейтор. — А и нахальства этого в них, не сказать, ваше

высокородие! — Скольких за эти дни таким-то манером... Прет прямо на заставу, будто мирной. А поширишь его хорошенько — на ем оружие, или того еще пуще — бомба. На Бронной в наряде мы были — бомбой восемь человек вместях срезало. Как, значит, стояли... раз!.. кого как! Оттого... лютует солдат. Это разве порядок... бомбой.

Вместе о ефрейтором, несшим фонарь, я перешел площадь к копошившейся кучке. Петро лежал на спине, раздетый. У виска, — черным пятном слипшийся ком волос. Снежным казалось тело — из-под задранной к самой шее рубашки.

— Вот сволочь! Добро бы жид... А то, смотри-ка, православный.

— Что нашли? — крикнул от киоска офицерский голос.

— Патроны. Склад целый.

Один из солдат, сопя и нажимая коленом на ногу Петро — тащил сапог.

— Голенище-то потряси.

— Тряси не тряси — чисто.

Солдат выпрямился, покрутил голенищем, сплюнул, бросил сапог в снег.

— То же ходют! Рвань платаная!

Ефрейтор, прищурясь, присматривался.

— Никак жив еще. Чтой-то у него, будто, брюхо пузырится.

— Жив! — Обидчиво отозвался другой. — В самый упор стрелял: небось будет жив... Берись, братцы, — отволоки к стороне. Все же — публике проход.

— Э-эх! — Что народу перепорчено. И какого им, прости господи, рожна!

— Будто не знаете?

Солдаты разом повернули ко мне головы.

— Испытуете, ваше высокородие, — осклабился ефрейтор. — Хоша и молодые — по военному случаю до срока в строй поставлены — но в присяге тверды.

Петро белел на сугробе. Я вышел на бульвар боковой прямой, снегом плотно закрытой дорожкой, меж белых, упругих, застылых валов.

В темноте, впереди на аллее, тускло взблеснул штык. Я свернул малой тропкой — к улице. Через нее — кривой, под гору, проулок. Снег. Темь.

Еще глуше здесь, еще настороженнее дома. Но курятся, над занесенными крышами, низкие дымные трубы.

Встречный.

— Как к девяти мученикам пройти?

Он подозрительно оглянул меня, из-под очков. Седой, борода клочкастая.

— А вам зачем, собственно?

— К священнику мне, отцу Василию.

— Василию? — протянул он. — Что-то я такого не знаю. В приходе у нас отец Николай Виноградов. А отца Василия — я такого не знаю.

— Вы, почтенный, ослышались. Я так и сказал: к отцу Виноградову.

— Я-то не ослышался, — снова осмотрел он меня. И снизил голос. — Вы что, по союзному, слышь, делу — или как?

— По сродству.

— По сродству? А имени не знаешь? — Он качнул головой...

— Ладно, дело наше сторона. А пройти... Как выйдешь к церкви — по правую руку будет церковный дом. В под'езд войти — левая дверь — будет дьякон, а правой — к нему, к отцу Николаю.

— А к церкви-то самой как попасть?

— Вон — до угла, до того, налево до улочки, по ней вниз, до первого перекрестка — и опять влево — так прямо к церкви и выйдешь.

Он придержал меня за рукав.

— Вы, однако, с опаской. Здесь-то — ничего. А как к церкви, то там, храни бог, Горбатый мост, — а с моста Прохоровские дружинники — так и кроют, так и кроют... Зюкнут за милую душу.

— Н-на! — За что меня зюкать?

— Ладно! — хитро подмигнул он, переминаясь валенками. — Они тоже, брат, ребята со смыслом. Зюкнут, я тебе говорю. Здесь ихнего брата чутьем разбирают, а там — вашего.

— Бог не без милости, казак не без счастья.

— Так-с... В самый раз поспеете... Служба-то божественная, чаю, только-только отошла.

— Отошла!

Я бегом побежал по улочке, по неразгребенному снегу. Старик гнусаво кричал что-то в догонку.

Храм сползал по отлогому склону распластанным каменным остроглавым шатром.

За церковной оградой — от раскрытой, обмерзшей калитки к паперти — тянулся широкий, многими, многими протоптанный след.

Скрипнула, на ржавых, на кованных петлях тяжелая дверь. Замигали встречу, с золоченных досок высокого иконостаса, отблеском, язычки свечей в паникадилах... Не разошлись еще... молятся. И сколько их! Почти полна церковь.

В притворе, у иконы богоматери, на коленях стояла бледная красивая девушка в черном, плотно заколотом к волосам, платке. Она не отрывала глаз от образа и как будто горячо, пристально молилась.

Она—или нет?

Я стал несколько отступя. Выждал. Она обернулась — слегка нахмурила бровь и положила земной поклон, истово и крепко.

Я придвинулся ближе и тихо проговорил:

— Муся.

Она не подняла прижатого к каменному полу лба.

Но мне показалось — чуть дрогнули плечи под лисьим воротником шубы.

На клиросе пели торопливо и радостно.

— «Взбранной воеводе победительная...».

Я повторил громче.

— Муся.

С амвона, пришепетывая, задрезжал старческий голос.

— Братие! Преосвященного владыки, Антония Волинского, пастырское к вам слово — о последних днях.

Она встала и вошла в толпу, грудившуюся к амвону. Я протиснулся следом, вплотную, чтобы не разминуться. Перед самыми глазами русые завитки волос из-под черного платка.

Над рядами склоненных голов кивает с соли, от царских врат — седая, окладистая, расчесанная борода.

— Братие!

Еще раз прокашляли в толпе. И — тихо.

— Великую смуту воздвиг, изволением божиим, на православную Русь враг рода человеческого, дьявол. На стогнах градских, во образе скверны, во образе жидовстем, — еще и устами соблазненных, по скудости веры — ересь социализму проповедуется. Ныне же, зрите, даже и кровь пролита. Во знамение... Во обличение вашего маловерия, людие! Почто терпите, почто соблазну попустительствуете... Еда же исполнится время духовной вашей лености!

Голос креп. Он не пришепетывал больше.

— Поколе будете терпеть сих зачумленных. Ибо, братие, чума на них — милосердием божиим отверженных. Нет в них — ни страха божия, ни совести: такой человек — хуже лютого зверя. Смерд от них серный, геенский смерд..

— Ужели же допустим, братие, торжество диаволова? Ужели сопричастимся греху? Что же делать, како исправить пути наши перед господом? Да не погубим души наши, да не обречемся огню адову...

Он замолчал. В тишине — все громче и громче, напряженнее и злее нарастало дыхание десятков грудей.

Священник поднял — желтую в свечных отблесках — руку и благословил толпу.

— Молитесь, братие, — да заступит нас бог, да закроет, святым покровом своим, пречистая мати. Каяться во гресех наших, за них же поущение божие на нас.

Скорбно опустилась голова, ерзая седой бородой по парче эпитрахиди. Но глаза загорелись — темным, знакомым, виденным огоньком.

— Сие, по христианскому чину нашему. Но надлежит и иное упомянуть: что каждый из нас есть сын родной земли и государю своему — верноподданный. В писании же сказано: вера без дел мертва есть. Да сбудется же слово, реченное пророком, глаголющим: подви-



гом веру мою подкреплю. Изверги те — посреди нас живут. Изыдем же их, братие, тщанием общим. Руку разящего да укрепит бог...

Толпа дрогнула и сдвинулась теснее. Липким жутким туманом стлался над головами кадильный, застоявшийся дым.

— Укажи, отец...

— Господь умудрит, — возгласил старец, взнося крестным знаменем руку. — Сказано убо в писании...

— На погром зовешь, божий человек. Крест на брюхе, а слова какие.

— Откель взялся, — взвизгнул женский, истошный голос. — Родимые! Бери его, беса. От прохоровских подослан.

В рядах забурлило. Хлестнула напором людская волна. Воронкой — туда, к правому клиросу. В просвете жерла — чьи-то головы, чья-то поднятая ударом рука. Раз... раз!

— Двое никак... глянь-ка... двое и есть.

— Ты куда! На-ва-лись!

Гулко отдавался, под сводами, перетоп ног, глухая резь ударов. Но точас перекрыл крик и гомон — звонкий девичий голос, как сталь прорезавший храмовую жуть.

— Ни с места! Бомба!

Дикий взвизг. И сразу стало тихо. На амвоне, у замотавшейся тяжелой, золотом окованной хоругви, лицом к толпе, высоко взметнув над головой что-то черное, большое, мохнатое, стояла девушка — в короткой шубке, круглой меховой шапке. На всю церковь видна — смелым изломом, крутая дуга бровей, над ясными, до дна ясными девичьими глазами.

Так вот она какая, Муся!

— Дайте им дорогу. Брошу: никто не выйдет.

Толпа медленно, не сводя глаз с амвона, расступилась, осторожно передвигая ноги: от Муси до дверей раскрылась широкая просека. Двое... еще один... и еще, поднимая воротники и сутулясь, быстро пошли к выходу. Я бросился туда же.

Муся выждала, когда за последним — за четвертым — проскрипели ржавые петли... Она, попрежнему, высоко над головой держала мохнатую муфту. Затем — опустила руку и сошла по малиновому коврику.

Она шла неторопливо, смотря прямо перед собой, словно не было, по обе ее стороны, в двух шагах, застывшей, на две стены расчеченной людской толпы. На опустевшем, — таким ненужным ставшем амвоне, тряс отвисшей челюстью, распластавшись на каменном помосте — седой, сгорбленный, жалкенький попик.

Я распахнул перед нею дверной створ. Она остановилась. И тотчас — старушка-богомолка у порога, плача, метнулась ей в ноги, цепляя губами белый валеный сапог.

— Мати пресвятая, Троеручица.

*(Окончание следует.)*

# В грозу

Повесть

С. СЕРГЕЕВ - ЦЕНСКИЙ

1

**Б**ыл голод, но привыкшие к умиранию, люди умирали молча. С каждым днем пухли все больше и больше, недоуменно пробуя свои руки, ноги, подглазья, наливавшиеся голодной водой, и умирали, проделав перед смертью тысячу ненужных штук,—ритуал умирания: бесплодно попрошайничали друг у друга, бесплодно осаждали исполкомы, здравотделы, собесы; собирали ягоды боярышника и шиповника, улиток, молодую траву; походя воровали, бесцельно таща все, что попадало под руку; по ночам уводили и резали чужих лошадей, коров и коз; соблюдая еще прежнее человеческое достоинство, выпрашивали у знакомых кошек «на одну только ночку, — пожалуйста, — а то, знаете ли, мыши одолели»—и жадно с’едали их; ловили собак на улицах, нарочно раззадоривая их и заманивая в укромные углы; воровали по ночам трупы из часовни на кладбище; охотились за чужими детьми, но бывали случаи, что ели и собственных.

Один татарин из деревни Аджилар, отец шестерых детей, бестрепетно резал младших ножом, как барашков, и кормил ими старших и жену, кормился и сам. Двое старших, подростки, годились уже для работы, а от маленьких какой толк? Расчетливый татарин этот продержался так недели три, но проходивший мимо отряд пристрелил людоеда и его жену, а подростков только избил до потери сознания и бросил. Очнувшись, старший немедля убил младшего, и никому по уходе солдат во всей деревне Аджилар не было дела, в вареном виде ел он труп брата или сырым. Когда нашли труп старшего, костяк младшего около, прикрытый мешками, был обглодан.

Это было в беспечном Крыму, где еще так недавно, казалось, сам воздух пел и смеялся, а горы еще и теперь оставались прежними курчавыми, красивыми горами и море прежним, только совершенно пустынным морем.

К весне появились обычные здесь весной стаи камсы, и начали выезжать на баркасах в море стрелять дельфинов. Толпам сходились тогда к пристани голодные и жалостно просили у дельфинников потрохов. Потрошили дельфинов тут же, и в толпу бросали кровавые внутренности. В общей свалке разрывали их в клочья и едали сырым. Бывали случаи, что в подобной свалке сталкивали иных с пристани в море.

Вылезли на улицу обычно крепко сидевшие по домам татарки, и меняли свои чадры и медную посуду на хлеб. Они были страшны: черные, костлявые, говорящие только на своем кудахтающем языке, блистающие тускло большими от хуобы, ошеломленными глазами.

И вообще люди перестали уж походить на обычных людей: лица желтые, скулы обтянутые, взгляд исподлобья, отчужденный, когда каждый человек кругом — враг; ходили медленной пьяной походкой, движеньями рук заметно помогая шатким ногам.

Часто попадалась опаленная и даже прожженная до больших дыр одежда: это холод, от которого голодное тело была крупная дрожь, гнал людей как можно ближе к огню железных печек, и долго не чувствовали, как начинали тлеть их лохмотья.

Умирали взрослые, но иногда не успевали умереть вслед за ними дети и оставались. Их собирали в «очаги», где их нечем было кормить; зато надевали на них одинаковые белые колпаки, сшитые из скатертей и салфеток с вышитыми на них красными полумесяцами и звездами у татар и одними только пятиконечными звездами у русских.

Голодные, сначала требовательно плакавшие, потом понявшие, что их некому кормить, они всюду расплозились, чтобы самим добыть что-нибудь поесть. Они толпами сновали по безлюдному почти базару, карауля покупателей. Вид хлеба приводил их в неистовство. Уставшие выпрашивать, они кидались на тех, кто, счастливцев, покупал хлеб в лавочке, вырывали из рук и мчались толпою прочь. За воришками бежал ограбленный, крича, и, если нельзя было убежать, тот, в чьих руках была краюха, падал на нее ничком, и ел-ел-ел, совершенно не чувствительный к побоям.

Они были везде, эти голодные воробы, и воровали все: пирожки с лотков и чайных столиков (весь базар почему-то состоял из одних только чайных столиков), камсу с баркасов у пристани, хотя рыбаки говорили, что они — не море, и гоняли их палками; муку из мешков, случайно провозившуюся на подводах.

Если нельзя было украсть, копались в помойных ямах, и там выискивали разные вонючие отбросы; отрясали и ели горький миндаль, уцелевший кое-где на деревьях в заброшенных садах. Находили копыта палых лошадей, недоеденные собаками, грызли и их.

Тревожно ищущими, серьезнейшими, совершенно взрослыми, даже старыми, даже древними глазами стали вдруг все детские глаза. Никакой шаловливости, никакой наивности, никакого непонимания, никакой радости, никакого лукавства... И ничто уж не пугало теперь их, этих детей, и нигде и ни в чем уж не было для них никакой тайны.

Иные, постарше, сговаривались по-двое, по-трое итти в деревни, где, слышали они, не может не быть хлеба. И они уходили и шли длинными белыми крымскими шоссе, всюду натыкаясь на трупы взрослых, полузанесенных снегом, пока не добирались до деревень, откуда их гнали, и под которыми незаметно для самих себя умирали они от крайней усталости в бредовом сне.

Так лет двенадцать назад, в холодную снежную зиму погибла вся зимовавшая здесь птица, и когда стаял снег, везде по дорогам валялись птичьи трупы, лежавшие ничком, носами в землю.

## 2.

Максим Николаич, бывший столичный адвокат, ныне секретарь суда в этом игрушечном городке у моря, куда попал он совершенно случайно, спасаясь из голодной Москвы, думая отсидеться в глуши, пока жизнь не наладится снова, и он снова не будет столичным адвокатом, — где он женился и потом застрял на маленькой дачке жены. Максим Николаич прожил кое-как с семьей и осень 21-го года и даже зиму.

Правда, это была трудная зима. Бывали дни, когда секретарь суда не знал, что он будет есть: паек задерживали месяцами, жалованья не платили.

Все же Максим Николаич исправно, без пропусков ходил в суд, писал повестки на оборотной стороне разных старых использованных раньше лоскутков, даже бутылочных ярлыков, заготовленных когда-то большими здесь винными подвалами и теперь переданных для надобностей суда; собирал в папки, — форменные синие, оставшиеся от мирового судьи, — показания свидетелей, подготовлял дела к разбору, вел протоколы на заседаниях, записывал решения, — все это добросовестно, серьезно, крупным, каждую букву в особицу, почерком, — хотя ясно для него было, что, несмотря на множество дел о грабежах и кражах, на безупречных свидетелей и очевидных преступников, — виновных все-таки не было и никто никого не имел права судить.

В свободное от суда время он работал около дома, рубил для печки дрова, и, как все кругом, продавал и менял на хлеб вещи, какие еще оставались у него от прошлого.

Так продержался он до весны.

Правда, в сорок с небольшим лет он уже поседел слегка в висках и несколько лохматых усах, и стал весь какой-то сквозной, совсем невесомый... Еще и разлетайка старенькая уцелела у него от лучших дней, и когда шел он по улице, длинный, в заштопанной уже, но широкополой серой фетровой шляпе, — казалось: вот-вот сейчас взмахнет крыльями разлетайки, подыметесь и полетит, что совершенно даже ничего и не стоит это ему — сразу отделиться от земли и полететь, бросив наземь самое тяжелое, что при нем было: портфель с судейскими бумагами.

Уже и весенние жаркие дни настали, зацвели поздние груши и яблони, а лицо у него ничуть не загорало и можно было сосчитать на нем все синие жилки, и излучалось от него то, что всегда излучается от подобных лиц: благообразие, кротость и даже какая-то нездешность.

Когда-то блиставший красноречием, он говорил теперь в суде мало, коротко и совсем неохотно; но у себя дома он распускался, шутил иногда со своей женой, и иногда рассказывал что-нибудь веселое, трогательное или просто занимательное двенадцатилетней девочке Мушке, а Мушка слушала его не только широкими серыми глазами, но больше всего открытым полнозубым свежим ртом.

Два передних верхних резца, рубчатых, крупных и круглых, несколько набегали друг на друга, и это особенно нравилось в Мушке Максиму Николаичу; и когда Мушка зачарованно открывала рот, он больше всего глядел чуть прищуренными карими глазами не в ее верящие серые глаза, и не на ее тонкокожие, с легким румянцем северные щеки, и не на белые, мягкие, прямые, тонкие, паутинно-тонкие волосы, и не на вздернутый кончик подвижного небольшого носа, даже не на синеющую овальную ямочку на подбородке, а именно на эти два крепких, крупных, круглых, крутых резца, несколько набегающих крышечкой снизу друг на друга.

Мушка была дочь его жены от первого мужа, — горного инженера, случайно убитого махновцами, нападшими на поезд, когда он ехал к семье из Харькова в Крым. Он был убит, — жена и девочка остались, и Максим Николаич, всю жизнь одинокий, прилепился к этому осколку семьи уже здесь, в Крыму.

И вновь получилась дружная семья, попрежнему небольшая. «Вы, Максим Николаич» — был он для Мушки, «вы, Максим Николаич» — звала его и жена, как он звал ее — «Ольга Михайловна, вы»... и постороннему с первого взгляда казалось, что в этой семье и близости не было, — однако же была и близость, и взаимное уважение и даже любовь.

Точно спаслись от кораблекрушения трое: двое больших и маленькая, — и поселились на пустом острове, и все трое стали совершенно необходимы друг другу, и не из-за чего было бы ссориться, так как все зародыши ссор погибли в момент катастрофы, и не было труда привыкать друг к другу, потому что и не к кому было бы привыкнуть еще, если остров был необитаем.

Ольга Михайловна была высокая сильная женщина лет тридцати двух, в детские годы такая же белокурая, как и Мушка, теперь темноволосая, но с серыми круглыми, как у Мушки, глазами. И когда Максим Николаич в первый раз назвал маленькую Марусю, Муру, — Мушкой, та тут же прикинула себя к матери и сказала:

— Значит, мама — большая муха.

Это было три года назад.

## 3

Ольга Михайловна кончила курсы и консерваторию в Москве, написала работу о Чаадаеве и до Октябрьской революции была учительницей словесности и музыки в одной из Харьковских гимназий, а маленькая Мушка, тогда еще восьмилетка, бодро ходила с ранцем из тюленьей кожи в гимназию и после обеда — в музыкальную школу, — ретиво выдавливала гаммы на рояле, а в праздники читала Робинзона и Донкихота... И была яркая радость брать хотя бы и неуверенно свою отчетливую гамму там, где из-под пальцев взрослых лились целые потоки звуков и то ошеломляли, то приводили в восторг, то вызывали слезы... Когда играла Ольга Михайловна сама для себя, что приходило на память, иногда отрывки сонат, — и, уставая, подымалась и закрывала крышку рояля, к ее ногам бросалась маленькая Мушка, вся потрясенная, и умоляла: — Мама!.. Милая мама, — еще!..

А отец ее, инженер, любил читать Пушкина вслух, и этот курчавый широколобый поэт, с толстой бритой верхней губой и бакенбардами, был совершенно живой для нее, для маленькой Мушки, и сколько стихов его знала она наизусть!

Это было тогда, раньше, когда бывали елки на Рождество, радостные Пасхи, гости, игрушки, конфеты, ездили на Кавказ, — а там на лошадях по изумительной Военно-Грузинской дороге; одно лето, уже во время войны, прожили в тихой Финляндии...

И вот — только маленькая дачка над морем, и ничего нет из того, что было раньше: ни рояля, ни портрета Пушкина на стене, ни большого крепкого папы...

Есть четыре грядки: одна — лук, другая — капуста, третья — бурлак, и потом смешанная: салат, укроп, помидоры... Их надо поливать по вечерам, а днем всячески беречь от двух кур: Пучи и Чáпы... Пуча — Пучеглазка, а Чáпа — это, если сказать Пуча наоборот. Обе черные с желтыми воротничками, но у Пучи гребень кустом, у Чáпы — листом; и такие обе проворные, что залезут куда угодно, если не досмотреть... Ах, эти Пуча и Чáпа: они хитрят целый день, чтобы залезть на грядки, но они несутся, и их нельзя резать: сто тысяч рублей стоит теперь одной яйцо, и когда снесется Чáпа в сарае и идет, важно кудахча, перед ней за себя неловко... И Пуча такая разговорчивая: ко-ко-ко, ко-ко-ко, и на разные лады, — то выше, то ниже, то реже, то чаще... это, конечно же, что-то значит, только нельзя понять, как стихи футуристов после Пушкина...

Иногда прибегают Бобка, — он же Жук, и есть еще у него несколько имен, в каждом доме, куда он прибегают кормиться, свое, — единственная собака, уцелевшая от голодной зимы, черный полу-гончак, с сединою на морде. Даже и основной хозяин его, татарин Эреджеп, говорит о нем с уважением: «Савэтска жизнь, — как иначе

будишь?.. Тут да один паек, там да один паек, еще там да один паек... двадцать один паек — помалу - помалу живой будишь!»...

Бобка тоже умеет говорить что-то... Прибегая, он кладет голову на колени сидящим за столом (он знает, когда кто обедает) и начинает вертеть обрубленным гладким хвостом, тыкаться носом в колени, смотреть нестерпимо умными глазами (желтыми, как янтарь) во все человечесьи глаза и скулить так выразительно, точно силится сказать длинную речь о своем собачьем голоде, об ужасе перед смертью, о своей щемящей жуткой темной тоске... Поневоле отщипнешь от последнего куска и скажешь: — На, Бобочка, ешь!.. — Бобка мгновенно проглотит, подождет еще, поскулит, повертит хвостом, полежит у ног, уткнувши голову в передние лапы, наблюдая сразу за всеми, не кинет ли кто хоть обглоданную кость; поймает трех мух на лету и тихо, вежливо уйдет со двора, а потом со всех ног помчится куда-то дальше, в обход всех своих кормильцев, порадовать их видом умной собаки, единственной оставшейся в живых. Веревки он совершенно не выносил, и даже слово это «веревка» его пугало и заставляло настороженно подымать голову и подозрительно оглядывать всех.

Кроме Чапы, Пучи и Бобки, — и это самое главное, — была Женька, — молодая еще, по первому телку, черная белолобая и с белым передником коровка.

Это Максим Николаич, когда совсем пришлось туго в декабре, вынул последнее, что еще имел, — большие золотые часы с толстой цепочкой — и на них выменял Женьку. Сено тогда от засухи не уродилось, и было очень дорого, коровы дешевы, и можно было бы выменять Женьку за два пуда муки, но где же было взять столько муки?

Итти за Женькой пришлось Ольге Михайловне за пятьдесят верст пешком при сильном ледяном нордосте, почти сбивавшем с ног... Были попутчицы, две женщины, тащившие вино в ведерных боченках для обмена на хлеб. Шли вместе, пока одна не залякла от холода и усталости и не легла отдохнуть на свежий снежок под буком, но больше уже не встала. И другая женщина, перекрестившись и поплакав, взяла ее мешок с боченком (не пропадать же вину) — однако нести двух мешков не могла, — упросила Ольгу Михайловну помочь... Так дошли до того города, где можно было обменять вино на хлеб и золотые часы на корову, и где на улицах приходилось так же переступать через трупы, как и на шоссе.

Итти отсюда домой и гнать корову оказалось еще труднее. На шоссе была перестрелка с бандитами, и пришлось свернуть в сторону верст за семь и ночевать в деревне, где не было ни одной хаты без большого сypняком.

Ночью, при сильной стуже, в метель, Ольга Михайловна приютилась в дырявом трехстенном сарайчике, припавши к боку своей улегшейся Женьки, чтобы было теплее. Устала до последнего, но боялась заснуть, помня ту, которая не проснулась.

А когда утром кое-как выбралась по снегу снова на шоссе, опять по обочинам его наткнулась глазами на трупы, только это уж были не голодные, а убитые в перестрелке бандиты и красноармейцы. Тут же стоял и пост из шести человек.

Домой пришла совершенно босая, так как раскисли от влажного снега и совсем сползли с ног туфли; потом болела несколько дней, но все-таки без этого не завелась бы в доме корова, которая должна была недель через пять отелиться и давать молоко.

Так как это было последнее, за что можно было ухватиться, чтобы не утонуть теперь при новом всеобщем потопе, то на Женьку чуть не молились. Понятен стал древний Египет с его аписами: так сближаются иногда эпохи, разделенные тысячами лет... Пасти Женьку приходилось по балкам, где с дубовых кустов не сорвало еще ветром желтых, оставшихся зимовать листьев, где была еще сухая чахлая трава; и Мушка, храбро кутаясь в дырявое ватное розовое одеяло, подпоясанное веревочкой, пасла ее днем, а на ночь успевала набирать для нее мешок той же травы и листьев. Зимой балки были таинственны, и за каждым изгибом их чудился притаившийся грабитель.

Стояла Женька в комнате, соседней со спальней: это—чтобы услышать через тонкую стенку, когда за нею придут грабители.. У Максима Николаича было охотничье ружье, но на него не возлагалось больших надежд, и Ольга Михайловна, для бегства в случае налета, проделала ход из кладовой на чердак и несколько раз вдвоем с Мушкой повторяла эту сложную историю: ставила на стол табурет, с табурета открывала в потолке дверцу, пробиралась потом по темному чердаку и вылезала через слуховое окно наружу...

Голод и страх, — из этого состояла зима, — страх за себя, страх за корову — вдруг ляжет, не выдержит, — очень худа, — или начнет телиться и не растелится, — страх и голод, какие владели людьми только в доисторические времена.

Когда должна была телиться Женька, несколько ночей дежурили, — все боялись, что не растелится.

Но Женька растелилась, улучив для этого время, когда устали дежурить.

Однажды утром первая вошла к ней Мушка, и увидела в полутемной комнате что-то очень много черных ног, толстых и тоненьких, — тут же догадалась, что это значит — теленок, — и, может быть, не один, а больше, — и, выбежав, пронзительно закричала:

— Мама, иди скорее!... Иди же!... Да иди же!...

Все трое столпились около Женьки, и Женька тихо мычала, а теленок (он был один) повернул ко всем толстенную белую мордочку, и всем показалось, что это — бычок.

И два дня потом, в общей сумятице и радости и возне с Женькой, был он бычком, пока не оказался телочкой. И хотя молока Женька начала давать мало (очень опухло вымя), и хорошо было бы зарезать



и с'есть теленка, но как же было резать такую милую, доверчиво всех толкавшую белой мордочкой, маленькую, курчаво-черную телку?

За то, что толкалась, назвали ее Толкушкой.

— Только бы февраль, а уж в марте трава пойдет, — да, мама?... Толкушка будет пастись...

Мушка чуть не плакала, глядя на всеильного Максима Николаича, и тот сказал, наконец:

— Что ж... будем кормить как-нибудь... Пусть живет...

От радости Мушка завертелась по комнате волчком, перекинулась через голову на диване, кричала «ура», и потом из коровника слышалось ее умиленное:

— Ты ж мое Толку-Толку!.. Ты ж мое золотое, ты ж мое изумительное Толку-Толку!

Потом:

— Ты знаешь, мама—(это шопотом) — от него молочком пахнет и такие у него ушки мягкие, как шелк!...

Странно: два дня пробывшая в бычках, Толкушка так и осталась наполовину бычком, когда о ней говорили: чаще называли ее Толкуй, а Мушка сокращала и в среднем роде:

— Толку ты мое шелкоушенькое!...

Иногда голодной зимой этой Ольгой Михайловной овладевала тоска. Она стояла, расширив неподвижные глаза и шептала:

— Боже мой, боже мой!.. До чего же мы дожили, боже мо-ой!...

Потом вдруг брала французскую книжку и звала:

— Мура!... Мура!... Иди сюда!... Пиши диктант!...

Мушка недоуменно и с ошибками, сердившими мать, выводила то, что диктовала она из Сегюра: — Aussi ne parle-t-il, qua la raison de tous, ou au veritable interet de chascun... и, постукивая ручкой по крепким зубам и надувая нижнюю губку, говорила:

— Ведь мы, все равно, не уедем за границу...

— Уедем! — уверенно отзывалась мать.

Это была мечта Максима Николаича и ее: во чтобы ни стало уехать. Долгие бессонные ночи отдавались только этим мечтам, и золотые часы береглись для этой поездки: — только ужас голодной смерти заставил их обменять на корову; но ехать думали поздней весной или летом, когда ту же корову можно было обменять на золото снова. Наконец, мог, ведь, представиться и такой счастливый случай, что кто-нибудь купил бы — пусть всего только за двести — триста франков — и дачу.

После французского Ольга Михайловна хваталась за немецкий, потому что ехать пришлось бы через Германию... Но в Германию думали попасть через Польшу, почему были у них польские дни, когда говорили: «Пшепрашим», «вшиетки едно», «дзенькую, пане!»...

Максим Николаич был скорее созерцателем, чем практичен, скорее верил, чем знал, и больше недоуменно разводил руками, чем возмущался. И если вначале он растерялся до того, что уехал из Москвы, бросив свою уютно обставленную квартиру на Поварской, то теперь он как-то чисто по-русски начал свыкаться с неразберихой и даже говорил полушутя, полусерьезно: — «Где ничего не поймешь, где неудобно и грязно и тесно, — вообще убого, — и стопудовая ругань, и перед носом кулак в шерсти — это русское!... Но главное, чтобы ничего нельзя было понять!»...

Он даже как-то спокойнее стал, чем прежде. Прежде жизнь напоминала бега и скачки или карточную игру; в ней был и риск и азарт, и всегда куда-то спешили, — смотрели на часы, чтобы не опоздать даже на минуту. Теперь спешить было некуда, обгонять некого, желать нечего (все равно — желай — не желай) и редко кто был так несчастлив, чтобы соблюдать часы: на повестках суд назначался в семь утра, а начинался в десять и позже, — когда придется: кто же теперь ходит с часами?

И, подготавливая к разбору и выслушивая изо дня в день бесконечную судейскую канитель, он привык говорить о русских несчастьях: — Это что-то зоологическое! — хотя книги по зоологии казались ему нестерпимо скучными; зато увлекалась ими Мушка.

Ей некому было указать, какие именно осы, из тех, от которых она отбивалась в летний день, — схолии, какие сфексы, и водится ли здесь зловредная муха-антракс, которая кладет свои яички в пчелиные соты, но это было и не так важно: даже и приблизительно и неверно, по одной только своей догадке названные, они были изумительны, каждая по-своему... даже те козявки, каких она находила на своем огороде.

Землю под огород, твердую шиферную глину, она копала сама, сама же разбивала и грядки, почему вышли они значительно косые, — сажала, полола... Четыре грядки эти были для нее такою радостной заботой...

Как удержаться, чтобы не погладить рукой салат?... Густой-прегустой, яркий-преяркий, сочный-пресочный, — он был ее первым любимцем. Он сразу прядал в еще жмурые глаза Мушки, чуть она вставала утром... А капуста!... Бледно-зеленая, как крашенная жель на умывальнике, она ширилась, что ни день, и по утрам на ее пружинистых, как подносы круглых листьях сверкали капли... — «Мама, ты посмотри, как моя капуста растет!... С таким усердием, что аж потеет!»... Укроп и помидоры тоже были буйные и так пахли, что Мушка никак не могла удержаться, чтобы не зарыть в них лицо: — Ух, ты!... Хорошо!... А отливистые листья бурака с ярко-розовыми жилками!... А лук, пускающий уже таинственные стрелки!...

Каждое утро Мушка резала на борщ свою зелень, важно приносила на кухню и клала на стол: — Вот!... Но еще больше важничала, когда ей самой приходилось готовить или печь хлеба. Правда, она

умудрялась тогда всесторонне выпачкаться в сажу, — и лицо, и руки, и платье, — но всегда могла доказать Максиму Николаичу, что иначе нельзя: пусть попробует сам.

Матери и купить было не на что, и Ольга Михайловна шила ей платья из татарских чадр; платья выходили очень цветистые — все в красных и желтых полосках и узорах, но самого простого покроя — в роде длинных рубашек с короткими рукавами. Хватало их на две, на три недели, — так они были непрочны.

— Что же ты со мной делаешь, Мурка? — ужасалась Ольга Михайловна. — Неужели нельзя осторожнее?

— Да, осторожнее, когда кругом кусты да держи-дерево!.. — плакалась Мушка. — Ну, я не буду ходить за дровами, не буду пасти Женьку, не буду искать Толкушку, — а то он залезет в самую гущину, и ляжет, как так и надо... Вот, тогда все будет целое!..

Покупать ей обувь было не на что, и она ходила босой; впрочем, ходила только в комнатах и на террасе, а на дворе бегала вприпрыжку... И танцевать любила, — и, найдя в кустах ровную лужайку, отовсюду закрытую, она напевала что-то свое собственное и танцевала с веткой в руке так самозабвенно, что долго не могла слышать, как звала ее мать. Впрочем, если и слышала, говорила: — Ну, я еще немножко... потом пойду.

И еще она любила море... С разгону вбегать в огромное, синее, чуть пенное у берега, — ловить пригоршнями хитро-узорчатых студенистых медуз, копаться в разноцветной гальке, ища сердолики; собирать сухих морских коньков, лихо изогнувших шеи, а главное нырять и плавать, надувая щеки, было для нее — блаженство. И зачем бы ее летом ни посылали в город, она приходила гораздо позже, чем ее ждали, и непременно с мокрыми волосами.

— Опять купалась? — спрашивала мать.

А она говорила, отворачиваясь:

— Я совсем немного: только окунулась и вылезла... Даже не плавала.

#### 4

Откуда у нас эта странная способность летать во сне?... Дневная зависть к воробьям и галкам, или память о древнем летуне, ящере-птеродактиле?... Не помним ли мы очень многое из того, чего никогда даже и не случилось с нами лично и ни с кем в ближайших к нам поколениях?... И, научась быть взрослыми, не забываем ли мы того, что так хорошо, так осязательно знали в детстве?

В детстве мы и летаем очень высоко, изумительно свободно, и очень часто. Тогда полеты наши беспорядочны, головокружительны, меньше всего похожи на полеты машин и шаров. Правда, от них замирает дух, и мы прдысаемся; но нам радостно. Мы упорядочиваем их только к двадцати годам. Тогда мы летаем стоя, чуть наклонно, головой и грудью вперед, — но наши полеты уже не выше крестов

колоколен. Тогда мы можем еще считать себя братьями стригам, но хищные птицы уже могут смотреть на нас с презрением.

Годам к тридцати мы поднимаемся уже не выше крыш одноэтажных домов улицы. Нам снится, — мы идем в толпе, и вот вдруг нам хочется показать, что мы умеем летать. Мы даже говорим, улыбаясь: — «В сущности, это очень просто. Раз, два, три, — и...» И мы летим... Но мы летим тогда уже только сидя в воздухе: мы заботимся при этом о каком-то равновесии, нарушить которого не смеем, и тщательно вытягиваем ноги, сложенные почему-то вместе, прямо вперед.

В сорок лет мы поднимаемся уже не выше сажени от пола, — от пола потому, что летаем мы тогда только в каких-то больших залах, похожих на фойе театров... А дальше, по пятому десятку, редкий из нас способен отделять во сне от земли свое тело. Тогда мы уже врастаем в землю целиком, по горло уходим в нее, — нам не до полетов тогда, — мы тяжелеем. И странно, мы тяжелеем, даже если мы голодаем, даже если мы набожны и ведем жизнь аскетов.

Так, несмотря на то, что Максим Николаич был весь почти сквозной, почти невесомый, он уже не летал во сне; Ольга Михайловна подымалась иногда невысоко над полом, и только Мушка ныряла в воздухе, как наяву в море.

Когда говорила она об этом по утрам, Максиму Николаичу почему-то радостно было ее слушать.

Сидит оса - каменщица на черепице крыши и сверлит обожженную глину своим хоботком. Как она это делает, — неизвестно. Она только раскачивается своею грудкой: вверх - вниз, вверх - вниз, — и тонкий нежный хоботок сверлит черепицу, как стальной бурав... Или войдет беленький, слабенький, маленький корешок жолудя дуба в трещину плотной гранитной скалы, и через несколько лет разорвет скалу, как порох. Так же было и с Мушкой: Максим Николаич видел, что маленькая, нежная на вид она уже буравила каменную толщу жизни там, где ни он, ни Ольга Михайловна ничего не могли понять, принять и осилить. И как-то само собою выходило это, что если и шли они двое сейчас куда-нибудь вперед, то это вела их Мушка: она была вся — оживленность, вся — радость, вся сияла, и даже то, что часто светилось тело ее сквозь дырявое платье, только шло ей: труднее (так казалось) было бы ей сиять без этих дыр.

Максим Николаич приходил в суд раньше всех, работал в нем больше всех, однако, совсем почти невесомый, он чувствовал иногда себя неловко перед другими: он был приличнее одет, он был трезв, он не кашлял, и у него дома была Мушка.

К кому другому, когда он придет домой из этой тошной залы народного суда, кинется на шею тонкая белая девочка с сияющими глазами с лукавым вопросом:

— А ну, Макся, а ну, — скажите сразу, что это за слово такое: про-вер-би-ально?... А ну?

Или, остановив его у порога вытянутой тонкой рукой, начнет декламировать торжественно из своего любимца:

— Слушайте!.. Слушайте!.. Слушайте же !..

Есть упоение в бою,  
И бездны мрачной на краю,  
И в разъяренном океане,  
Средь грозных волн и бурной мглы,  
И в аравийском урагане,  
И в дуновении чумы...

— Ну, скажите же, Макся, ну, разве не здорово, а?... Вот Пушкин!...

Или:

— А я в истории Трачевского нашла: — пролетарии — значит детородцы!... Ура!... Детородцы всех стран соединяйтесь!... Ура-а!...

И начнет, как кенгуру, прыгать перед ним, сияя, и хлопать в ладоши, и две туго закрученные коски ее тоже прыгали, хлопая ее по спине.

Они пахли, эти тончайшие белые волосы Мушки, как пахнут волосы здоровых веселых детей, и этот запах волос, и свечки глаз, и ямочки на щеках, и вздернутый небольшой нос, и лукавый яркий оскал крупных круглых резцов, — все это было — Мушка, и только одна она давала смысл всем жалким бумагам, какие приходилось писать ему в этом суде.

Когда в первый раз Максим Николаич увидел Мушку, ей было девять лет. Тогда она была круглощекая. Она не дичилась его, смотрела прямо и пытливо и с улыбкой даже снисходительной к его взрослости. Она почему-то настаивала на том, чтобы он взял у них самую большую дыню (в тот день несколько штук их купили с тележки татарина) — а он отмахивался.

— Берите же, вам говорят!.. Сейчас уж темно, — не бойтесь: никто не увидит, что вы тащите дыню!

— Ну, зачем же мне такую? — улыбался он.

— Как зачем?... Во-от!... Придете домой к себе, — с'едите!...

Серые круглые глаза глядели очень светло, и матери в другую комнату она кричала:

— Мама!... Да мама же!... Я ему даю дыню на дорогу, а он не знает, что с нею делать!... Во-от!...

И именно тогда, когда стояла она с душистой крупной рубчатой желтой дыней в руках, бойкая девочка, освещенная стенною лампой, он в первый раз в жизни захотел быть отцом, а когда он женился на Ольге Михайловне, он уже прошел длинный путь отцовства, многое зная о Мушке. Он представлял ее отчетливо даже ребенком до году, когда училась она ходить, осторожно выставляя косолапые ножки и хватаясь за стулья ручонками, и говорить, называя пока все, что видела своими короткими именами: море у нее было «дека», налить воды — «дека-дека», пароход — «у-тю-тю», гвоздь — «дык», молоток — «дык-дык», а сахар почему-то «гыль-гыль-тя».

Вот она двух лет, уложена в постель, но не спит: просит мать сыграть «Соловья» Алябьева:

— Мам! — Саловейку!

И когда Ольга Михайловна кончала играть, а она еще не засыпала, — она просила:

— Длугую саловейку!..

В три года она просила в таких случаях сыграть уже не «соловейку», а сонату Бетховена, выговаривая это очень твердо и бойко. Сонаты этой хватало, чтобы ее усыпить.

И еще в три года: было заведено так, что говорили ей «будь здорова!», когда она чихала, и она думала, конечно, что это необходимо. Велико было ее изумление, когда, однажды, мать, занятая чем-то, забыла сказать ей это во время, и только, когда Мушка подошла к ее колену, вспомнила.

— Будь здорова!

— О-поз-да-ла! — негодуяще выговорила ей Мушка. — Надо было раньше!

Тогда же, в три года, ее потеряли как-то ночью: куда-то ездили в гости в село, на тройке, в санях, возвращались ночью, и из сонных рук няньки Феклуши выпала сонная Мушка в придорожный снег. Не сразу хватились, — тройка успела отмахать с полверсты, пока очнувшаяся Феклуша вскрикнула в голос:

— Злодейка я!.. Где же ребенок?.. Окаянная я!..

Фонаря не было, а ночь была не из светлых. Две плачущих женщины — Феклуша и Ольга Михайловна, обгоня одна другую, бежали по дороге обратно, впиваясь глазами в снег, а за ними едва поспевал в тяжелой шубе отец Мушки, Николай Александрович, инженер. Иногда останавливалась Ольга Михайловна, шепча: — Стойте!.. Стойте же!.. Слушайте!.. Плачет?.. Нет?.. Нет!.. Значит, разбилась!.. Замерзла!.. — Злодейка я!.. — подхватывала Феклуша, и обе срывались вперед, шаря по снегу глазами.

Но просмотрели Мушку обе: нашел ее Николай Александрович, уставший бежать и шедший шагом. Она глубоко провалилась в рыхлый снег и чуть темнела, как чей-то след. Тепло закутанная, упавшая лицом кверху, она как спала на руках Феклуши, так продолжала спать и в снегу, как в люльке. Не проснулась и на руках у Ольги Михайловны, которая сама держала ее, не доверяя уже Феклуше, вплоть до своей городской квартиры.

И так много из года в год... А когда все взорвалось в русской жизни, и все накопившиеся веками обиды хлынули и завопили, и на каждой улице каждого города, и в каждом селе открылся «фронт», Мушке с мамой пришлось жить тогда в Екатеринославе, у родных, и город осаждали григорьевцы, с одной стороны, и махновцы — с другой, а в самом городе одною частью владели немцы, другую — белые, третьей — красные... Ольга Михайловна была тогда больна, лежала на дворе в полузабытьи и смотрела на пролетавшие

над головой гранаты так же безучастно, как на ворон. И Мушка, вертевшаяся около, слышав близкий свист снаряда, находила его глазами и указывала пальцами: «Мама, а вон еще!»... — Однажды ударило совсем близко — в сарай соседа, где убило пару лошадей. Тогда Ольгу Михайловну перенесли в подвал, где уже давно прятались все жильцы дома. И как ни плакала она, что задохнется, ее все-таки держали здесь, пока она не оправилась настолько, чтобы ходить с помощью Мушки. Тогда они бежали из города — поплыли в лодке по Днепру вниз верст за десять... Их обстреливал кто-то из орудия, и несколько гранат упало недалеко от лодки, подымая белые столбы воды. Смерть гналась за ними двумя, но они ушли, скрылись за поворотом реки, высадились в каком-то селе Вороном, а оттуда на телеге доехали до первой станции и счастливо попали на поезд.

Смерть отстала, но только на время. Она была все время где-то очень близко. Все кругом было только — притаившаяся смерть... Двое суток ехали в поезде, никак не могли добраться до Мелитополя. На третий день заболела Мушка. Сидеть в вагоне было нельзя, — стояли, плотно прижавшись друг к другу... Максим Николаич так и не мог уяснить со слов Ольги Михайловны, чем заболела Мушка: была ли это закупорка вены на ноге, или глубокий нарыв (тогда была эпидемия подобных нарывов), но Мушка почти теряла сознание от боли. На глухом полустанке вынесла ее Ольга Михайловна, сама еще слабая, с мутной от усталости головой. Он представлял ясно, как она, уложив на скамейку Мушку, металась по запуганному полустанку, спрашивая у всех, кого встречала:

— Где здесь больница?.. Есть где-нибудь близко больница?.. Пожалуйста, скажите, — больница?

Узнала, наконец, что есть верстах в двадцати, в молоканском селе, Звереве, земская, — но лошадей, чтобы туда доехать, ни у кого на полустанке нет. Три версты несла Мушку на руках до ближайшей деревни. Там боялись ехать на ночь, — еле умолила одного старика. Но врач земской больницы, человек семейный и усталый, хотя и жил еще в своем доме, но сказал:

— Какие же, сударыня, теперь земские больницы, когда нет земств?.. Теперь больница не действует... Я и сам бы уехал, да куда? Куда?.. Скажите мне, куда?.. И на какие средства?.. Я забыл уж, когда последнее жалованье получал!..

Ольга Михайловна умоляла сделать операцию, только операцию, но доктор сказал:

— Сами не знаете, о чем просите!.. Поезжайте на завод «Унион», — всего сорок верст... Там есть больница, — и, кажется, действует... Только не мешкайте... Девочка серьезна...

— Серьезна?.. Что вы, доктор!

— И очень... Поверьте.

И опять началась тряска на безрессорной подводе, и Мушка почти беспрерывно кричала от боли, и ухабы проселка то кидали ее

на руки матери, то выбивали из рук... С обеда пошел дождь, за полчаса промочивши обеих до нитки. Украинец, их везший, начал усиленно ворчать:

— Ні, це вже не діло!.. — Довез их до ближайшего хутора и сказал: — От, — шукайте собі подводу, мадам, — бо я тут у кума ночувать останусь... — Так было плохо Мушке, так утомила ее дорога, что Ольга Михайловна подумала было дать ей отдых, остаться на хуторе часа на два, но испугала ее какая-то сердобольная баба, спросившая ее участливо, кивнув на посиневшую Мушку: — Чи вже, — чи ще трохи дышити? — И, не ответив ей, тут же заметалась Ольга Михайловна искать лошадь на завод «Унион». Оставалось всего пятнадцать верст. Приехали к вечеру. Осмотрев Мушку, сказала молодая женщина - врач:—Опоздайте вы всего на два часа, было бы заражение крови...—и тут же положила Мушку на операционный стол. Завод уже не работал; больница тоже доживала последние дни. Ольга Михайловна сама была сиделкой при Мушке, проживши здесь около двух недель.

Но смерть все-таки таилась повсюду, и, приехав, наконец, лошадьми в Мелитополь, Ольга Михайловна узнала здесь от знакомых, что муж ее, Николай Александрович, пробившись из Харькова на юг, ехал по их следам, но поезд его, недалеко от Мелитополя обстреляли махновцы, и он был убит шальной пулей и похоронен с неделю назад вместе с несколькими другими, убитыми на том же поезде, в братской могиле на здешнем кладбище.

Совершенно измученная, осенью 1919 года приехала, наконец, Ольга Михайловна в Крым на свою дачку, маленький домик в три комнаты, с верандой, который построил какой-то чужак далеко от города, высоко над морем, совсем на отшибе, среди густого дубового кустарника, — а у этого чужака покойный Николай Александрович случайно купил ее за бесценок.

## 5

Стояли очень жаркие здесь июльские иды, и вместе с привычными уже тремя тифами — сыпным, брюшным и возвратным—медленно начала утверждаться холера. О ней и раньше говорили, что она ходит в соседней губернии (ходит что-то невидимое) и идет в Крым. Превратили в холерный барак одну из пустующих дач на берегу, достали несколько десятков прививок, вывесили плакаты: «Не пейте сырой воды!»... Американцы открыли столовую для детей. И ждали. И невидимая пришла.

Когда слишком много шишек валится на голову Макара,—Макар тупеет: появляется равнодушие, спокойствие, осовелость; он ложится ничком и даже не втягивает голову в плечи: все равно, — нет спасенья.

Каждый почти день ходивший попрежнему в свой суд Максим Николаич встретил как-то бывшего профессора столичного универ-



ситета, застрявшего здесь так же, как и он, с седеющей гривой волос, бородатого, истощенного, в рыжей дырявой шляпе, в парусиновом грязном стареньком латаном костюме, равнодушно ступающего по горячему булыжнику мостовой костлявыми желтыми, босыми ногами, и спросил его:

— Привили уж себе?

— Что привил?

— Холеру.

— Я?.. Зачем это?.. Разве не все равно, от чего умереть?

Профессор удивился так искренно, и пятидесятилетние глаза его стали такие детские, потусторонне-глядящие, что Максиму Николаичу почему-то сделалось стыдно за свой вопрос — суетный и житейский, и весь день потом был он рассеян.

Между домиком Ольги Михайловны и городком раскинулся маленький пригород — несколько домишек, стоящих вразброд. Жили там остатки бывших семей, тающие постепенно. Шла мимо как-то Ольга Михайловна (несла продать ноты, совершенно не зная, кто бы их мог здесь купить) и встретила с Дарьей, прачкой, вдовою кровельщика Кузьмы, умершего весною от голода. Даже чуть улыбалась Дарья, когда говорила ей:

— И-и, золотая, — хо-ле-ра!.. Испуг что ли тут какой? Подумаешь, радость какая в теперешней жизни!.. У меня вон девчонка, Клунык (всех-то их у меня шесть!), что ни день, говорит:—Ах, хоть бы помереть поскорей!.. Чем ни чем заболеть, только бы помереть!.. — Хи-хи!.. Мода какая теперь пошла!.. Конечно, дите!.. Слышит, — кругом так-то говорят, — ей и в мысль, что так и надо... А живущие такие, — все одно кошки!.. Утром встанешь, — всех обойдешь, послушаешь, — дышит или уж кончился?.. У меня бы их, кабы раньше не помирили, пятнадцать душ всех-то быть должно!.. Золотая!.. Куды бы их теперь такую ораву?.. С этими беды-горя!.. Прежнее время, конечно, — хорошо жили: муж — кровельщиком, ни одного дня без работы не гулял: — постройки везде были... И на водку ему хватало, и детишки сыты-одеты... Так мы, с хороших харчей, дите за дитем и гнали... Каждый год, бывало, то рожаешь, то носишь... Один в пушку, другой — в брюшку... Хи-хи... А зимой этой старик мой говорит:—Ну, ребята, что теперь будем делать?—А Клунык как так и надо:—А теперь, говорит, помирать будем...—И горюшка ей мало!.. И хоть бы тебе какая работа всю зиму!.. А как старику помирать, — уж на лавке лежал, — тут тебе и пришли от Аджи-Бекира, кофейщика, — два листа на крыше переменить, да жолоба... Поднялся это он, — слава, мол, господи, — взял это ножницы, гайку, пробой в карман (уж лома тащить не мог). — за-шму-ры-гал!.. Ан, пяти дворов не прошел, сел... Шумят нам:—Берите своо старика: кончился!..— Подошли мы, а Клунык:—Теперь, говорит, наш черед...—И прямо мне дивно было на нее глядеть: дите, а никакой в ней живности нет... И к отцу жалости нет, как так и надо!.. Конечно, — все — еда делает... Оно и другие тоже: — прежде,

бывало, крику - шуму от них,—хоть со двора тикай: ведь, шестеро!.. А теперь, золотая, до того тихие, до того тихие,—только глазами смотрят... Американский корм, он какой?.. Много с него накричишь!..

И так долго... И баба еще нестарая,—лет сорока, и непонятно было Ольге Михайловне,—в шутку это она, или серьезно,—приземистая, похожая на киргизку, с ноздреватым, луковкой, носом.

А через дом от Дарьи, в немудреной лачуге в два окна, ютился остаток другой семьи — двое ребят, Колька и Павлушка. Колька — старший, лет шестнадцати, но полоумный,—голова толкачом,—и почти слепой, а Павлушка года на два моложе,—лупоглазый, длинноухий и тощий, как весенний заяц. Павлушка кормил Кольку—приносил ему из столовой обед. Но однажды не утерпел и с'ел половину сам. Потом стал делать это ежедневно. Колька ослабел и слег...

Иногда Мушка не одна пасла Женьку и Толку по балкам, поросшим дубняком, карагачем и дикими грушами; иногда к ней прибывались маленькие пастухи и пастушки, то с козой, то с парой барашков, то с телкой, почти чудом уцелевшими от голода, и однажды узнала от них Мушка, как умер Колька.

— Мама, ты знаешь,—говорила она потсм дома,—Павлушка запер Кольку на замок и ставни закрыл и два дня домой не приходил, а его обед с'едал весь... А на третий день подошел к окну, посмотрел сквозь ставень,—Колька на полу лежит, ногтями пол скребет, а глаза закрыты... И стонет... Он испугался, да бежать... И еще день не приходил... Только на пятый день утром пришел, дверь отпер: Колька,—говорит,—ты жив?—А он, конечно, уж мертвый... Он сейчас же в Горхоз:—Велите подводу прислать, мертвого забрать... Брат у меня был,—мой век заедал,—теперь, слава богу, помер!.. Вот какой, мама, а?!

И Мушка смотрела на мать испуганными глазами.

— Когда мы уедем за границу...—начала было Ольга Михайловна, но Мушка перебила досадливо:

— Никогда не уедем!.. И я терпеть не могу, когда о чем-то мечтают без толку!.. И ты, и Максим Николаич такой же... А еще называются взрослые!..

— Что это за тон? У кого это ты учишься?.. Да если мы не уедем, мы тут погибнем!

— Конечно, погибнем,—спокойно сказала Мушка.

— Вот потому-то мы и должны уехать!

— Ехать нам не на что,—ты это сама говорила... Лучше пойдем пешком... Будем итти и петь хором:

Во Францию три гренадера  
Из русского плена брели..

И лицо Мушки стало дѣ того вызывающе, что испугало Ольгу Михайловну.

## 6

Утро 25 июля было душное так же, как и несколько предыдущих утр; море так же пустынно; у гор, направо от дачки Ольги Михайловны, был такой же неживой, засушенный вид, какой принимали они всегда в июле; совершенно неподвижно сидящие кусты дубняка по скатам были точно вырезаны из окрашенного картона, и точь в точь такие же, как накануне;—и точно так же розовы и сини были шиферные откосы балок... так решил бы невнимательно скользнувший по всему кругом скучающий взгляд. Но неисчислимо много нового вошло кругом в это утро для глаза, умеющего смотреть и видеть.

В это утро Мушка в первый раз отчетливо увидела, какая страшная вещь небо — обыкновенное небо, июльское, чистое, без единого облачка. Она выгнала Женьку пастись, а сама присела на откосе балки, и, задрав голову и открыв рот, уперлась в небо глазами. Смотрела с минуту, и то, что увидела, ее испугало. Небо роилось... Небо было все как бы живое,—бесспорно живое,—и роилось: от неба, как пух с одуванчика, отлетало новое, верхнее небо и кружилось темными точками, а от этого второго—новое,—и еще, и еще... и трудно было следить глазами за тем, что вчера еще было только воздухом, голубым, потому что преломлялись в нем как-то солнечные лучи... И когда потом, удивленная, глянула на море Мушка, она и здесь увидела то, чего никогда не видела раньше: она ясно заметила неровную, щербатую линию горизонта, потому что там изгибались, всплескивали и падали такие же самые волны, как и здесь, вблизи:—совсем не было перспективы.

А горы струились... Было явственное шевеление и голых синерозовых камней на верхушках, и кустов кизилия, карагача и дуба... Было дрожание, дыхание, передвижка пятен... Просто как будто во множестве сбегали вниз взболтанно-пыльно-зеленые струйки... Так было только в это утро,—никогда не было раньше.

Это поразило Мушку. Это почти встревожило ее. От этого, нового, стало даже как-то неловко. И когда, бросив Женьку с Толкушкой, вошла она на веранду, где Ольга Михайловна подметала пол, она остановилась прямо против нее и смотрела, чтобы убедиться, что это, лучше, чем чье-либо другое в жизни знакомое ей лицо, теперь будет не такое, как всегда,—другое... И с замиранием сердца увидела, что действительно другое: оно точно светилось изнутри,—такое стало отчетливое...

Она села, скрестив ноги,—локоть левой руки в колено и подбородок в ладонь; и смотрела на это лицо в упор. Мушка была очень похожа на мать и знала это, и теперь ей как-то неоспоримо показалось, что это она сама, нагнувшись и подвывая голову по-бабьи синим линючим платком, водит по неровному бетонному полу обшарпанным веником, и эта рука, держащая веник, загрубелая уже в работе и с неотмывно-грязными пальцами,—ее собственная рука...

Мать сказала дочери:

— Что ж ты сидишь без дела?

Мушка ответила тихо, точно говоря сама с собой:

— А что же мне делать?.. Мне нечего делать.

— Как нечего?.. Поди - ка решай задачу дальше...

— Не хочу,—сама себе ответила Мушка.

— Как это «не хочу»?..—подняла от полу голову мать.

— Не хочу и все... Была охота!.. Тебе какая польза от того, что ты училась?..

— А вот я возьму лозину, да лозиной!

Почему-то именно так стала говорить в последнее время Ольга Михайловна, и Мушка раньше удивлялась, откуда она это взяла, но теперь она будто говорила сама с собою и не заметила этого. Она спросила:

— Вот умер Колька... и всё?

— Что «всё»?

— И больше ничего?.. И ему ничего уж больше... Как же это?..

— Что же ему еще?.. Что ты? Бредишь?

— Все-таки что-нибудь нужно бы... И с Павлушки никто не спросит?.. Ведь, он его все равно что убил!

— Я тебе сказала: иди, решай задачу!

— Не хочу... Я после... И никому до этого нет дела!.. Вот страшно!

— Он был слепой... и глупый...

— Значит, таких можно убивать?.. Я, положим, читала в истории,—был такой народ... больных детей бросали со скалы вниз... и разбивали об камни...

— Тут с Павлушки спросить,—с мальчишки несчастного, а папу убили в поезде,—с кого спросить?..

Ольга Михайловна домела пол и выпрямилась и обернулась лицом к Мушке. Лицо это светилось изнутри, и Мушка почувствовала, что ее собственное лицо теперь светится именно так же.

— Вот и папу тоже... Убили папу, и никто за это не ответит... И никому, никому это не нужно... И мы скоро забудем...

— Не теряй зря времени и не болтай, чего не понимаешь... Садись заниматься!..

— Вот,—не понимаю!.. Я не понимаю, а ты понимаешь? Я тоже хочу понять!.. А ты объясни!.. То говорили: «Грех, грех»,—а то кругом убивают, и никакого греха...

— Потому что не с кого спросить... И некому спросить, понимаешь?.. Некому!.. А современем спросят...

— И за папу?.. Разве кто-нибудь будет узнавать, кто его убил?.. И, может быть, кто его убил, этого даже не видел... Папу, ведь, ночью убили... Конечно, не видел!.. Просто, стрелял в поезд, а совсем даже не в папу...

— И все-таки он ответит!.. Когда-нибудь ответит...

— Мама, а ты знаешь... Ты помнишь, как мы с тобой ехали с завода, и ты боялась, как бы сыпную вошь не схватить?.. Помнишь, я с тебя снимала, а ты с меня?.. От сыпной вши сколько народу погибло? Миллион?.. Значит, сыпная вошь за это ответит? Ура!.. Вошь ответит!.. Кому же этот вшиный ответ нужен?..

— Ты на какой задаче остановилась? — взяла Ольга Михайловна задачник с книжной полки.

— Я не хочу, — скучно отозвалась Мушка. — Подумаешь, — пятью пять—двадцать пять... Очень просто... А на самом деле так никогда не бывает...

— Как это не бывает?... Ты что это сегодня мелешь?

— Так и не бывает!... Никогда и нигде!... И никто ничего не знает!... А тоже все суются... Пятью пять!...

— Не будешь пятью пять знать, тебя любая торговка на базаре обсчитает... Ну-ка, доставай бумагу... И карандаш твой где?.. Вот этот огрызок?.. А куда же делся новый?

— Потеряла...

— Смотри!.. Я возьму лозину!.. Сейчас же найди!..

Карандаш долго не находился, но и потом, когда Ольга Михайловна нашла, наконец, его в корешке истории Трачевского, Мушка только стучала им по своим крепким резцам и гневно глядела на задачник. В задачнике требовалось узнать, сколько купец заплатил за столько-то сот аршин черного, синего и зеленого сукна по таким-то ценам за аршин, а Мушка говорила презрительно:

— Тоже еще!.. Пишут о том, чего нигде не бывает!.. Сук-но-о!.. А если это — французский купец, так бы и писал: французский...

Потом пришла за бутылкой молока аккуратно через день подымавшаяся с берега старушка, Марья Семеновна, вдова дивизионного врача. Старушка была древняя уж; нос целовался с подбородком, но назойливо речистая, и говорила все об одном.

У нее был небольшой домик на берегу, — она и сейчас в нем жила, — но он был продан ею маркитанту белых, какому-то болгарину Петрову за много миллионов незадолго до конца Врангеля. У нотариуса совершив купчую, покупатель там же, в конторе, отсчитал и передал ей миллионы и даже чемодан, в котором их привез; но потом уехал на «Кагуле» с армией белых, и вот уже два года почти не было о нем слуха.

Деньги даны были им разные, какие тогда ходили: и «правительства юга России», и керенские тысячерублевки, и донские, и даже царские пятисотки, — но всего только четыре штуки... И теперь старушка полна была страхов и опасений.

Деньги, лежавшие все в том же чемодане у нее в укрытом месте, — уже давно, — через неделю после очищения Крыма Врангелем, перестали что-нибудь стоить; однако ей все казалось, что их украдут. Опасаясь воров, она опасалась и переселяться из своего бывшего дома куда-нибудь в город: разберут соседи по дощечке, и не

будет дома совсем. Конечно, дом не ее теперь, а болгарина Петрова, который его купил. Однако, болгарина этого нет и в помине, — может быть, умер уже, — и тогда дом остается за нею. Конечно, она продала его только потому, что боялась большевиков: все равно, — придут и отнимут. Однако, она, ведь, не знала, что таких маленьких домов не отнимают, иначе не продала бы. Наконец, болгарин Петров, если он жив и вздумает приехать, чтобы ее выселить из дома, должен понять, что если бы она не жила в доме, то от него не осталось бы и следа...

Но главная забота были деньги в большом чемодане из клеенки. И всякого из благонадежных, кого она встречала, спрашивала она сьюсюкающим шепотком: — В какой цене теперь керенки и донские?.. Я отлично знаю, что их скупают, только мне надо знать, почему?..

И в этот день, как всегда, придя на террасу, она уселась на стул и долго обмахивалась платком, отдышивалась, откашливалась, наконец, спросила, оглянувшись:

— А не знаете, милая Ольга Михайловна, — почему теперь идут пятисотки?

— Да они разве еще идут? — возясь с воронкой и молоком, спросила та рассеянно.

— Ну, вот, — здравствуйте!.. Уж и пятисотки чтоб не шли!.. Как же они могут не идти?.. А я-то вас считала... сведущей!

И обиделась явно, и Мушке, которая сидела тут же на перилах и болтала босыми ногами, сказала, покачивая голову:

— Вот растет... дитя природы!..

— Хорошо это или плохо по-вашему? — спросила Мушка.

— Маруся!.. не болтай ногами! — прикрикнула мать.

— Мама!.. Да, ведь, все эти старые деньги давно уж все в печках сожгли!.. И ты же сама говорила, что тебе это надоело!.. И вы бы взяли да сожгли!

Старушка долго жевала запавшими губами и смотрела на нее зло и обиженно, наконец, продвинула между носом и подбородком:

— Это труд человеческий — деньги!.. Труд человеческий жечь?

— Велика важность!

— Чтобы труд человеческий пропал зря?

— Он и всегда пропадает зря... Вообще, все зря трудятся и трудились...

— Маруся!..

— Мама, дом, ведь, тоже труд человеческий? А разве он, какой угодно, — не может сгореть?.. Сгорит в лучшем виде, и всё... И наш может сгореть, и ваш тоже... Загорится, какнибудь ночью, — и все...

— Поди за дровами, Мурка!.. Поди, пожалуйста!.. Заниматься не хочет... в разговоры старших лезет... Что это с тобою сегодня?

А старушка сидела совсем испуганная, и голова у нее дрожала.

С веревкой и топором, для которого сама когда-то сделала топорщице, Мушка, пообедав, пошла за дровами в балки; кстати надо было

посмотреть, не ушла ли слишком далеко Женька. Теперь она старалась не приглядываться к морю и горам и не глядеть в небо. Только искоса и бегло взглядывала и тут же отводила глаза. Глядела в землю, ища толстых корней по обрывам: узловатые, крепкие, они горели долго и жарко, как каменный уголь... На одном дубовом пне сидел в тени и слетел, спугнутый ею большой ястреб-тетеревятник. Мушка тут же решила, что это — тот самый, который в прошлом году заклевал у них не меньше десятка кур, и странно было, что каждую клевал по-новому: то раньше всего разбивал клювом голову и съедал мозг; то разрывал грудь и срывал с кобылки все белое мясо; то начинал лакомиться печенью; а одну неторопливо ощипал догола всю лучше любой кухарки, и нигде не ранил, — так и нашли курицу голой, когда его согнали, нигде не раненой, но все-таки мертвой: должно быть, умерла от страха.

— Ах, ты, убийца! — крикнула ему вслед Мушка и бросила камень. — Погубил все наше куриное хозяйство!..

На голос Мушки отозвалась издалека дружелюбным густым мычанием Женька, а Мушка крикнула ей:

— Женя, Женя, Женя, — на, на, на, на, на-а-а!..

Женька посмотрела, подумала, понимающе промычала еще раз и повернула к дому: время было пить воду, доиться и полежать под навесом, отдохнуть. А Мушка замечала о себе самой, что как-то неуверенно, неловко, не так как всегда ходила она по сыпучим шиферным скатам; два раза чуть не сорвалась вниз; и топор ей казался очень тяжелым.

В трех местах она порвала платье; осерчала и бросила топор; собрала дрова, — вышла небольшая вязанка, — и когда поравнялась с нею Женька, за которой еле попевало Толку, погнала их к дому.

Начинала даже немного болеть голова, — конечно, от солнца, — когда она подходила к своей калитке. Дрова и топор она брякнула на дворе устало и сердито, но, увидев на веранде рано пришедшего Максима Николаича, сказала обрадованно:

— Ага!.. Вот у кого я спрошу!..

Максим Николаич, как всегда утомленный долгой ходьбой из города, только поглядел на нее устало, а Ольга Михайловна ахнула, увидя изорванное платье:

— Мурка!.. Да что же это!.. Даже страшно смотреть!.. Сейчас же поди зашей!..

— Была охота, — медленно отозвалась Мушка, сама вся пунцовая.

— Лозины хочешь?.. Сейчас же возьми иголку, зашей!

— А где иголка?

На что ответил Максим Николаич:

— Отдел третий, шкаф седьмой, полка пятая...

Стремительная вообще, Мушка была рассеянна.

Часто посылали ее в комнаты с террасы за тарелкой, чашкой, вилок, ножом, — и неизменно она спрашивала:

— Где это?

— Найди там...

— А где искать?

Поищет и вернется тут же и скажет:

— Нет там ничего!.. Где искать?

В шутку говорил в таких случаях Максим Николаич, представляя большую публичную библиотеку:

— Отдел..., шкаф..., полка...

Говорил это спокойно, совсем не в насмешку, но Мушка почему-то надувала губы.

Услышав это теперь, она посмотрела на Максима Николаича, на мать, потупясь постояла немного на террасе, забывчиво потирая одну оцарапанную голую ногу другою ногой, и пошла в комнату, куда тут же, как всегда быстро и прямо неся высокое тело, вошла мать, говоря на ходу:— Вон у зеркала, в подушечке,— видишь?.. Всегда там иголки и больше нигде!..

Но тут,— было ли это от усталости, или от июльской жары, или от чего другого, Мушка упала вдруг перед ней на колени и сказала глухо и тихо:

— Мама... я не могу так больше... жить!..

Подняла на нее глаза в слезах и добавила еще тише:

— Милая мама... Не могу... Нет...

Этого никогда с ней не случалось раньше... Этого не могла припомнить за нею Ольга Михайловна... Она спросила испуганно:

— Да что с тобою?

— Ничего,— прошелестела Мушка.

Максим Николаич сидел на террасе (он пил молоко), а они две— маленькая муха и большая— так похожие друг на друга, так привыкшие понимать друг друга, были теперь рядом и отдельно... Ольга Михайловна чувствовала только, что у ее девочки теперь такая же тоска, какая заставляла ее самое повторять временами: «До чего мы дожили,—боже мой!»... Как мучительны были приступы этой тоски— она знала. Ей хотелось чем-нибудь утешить Мушку, но чем же было утешить?... Она гладила мягковолосую голову девочки и вдруг вспомнила, как та все порывалась искупать свою корову в море, и сказала вполголоса:

— Хочешь,— поди искупай Женьку!

Она ждала, что Мушка вскочит, кинется ее целовать, бурно завертится волчком по комнате,— но Мушка только посмотрела на нее долго, печально, непонимающе, как взрослая на ребенка, и отозвалась тихо.

— Я пойду... Только это в город надо... Там мельче... за купальнями... а здесь глубоко...

— Ну, что ж... Иди на тот пляж... Кстати, продай яиц десяток и купи мыла... Просто, отдай в лавочку Розе, а она даст мыла... какое раньше брали...



— Только вот Толку... Его надо запереть, а то он... потащится следом...

— Ну, конечно, Толку запрем...

## 7

Женька не понимала, куда и зачем ее ведут. Она упиралась короткими крепкими молодыми смоляно-черными ногами в каждый бугорок дороги, оглядывалась назад и мычала. Но Ольга Михайловна помогала Мушке ее вести, — подгоняла сзади, — и ушла домой только тогда, когда Женька окончательно присмирела и пошла спокойно. Проходя мимо домика в два окошка, где жил Павлушка, уморивший брата, Мушка смотрела на него во все глаза: даже самый этот домишка, похожий на клетку, казался ей страшным. И другие тоже. Появилась робость ко всему кругом — незнакомое ей раньше чувство. Начинало казаться, что вот-вот кто-то выскочит из этих страшных домишек и отнимет у нее и Женьку и яйца, и, главное, не было прежней уверенности, что она сама может убежать куда-нибудь: вялые, негибкие были ноги.

Очень обрадовалась, когда, пройдя уже пригород, около первого городского дома доктора Мочалова увидела свою бывшую подругу по здешней школе, Шуру Титкову.

— Шу-ра!.. Вот как хорошо!.. А то я так боялась... Пойдем купаться!.. Пойдешь?.. Ты откуда идешь?

— Пол у доктора Мочалова мыла...

Шура была на год старше Мушки, с такими же серыми глазами, худенькая, с тихим голосом; одета в юбку из красной камчатной скатерти и блузку из такой же чадры, как у Мушки.

— Пол мыла?

— Да, он в холерном бараке сам, а она так боится... Знаешь, сколько уж умерло? — Семнадцать человек. А ты куда корову?.. Или продали?

— Ку-пать!.. Женька моя купаться хочет!.. Шура, милая, возьми ее за веревку, — она ничего, — и иди, а я сейчас яйца занесу Розе... Вон лавочка Розы...

Мушка думала сунуть Розе яйца, взять кусок мыла и догнать Шуру в два прыжка. Но еврейка Роза так долго разглядывала каждое яйцо на свет, так долго пела (она именно пела, а не говорила), что мыло страшно подорожало, а яйца подешевели, что она уж купила яйца у какого-то татарчонка, и ей, признаться, не так и нужно... Когда Мушка получила, наконец, небольшой кусок мыла и выскочила от Розы на улицу, Шура была уж далеко. Мушка бросилась бегом догонять, вспотела, захотела пить... Было душно. Колотило в виски... Когда догнала Шуру, сказала:

— Ух, пить хочу!

А Шура:

— Вот тут как раз во дворе колодец, — мой дядя Василий копал... Глубокий-глубокий... Вода холодная-холодная!..

Когда вытаскивали воду ведром на цепи и пили прямо из ведра, говорила о своем дяде-колодезнике Шура.

— Мы-то зимою лошадиную кожу с травой варили, кое-как выжили, а дядя Василий с ума сошел... Увезли его отсюда куда-то в больницу, — по-настоящему не знаем, куда... Должно, помер теперь...

— Он что говорил, когда с ума сошел?

— Так... разное... Чепуху все... «Захочу, — говорил, — вот из этих камней булыжных хлебы сделаю, и человечество будет сыто!..» Одеться тоже не во что было, он листья разные к своим дыркам за черешки привяжет, так и ходит... «Человечество, — говорил, — не замечает, во что ему одеться, а я указую на райскую жизнь!..» Все «человечество»... А еще так: «Класс народа — класс божий»...

От холодной воды заломило зубы у Мушки и стало неловко горлу... Но море было уж в пяти шагах.

— А вдруг Женька в море совсем даже и не войдет?—заволновалась Мушка. — Если не войдет, мы ее мыть будем... с мылом... да, Шура?..

Но Женька вошла.

Подойдя к самой воде, чуть набегавшей на песок белой каймой ленивого прибоя, она грузно наставила рога к морю, раздула ноздри, сбывчила голову, страшно выкатила глаза, собралась бодаться... Потом поглядела на Мушку, встряхнулась, понюхала и лизнула соленую гальку, хотела - было напиться, — заболтала головой и зафыркала — не понравилась вода... Ступила передней ногою в пену прибоя и смотрела очень внимательно, как погружалась в рыхлый песок нога.

Мгновенно сбросила с себя Мушка платье, бухнула с разгону в море, забрызгала и Шуру и Женьку, схватила веревку...

— Но, Женька, но!.. Лезь, не бойся!.. Лезь, дура, и будем плавать!.. Подгони ее, Шура!..

Женька еще сделала шаг и еще... Вдруг погрузилась по самую шею, подняла рогатую голову, теперь явно курносую, и поплыла...

— Ура! Плывет!.. Смотри, Шура, — гидроплан!..

Она сама плыла вперед вдоль берега, работая одной рукой и ногами, а другой крепко держа Женькину веревку. Шура с берега, тоже уж раздетая, беззвучно смеялась, упершись руками в колени, страшным, выпученным Женькиным глазам, и от смеха вздрагивали на ее узкой рыбьей спинке две тугие недлинные русые косички, перевязанные синей ленточкой.

Море тут было мелкое: близко впадала речка, протекавшая через городок, и стояли в воде железные рельсы, остаток бывшей здесь раньше пристани для яликов. Но доски пристани не так давно растаскали на дрова, и у торчащих из воды свай был загадочный вид, как у всяких развалин... А море на горизонте еще отчетливее, чем утром,

щербатилось, — однако теперь не до него было: надо было завести Женьку в узкий коридор между свай:

— Женька, моя египетская ночь, — сюда!

Когда же, уставши, наконец, грести одной рукой и тащить веревку, она вывела корову на берег, и Женька, отдуваясь и фыркая, и мотая мордой, и встряхиваясь, как собака, — совсем по-собачьи, колечком свернула вдруг хвост, — оживлению Мушки не было границ.

— Шура, Шура, смотри!

И она бросилась к Шуре, завертела ее по пляжу, танцуя вокруг Женьки танец дикарей, наконец, повалилась от хохота и усталости на песок и здесь, запрокинув голову, хохотала:

— Собачий хвостик!

Белые пятна Женьки от воды потускнели, зато черная шерсть лоснилась, блистала, — и хвост был устойчиво и уморительно завернут сверху кольцом.

Беспокоили все время Женьку, как и всех коров летом, жесткие, как жуки, желтые мухи; они стаями сидели в таких местах, где она никак не могла их достать языком; — теперь их не было на ней, и Мушка ликовала:

— Ага! Потонули, проклятые!..

Больше Женька уж не вошла в воду, зато до дрожи купалась сама Мушка и плавала боком, на спинке, и по-бабьи ничком «гнала волну».

Только Шура напомнила ей, что надо идти домой — поздно, а то бы она, отдохнув и обсохнув, купалась снова.

Пообещавши зайти к ней на-днях, Шура прямо с берега пошла домой, а Мушка повела Женьку одна. Итти было любопытно. Правда, улицы были пустынные, как море, но все, кто попадался, удивлялись, — так представлялось Мушке, — как это могла девочка выкупать в море корову, точно лошадь.

Развеселили два татарчонка с вязанками валежника за плечами. Они смотрели на мокрую корову с диковинно закрученным хвостом, показывали на нее пальцами и кричали:

— Собака!.. Собака!..

Но чем дальше шла Мушка, тем больше спадало с нее оживление. Подъем из города в гору показался небывало крутым, но и на нем она не могла как следует согреться; прежнее ощущение жуткого страха, когда она проходила мимо домишек Павлушки, Дарьи и других, еще усилилось; ноги положительно деревенели, так что даже Женька догоняла ее и тыкалась мордой в плечо, сопя над ухом.

— Однако ты долго! — встретила ее Ольга Михайловна.

— Вот мыло, — на, — сказала устало Мушка.

— А Женька что? Купалась? Вошла в воду?

— Женька?.. Конечно, вошла.

И больше ничего не сказала, и не хотела есть, и спать почему-то легла раньше, чем ложилась всегда.

Спальня у Ольги Михайловны и Мушки была общая. Вся еще полная теми странными словами Мушки: «Мама, я не могу так дольше жить!» — Ольга Михайловна в эту ночь почти не спала. Все думала над ними: откуда они?.. Она об'ясняла: — Ведь, она ребенок еще, а ей так много приходится делать, как взрослой... Целый день... и учиться еще... И все время одна, среди взрослых... Говорят при ней все, а она — ребенок еще... Забыли об этом... Забыли о ребенке, что он — ребенок!..

И однако ясно было, что никак изменить и ничем скрасить Мушкину жизнь нельзя.

В последнее время как-то перестали даже говорить о загранице: не с чем и невозможно было уехать.

## 8

Был день отдыха — воскресенье, и пока можно было не думать о суде и бумагах. Чай был настоящий, хотя и плиточный, даже с сахаринном, — и при небольшом забытии казалось, что это как прежде, обычное: воскресенье, утренний чай, свежая газета.

— Му-ра! — позвала Ольга Михайловна. — Иди чай пить!

Но Мушка ответила из комнаты:

— Не хочу я!

— Почему это?

— Не хочу, и все!

Она лежала одетая на диване, читала «Пир во время чумы», но строчки почему-то двоились, и рябило в глазах, отдельные буквы выпадали из строчек, голова тупо болела и кружилась, и чуть-тошнило.

Ольга Михайловна знала, что Мушка вообще не любила чаю. Она не спросила даже, не больна ли Мушка. Она думала, что готовить сегодня на обед и из чего готовить: каждое утро сваливало на нее кучу домашних забот.

— Тогда посмотри поди, куда пошла Женька.

— Женька?.. Я сейчас, — отозвалась Мушка лениво.

Она встала, вышла на террасу, потянулась... Солнечный яркий свет так резанул глаза, что она зажмурилась и покачнулась... Потом сказала: — Я сейчас! — и опять ушла в комнату и легла на диван, а ложась, в первый раз почувствовала, как остро вдруг заболело горло... Открыла-было Пушкина снова, но так распрыгались вдруг буквы, что даже удивилась она, и когда заставила их собраться снова, то голова заболела сильнее, стало бить в затылок тупыми, круглыми ударами, и затошнило.

— Мама! — позвала она недоуменно.

Ольга Михайловна была на кухне, и отозвался Максим Николаич.

— Чего тебе?

— Мама! — досадливо позвала Мушка.

— Мама занята... Ты что там?

Пушкин выпал из рук девочки, — такой он показался тяжелый, — и свет резал глаза.

— Да ма-ма же! — протянула Мушка плаксиво.

Как будто двухлетней стала, когда мама бывает единственной и всемогущей.

— Ангина, должно быть, — сказала Ольга Михайловна мужу. — Или, может быть, живот... Попасите уж вы Женьку, Максим Николаич.

— Что же... пройдусь...

И он пошел, захватив газету и даже не взглянув на Мушку: — ангина или живот... Между тем конференция в Гааге кончится, кажетя, вничью, впустую... и вся жизнь кругом впустую... и уж совершенно впустую жизнь его, Максима Николаича... Предсказал бы ему лет двадцать назад какой-нибудь кудесник, что он будет кончать дни свои писцом в этом деревенском суде и пасти единственное имущество свое — пеструю корову!

День был такой, когда ясное здоровое сознание меньше всего склонно бывает допустить, что земля движется. С утра одолела все жаркая лень. Даже какой-то хищник в небе висел неподвижно, как убитый.

Женька ушла уж далеко от дома, и едва разглядел он в кустах черную спину и белый лоб. Видно было, что паслась она добросовестно и деловито, обгрызая под ряд всю траву, какая попадалась, и ежеминутно отмахивалась хвостом от мух.

Чтобы не терять ее из виду, Максим Николаич взобрался повыше и поближе к дороге, стал-было читать газету, но скоро ухватился за какую-то мысль, развил ее, и опять пошла сучиться, как нитка, речь. Однако речь эта была странная: никого не защищал он и никого не обвинял. Он только доказывал, что все случилось так изумительно неизбежно, так ясны и отчетливы были все слагаемые, давшие в сумме ту Россию, которая появилась теперь, что смешно даже и говорить о каких-то «если бы». И будь на шахматной доске русской истории опять расставлены в прежнем, предреволюционном порядке фигуры, и начни игроки переигрывать партию снова, результат игры неминуемо был бы тот же самый, и каждое «если бы» — только ребячество того, кто о нем говорит...

---

Когда рядом с ним появился человек, неслышно подошедший сзади, он даже вздрогнул от неожиданности, а человек этот сказал весело:

— Вот как мне повезло сегодня: — к кому шел, того и нашел!.. Правда, вас мне показали издали... Здравствуйте!.. Узнаете?.. Постарели вы немного, — засеребрились... Узнаете?

И, взглядевшись, Максим Николаич узнал Бородаева, тоже бывшего московского адвоката. Они не виделись около пяти лет, и за это время Бородаев, оказалось, потолстел. Одет он был во все новое, хотя

и по-дачному свободно и просторно. Жесткая бородка его и усы были еще черны, но в голове тоже уж много седины.

Поцеловались, хотя раньше никогда не были ни дружны, ни даже очень близко знакомы.

— Отощали, батенька, отощали!.. В годá входите — надо полнеть!.. А я совершенно случайно,—вижу, вывеска «Народный суд»... Дай, думаю, спрошу, кто здесь судья. Судья-то оказался незнакомый, зато сек-ре-та-арь!.. Что ж вы так скромно?

— Так уж... Да вы откуда к нам?

— Я... все-таки из Москвы!.. Устроился там на бирже... Поздравьте:—биржевой заяц!.. Возношусь на крыльях нэпа и вздуваю десятки... А здесь я с женой... Однако и вы, говорят, того? Женились?

— Женился, — не сразу почему-то ответил Максим Николаич.— Как только стали всячески разрушать семью, так и вышло, что обязательно надо жениться... Пойдемте, — познакомлю с женой... Кстати подгоню ближе мою корову-Женьку... а то далеко зайдет...

— Скажите, пожалуйста, — да вы — Цинцинат!..

— Только вот спасти отечество меня не зовут...

---

Когда Максим Николаич представлял Бородаева, у Ольги Михайловны был явно оторопелый вид. Он приписал это одичанию: отвыкла от всего прежнего, между прочим, и от гостей... Но скоро вошло в обычное: гость сидел в столовой, пил молоко и ел творог, спрашивал, почему от такого глагола, как «творить», в русском языке три смешных слова: — тварь, творог и творило, — остроумие ли тут какое или некая скудость ума?..

Он вкусно ел. Есть люди, — и таких большинство, — которым не идет как-то, когда они едят; этому шло. В него плотно, как по мерке, вкладывалось то, что он ел; глаза у него были маленькие, веселые и поблескивали хитро и сыто; голос был рассыпчатый, грудной. И, двигая лоснящимися красными щеками, гость говорил Ольге Михайловне:

— Вы знаете, сколько стоит корова на Украине? — Пол-миллиарда!

Ольга Михайловна поглядела на него, стараясь понять, что именно он сказал, и отозвалась невнятно:

— Да они и здесь до этих цен доходят.

— Ах, как вам хочется, чтобы наша Женька тоже стоила полмиллиарда, — улыбнулся ей Максим Николаич.— Нет, как хотите, а слово — великая вещь... Миллиарды заносу я нашей революции в актив... И если вернемся мы когда-нибудь к копейкам, ах, как это будет скучно!.. Это я серьезно, — я отвык шутить... Неужели придем назад к старой культуре?.. Зачем же? — Смелость так смелость!..

— Гм... Отвык шутить! — подмигнул на него гость Ольге Михайловне.

Но она не улыбнулась; она сказала:

— Приехали вы в Крым отдохнуть, а у нас тут холера...

— Ни-как-кие холеры вам тут не страшны!—счел нужным обнадежить женщину гость. — На таком солнце, как у вас, все бациллы передохнут за пять минут.

— Ма-ма! — позвал вдруг из закрытой спальни слабый голос Мушки.

— Ага! «Мама»? — игриво подмигнул Бородаев Максиму Николаичу, когда Ольга Михайловна пошла в спальню.

— Дочь моей жены от первого мужа, — объяснил Максим Николаич. — Она уж большая, — двенадцать лет... Приболела что-то сегодня.

— Я сюда не на отдых, — закурив, сказал гость. — Я сюда по делу... А от вас хочу получить сведений тьму, так как вы уж тут старожил, и всё знаете.

И он начал обстоятельно говорить, что их — компания из пяти человек, — все биржевые маклеры, — но биржа — дело неверное: всегда надо быть готовым к тому, что закроют и разгонят; поэтому они хотят основать здесь, на Южном берегу — большую мельницу-вальцовку.

Озабоченная вышла из спальни Ольга Михайловна и, тихо прикрыв двери в зал, ушла снова к Мушке, а Бородаев, еще более повысив свой рассыпчатый голос, пояснял:

— Практика последних лет показала, что единственные предприятия, возможные у нас, — пищевые... Мельницы все разобраны в аренду, а фабрики-заводы стоят... И так будет еще лет пять, пока накопятся продукты. Вот почему мы и пришли к бесспорному выводу: вальцовка!.. Но вопрос: — где же именно?.. Только из-за этого я и был в Полтаве... Короче, мы вполне сознательно выбрали Крым.

Очень тщательно притворив за собою дверь, вошла в столовую Ольга Михайловна.

— Ну, как?.. Что там такое? — спросил Максим Николаич.

— Жалуетса, — голова очень болит... Поставила градусник, — ответила Ольга Михайловна; а гость продолжал о своем:

— В этом районе вальцовок совсем нет, между тем — хлебопашество... Да, несмотря на виноградники и сады, здесь сеют довольно хлеба, и с каждым годом будут сеять все больше... Не думайте, — мы учли голод!.. На всех бывших табачных плантациях, на всех старых, запущенных виноградниках, даже на всех сенокосах теперь будут сеять хлеб...

— Но, ведь, у нас есть мельницы, — попытался вставить Максим Николаич.

Гость усмехнулся.

— Какие же это мельницы?.. Водяные?.. Шеретовку делают?.. Только зерно портят... А у нас будет крупчатка не хуже американской, а, конечно, лучше, потому что без примеси... Да и пшеница наша

лучше... Если во всем побережном районе будет тысяч пятьдесят жителей... считая Гурзуф, Ялту и все деревни... Как вы полагаете, — будет?

— Пожалуй, будет... с приезжими летом...

— Тогда наше дело в шляпе!

— Кто же к вам поедет за мукой и с зерном?

— А мы будем возить все сами... Имейте в виду,—если есть у какой части России ближайшее будущее, то это у Крыма. У него все возможности Греции: береговая линия и прочее, и он прежде всего должен расцвести... И вы знаете, кто выведет Крым в ближайшие годы из разрухи?

— Что?—с большим любопытством спросил Максим Николаич.

— Не «что», нет, а именно «кто»!

И, сделав глаза хитрее хитрого и приличную паузу, выждав, Бородаев сказал:

— Курица!

— Как курица?

— Да... Обыкновенная курица!.. То-есть не это, конечно, двуногое недоразумение, какое разводят здесь татары, а кохинхина, плимутрок, брама... При нашей мельнице огромное, насколько возможно, птичье хозяйство... Обстоятельную лекцию о курице прочту я и здесь у вас и во всех городах Крыма... Курица уже спасла одну страну — Данию, после разгрома ее Пруссией, — спасет она и Россию... А рынок для сбыта яиц всегда готовый: Англия!.. Проглотит любое количество... И никакого рельсового пути: через Дарданеллы, прямехонько к нам... Имейте в виду: ни табак наш, ни шерсть, ни вина крымские, ни фрукты—Европе не нужны... но яйца...

— Позвольте!—горячо перебил Максим Николаич. — Но, ведь, для яиц этих надо зерно, а зерна нехватает даже для людей... Вот у меня есть курица Чапа, я выменял ее за два фунта тухлой пшеницы (пшеницу эту выдали мне, как месячный паек в феврале)... Два фунта такой пшеницы стоили бы в прежнее время копейку, и купить бы ее могли только для тех же кур... или для свиней... Но, ведь, я выменял на эти два фунта целую курицу, цена которой была, на худой конец, полтинник!.. Вот и считайте теперь прибыль от кур... Но вы бы лучше вот что...

— Сорок один!—сказала вошедшая в этот момент Ольга Михайловна.

Максим Николаич видел ее лицо, вдруг ставшее неживым от бледности, но мгновенно мелькнуло в памяти, что их пятнадцатиминутный термометр показывал на сколько-то десятых больше, чем было, и это «сорок один» показалось не очень важным.

И когда гость, забеспокоившись, что его ждет жена обедать, поднялся, Максим Николаич сам пошел его провожать, указал ближайшую к морю тропинку, и не заметил даже, заговорившись, как спустился вниз и пошел береговой дорогой.



Теперь говорил он, говорил о том, что перевернуло их жизнь, и одного из них заставило быть биржевым маклером, другого—писцом...

Раза два он прощался с Бородаевым, говоря:—Ну, пойти домой...—Но тут же возникал какой-нибудь общерусский вопрос из целого моря новых общерусских вопросов и требовал немедленного решения. Казалось, что, не решивши его, нельзя даже и жить, не только итти зачем-то домой.

И он опять оставался.

Правда, расставшись, наконец, с неожиданным гостем, Максим Николаич спешил подняться в гору, и был весь в смутной тревоге, когда подходил к дачке.

Входная дверь не была заперта, но Ольги Михайловны нигде не было. Он догадался: пошла за доктором.

Он вошел в комнату Мушки. Там, в полумраке (ставни были затворены), едва различил глаз белевшее лицо девочки на кровати.

— Мушка!.. Голубчик!.. Что с тобою?..—негромко сказал Максим Николаич.

Мушка молчала.

Она смотрела на него нелюбопытными белыми глазами, изредка мигая ресницами, и молчала.

— Мушка!—громче позвал Максим Николаич.—Мушка, ты меня видишь, ведь,—чего же ты молчишь?

— Не приставайте,—тихо сказала вдруг Мушка, а сама смотрела безразличным взглядом.

Только теперь вспомнил Максим Николаич, что термометр их показывал больше только на три десятых, и испугался. Это был испуг, сразу его пронизавший. Он даже понять не мог теперь, как это случилось, что он, видя смертельно бледное лицо Ольги Михайловны, даже не догадался, что Мушка больна серьезно. Он даже вслух сказал горестно:

— Как же я так?.. Как же я мог уйти с этим?..

Он приложил руку к голове девочки,—показалась не так горяча голова. Подумалось:—Должно быть, упала температура... Иначе она и не сказала бы: «Не приставайте»... И появилось спокойствие: уверенность в том, что опасности нет, что завтра, может быть, опривится Мушка.

*(Окончание следует).*

---

# Кремлевская стена

ДЖЕК АЛТАУЗЕН

Как праздничный крашенный улей,  
Стоят, опираясь на рвы,  
Крещеные ветром и пулей  
Ковровые стены Москвы.

И люди приходят с Памира,  
Плутая в сплетенных лесах,  
Послушать, как мудрая лира  
Играет в кремлевских часах.

Приходят увидеть, лелея  
Того, кто на гроб меловой  
Под бронзовый щит мавзолея  
На запад упал головой.

И к этой стене заповедной,  
Где лег он на вечный гранит,  
Где колокол шапкою медной  
За Спасскую башней гремит.

Приходят с Карпат и с Амура,  
Седые от ветра и бед,  
Вот в шкуре с убитого тура  
С собакой пришел самоед.

А вот на морском самобране  
Сюда, где могилы слынут,  
Знакомые гости — зыряне  
На льдинах тюленьих плывут.

Их треплет и кружит по взморьям  
Метели седая слюда,  
Но скоро сквозь дымные зори  
Они доберутся сюда.

Они, протирая глазницы,  
Пройдут сквозь туманы и сны,  
Чтоб бодростью свежей напитаться  
У дряхлой кремлевской стены.

От Каспия и от Памира  
Идут, пробираясь в лесах,  
Послушать, как мудрая лира  
Играет в кремлевских часах.

И только всегда неизменный,  
Один у чужого стола,  
Стоит сарафанный Блаженный,  
Цветные подняв купола.



# Письмо в Италию

ЕВГЕНИЙ НЕЙ

Дорогая Софì! Ну, вот,  
Наконец-то вы и в Италии.  
Что ма тант? Напиши, как живет,  
Как покрикивает и так далее?

А эта, как ее, Домна-то  
И прочие все? У нас  
Все попрежнему, те же комнаты  
И обои, и книги, и квас,

Даже мысли все те же, прежние,  
Даже рифмы ничуть не новей,  
И на зорях трещит из Нарезного  
Алябьевский соловей.

Только вот его перья карие  
Подморозились в нашем саду,  
Да и баушка с дешкой состарились  
И уже не цветет дуб.

Он стоит оголенный, вз'ерошенный,  
Но такой мне до боли родной,  
Точно сердце мое заброшено  
На его дуплистое дно.

А ведь помнишь, в какой роскоши  
Он закатывался в сентябре,  
И луна по куще, вразброс киша,  
Трепетала разливами Brent?

А теперь он стал раскорякою,  
Будто вверх корнями растет,  
И сидят на нем птицы всякие,  
Имитирующие листьё.

И сердце, на нем нарезанное  
Со стрелой и надписью «Со...»,  
Струхлявило и треснуло,  
Точно все это было сон.

Точно мы с тобой, мое солнышко,  
Никогда не росли под ним,  
Не кушали вату в подсолнышке  
И не жили только одним,

Только тем, чтоб от сада мокрыми,  
Лепетать слепые слова,  
А из листьев—звездное чмокание  
Сумасшедшего соловья.

Но хуже всего, Сонюшка,  
Что я спутал себя и его,  
Что я слышу в себе, как фасонный шкаф  
Из ствола растет моего,

Как мертвец древнее дерево  
На гранях и вокруг них,  
Что отделана даже дверь его  
И уж полки готовы для книг,

И он выйдет из дуба кряжьего,  
Всего меня искривив,  
Устойчивый и обряженный  
И только рябой от крови...

Ну, да я заболтался про дуб,  
Про кузена, в конце-концов серого  
Молодого чезка на севере,  
Где сугроб и рабочий клуб.

Ну, что же, Сонюша! Прости  
Мою провинциальную лирику-с,  
Позволь пожелать, чтобы лиры курс  
Перестал на время расти,

Так как зимою на масленой  
Нужно блистать на балах,  
Чтоб глаза у мужчин замаслились,  
А подруги стонали о-ах!

Итак, процветай, мой свет,  
Пиши, не ленись и прочее.  
От бабули с дедусей привет,  
От Полкашки хвостом заочно.

---

# Состояние и перспективы развития производительных сил СССР

Акад. А. Е. ФЕРСМАН.

## 1. Понятие о производительных силах

**З**а последние годы мы привыкли широко говорить и писать о производительных силах, об естественных богатствах, их планомерном изучении и еще более планомерном использовании. Часто эти слова употребляются в самом разнообразном понимании, их применяют кстати или некстати к разнообразным областям хозяйственного строительства страны, а между тем мы не всегда вникаем в их глубокий смысл и в то громадное значение, которое скрывается за немного даже примелькавшимся словом. Мы несколько неосторожно и легко говорим о беспредельности наших производительных сил и столь же легко используем это же слово при защите тех объективных трудностей, в которых строится наша жизнь. Вот почему я должен остановиться очень коротко на самом понятии о производительных силах и попытаться наметить понимание этой проблемы в целом.

Понятие производительных сил в течение смены экономических учений видоизменялось в своем объеме и понимании и, начиная с Адама Смита, Дж. Ст. Милля, Франца Листа и кончая Карлом Марксом, заострившим вопрос и поставившим его на реальную почву исторического материализма, — мы имеем постепенное выявление наиболее глубоких сторон этого, казалось бы, столь простого понятия. В основу производительных сил и, в частности, естественных сил вложено понятие взаимоотношений между природой и человеком, между силами физическими, т.-е. богатством недр, земной поверхностью, климатом, породами животных, и, с другой стороны, физическими силами, степенью рассеяния населения и трудом человека, его умственным, культурным и техническим развитием. Из этого сопоставления и связи двух важнейших величин — материальных сил природы и труда человека и вырастает все значение проблемы, про которую Бухарин говорит: «производительные силы общества, их уровень и их движение определяют в конечном счете весь комплекс общественных явлений», а проф. Воблый добавляет: «производительной силой мы называем выявленную или потенциальную способность страны производить материальные блага для удовлетворения потребностей человека. Степень развития производительных сил определяет тот или иной уровень народного благосостояния».

Что же вытекает из этих основных положений? Прежде всего мы должны сделать вывод, и это для нас основное данное, что производительной силой делается какой-либо окружающий элемент природы только через труд, т.-е. через его использование в хозяйственной деятельности человека. Естественные производительные силы не заложены сами по себе, как готовые и строго определенные объекты материального мира; нет естественной классификации земли, ее недр, животных или растений на полезные или бесполезные, на производительные и непроизводительные силы. Все эти понятия условны и непосредственно зависят от подхода человека, от степени его умения любой объект природы подчинить себе и привести в материально-полезную ценность.

И действительно, когда мы исторически посмотрим на развитие культуры человечества, то увидим, как постепенно менялось внутреннее содержание производительных сил, как постепенно человек научился подчинять себе и использовать окружавшие его сначала чисто враждебные силы, как по мере развития его культуры, техники, промышленности постепенно вся природа втягивалась в использование, производительные силы расширялись и принимали новые формы. И особенно в наше время бурного роста и экономической борьбы, в годы стремительного развития техники и технологии, мы присутствуем при особенно знаменательном процессе, когда «ценность» объекта природы на каждом шагу переоценивается под влиянием творческой мысли человека. Новое открытие, техническое усовершенствование неожиданно переворачивает все экономические расчеты, и вчера бесполезное—сегодня делается полезным, а вчера полезное—теряет сегодня неожиданно часть своей ценности. Пусть несколько примеров помогут нам в освещении этого основного вопроса в понимании производительных сил.

Все мы знаем, какое огромное значение в промышленности играет серная кислота—в сущности все химическое производство, весь самый сложный мир химических и фармацевтических препаратов, которых одна химическая фирма Кальбаума в Берлине готовит свыше 10.000 сортов,—все это держится на серной кислоте, играющей сейчас большую роль в целом ряде и других промышленности (бумажной, текстильной, керамической, взрывчатых веществ и материалов удобрения). Эта вот серная кислота долгое время, до половины XIX века, добывалась из серы, которая шла из Сицилии, единственного ценного месторождения Старого Света. Нетрудно понять, что все страны заигрывали с Италией, чтобы не потерять этого ценного вещества, а Англия не раз совершала прогулки своего флота к берегам Сицилии, демонстрируя свою мощь и добываясь более низких цен. Но вот в середине прошлого столетия в Испании и Португалии открывается громадная полоса серного колчедана, из которого технически тоже можно получить и при том весьма выгодно серную кислоту. Постепенно вплоть до конца 90-ых годов колчедан захватывает доминирующее положение, вытесняет серу, обездоливает бедного сицилийского крестьянина, и каждая страна строит свою сернокислотную промышленность или на собственном колчедане или на дешевом минерале, привозимом на судах из Испании. Но неожиданно в эту картину врывается совершенно новое положение. После 10 лет упорной научной работы американцу Фрашу в 1903 году удается открыть замечательный способ добывать

серу из земли: он системой труб накачивает в глубины земли горячие пары воды, последние расплавляют на глубине серу, которая по трубам, как нефть или вода, в чистейшем виде изливается на земную поверхность. Огромные неиспользованные, непроизводительные месторождения южных штатов Америки превращаются в мировые богатства—сера отсюда идет по всему миру, снова вытесняя колчедан. Но вот начинается война: нет рабочих рук, морские сообщения под ударом подводных лодок, а промышленность требует снова громадных количеств серной кислоты: снова задача решается по-новому и снова начинается борьба между серой и колчеданом.

Эта борьба продолжается и сейчас. Повышения водных тарифов на несколько копеек с пуда уже достаточно, чтобы снова оживить некоторые заснувшие рудники Испании, и, наоборот, эксплуатация сицилийских копей неожиданно начинает страдать, не выдерживая мировой конкуренции. За время войны немцы научились превращать в производительную силу свой гипс и очень хитроумным способом извлекали из него серную кислоту: теперь гипс снова сведен к обычным малополезным ископаемым земли.

Этот пример очень характерен; но столь же очевиден и другой пример: основа всего нашего сельского хозяйства, основа взрывчатых веществ—селитра: когда в начале девятнадцатого века пришло из Чили первое судно в Европу для продажи чистой чилийской селитры, то не нашлось покупателей и селитра была выброшена в море. Но стоило Либиху в своей скромной лаборатории разрешить величайшую проблему удобрения селитрой, как вплоть до XX века Чили со своими единственными в мире запасами стала монополю владеть всем миром, но не надолго, крупный немецкий химик Габер и целый ряд других получили с большим экономическим эффектом селитру из воздуха, и сейчас Чили снова у разбитого корыта: не платят дивиденда чилийские селитренные общества, и снова победила мысль ученого, сумевшего дать земле новое, более дешевое вещество.

И вот в современном ускоренном темпе развития промышленности и жизни одни производительные силы вычеркиваются из их списков—но это единицы,—другие в громадном, все растущем темпе вовлекаются в обиход культурной жизни и хозяйства; и не годами, а месяцами идет завоевание природы пытливым умом человека.

Я только что вернулся из Германии; после 6 месяцев перерыва, я снова в ней окупился в мир моей специальности—того минерального сырья, которым пользуется промышленность, и даже за этот маленький срок я увидел расширение нашего охвата богатств природы. Мы почти не знали, что делать с металлом кадмием, который немцами во время войны применялся для замены меди, а после войны в сущности шел прямо в отброс—оказывается, сейчас он очень нужен, чтобы делать яркожелтые стекла семафоров и специальных электрических ламп. У нас на Изумрудных Копях сотнями пудов шли в отвал белые минералы—соединение металла бериллия—их сейчас спрашивает Германия для особых очень легких авиационных сплавов вагонами, десятками вагонов.

Я мог бы еще много страниц занять такими примерами, но я думаю, что сказанного достаточно, чтобы понять, что производительные силы страны есть нечто условное, тесно связанное со всей экономической и культурной

обстановкой, в которой данный элемент природы находится. Основную роль в этом процессе вовлечения в круг производительных сил производят достижения науки и техники, напр., путем постепенных улучшений в обработке и технологии, делающих бесполезную глину высоко полезным и экономическим фактором развития страны или превращающих особым техническим приемом дикорастущий бадан в ценнейшее дубильное вещество. Но было бы огромной ошибкой думать, что одни научно-технические достижения являются этой чудодейственной силой, превращающей втуне лежащую природу в объект хозяйственного использования. Мы знаем, и особенно хорошо знаем на территории нашего Союза, что ценность продукта определяется еще его географическим положением, что ценнейший и чистейший полевой шпат в Мамской тайге никому не нужен и что даже громадные залежи каменной соли на Вилкое не представляют никакой ценности, хотя Иркутск и Чита до войны исключительно пользовались немецкой столовой солью, приходившей вокруг Европы и Азии на пароходах. Действительно, за морем телушка—полушка!

Исходя из этого, мы должны установить и второе положение: понятие производительных сил связано еще с географической и экономо-политической обстановкой, среди которой они находятся. Вопросы расстояний в нашей громадной стране, вопросы и методы транспорта, улучшение путей сообщения, создание новых центров жизни и перемещение старых—все это—вопросы государственного строительства, которые влияют на производительные силы и, обратно, находятся в тесной зависимости от них.

Нельзя отрицать того, что к этому углубленному пониманию производительных сил мы подошли только в последние годы, и что последние 10 лет нашей работы научили нас и различать и изучать производительные силы страны.

## 2. Изучение производительных сил в СССР

Что же значит изучать производительные силы, если само это понятие условное, тесно связанное с самой жизнью, ее потребностями и ее развитием? И здесь мы не можем подойти так упрощенно, как это думали еще четверть века тому назад, когда какие-то определенные объекты природы рассматривались, как заведомо полезные объекты человеческого обихода. Да еще сейчас мы говорим о «науке о полезных ископаемых», забывая те уроки, которые нам дали экономические потрясения мирового хозяйства последних 15 лет. Конечно, изучать производительные силы значит изучать природные явления и силы не в их самостоятельной безотносительности, а в тесном соотношении с человеком, его потребностями и его трудом. Сам человек создает свою хозяйственной деятельностью производительные силы, а изучать их значит активной мыслью, творческими изысканиями стремиться превратить имеющиеся налицо неиспользованные силы природы в силы производительные. В этой активности научной мысли, в этом методе подхода к природе лежит глубоко интересная работа исследования производительных сил страны. В недавнем прошлом, когда страны во время империалистической войны были разорваны непроходимыми преградами, когда Германия, напр., была отрезана,



как забором, блокадой враждебных стран, тогда мы имели прекрасный пример того, как жизненная необходимость при отсутствии тех или иных веществ создавала нужные производительные силы из того, что лежало под руками: из гипса—серную кислоту, из воздуха селитру, из отбросов—смазочные масла и питательные жиры и т. д., и т. д.

В сущности, этот же процесс должен идти в каждой стране всегда: и мы в нашей исследовательской работе над производительными силами страны должны не столько просто учитывать и записывать, сколько активной мыслью подходить к природе, выискивая ее полезные черты, сочетая потребности момента с тем, что может дать природа.

Тот подъем изучения и использования русских природных богатств, который мы наблюдаем в настоящее время, и который сейчас сделался прямо лозунгом общественной и научной работы, не является чем-либо новым в истории русской общественной мысли; русская жизнь и ее развитие всегда шли отдельными скачками, порывами, и много раз поднимались волны сознания необходимости изучать и узнавать себя и свое, но только девятый вал приносил искомые реальные результаты.

Ровно 150 лет тому назад Россия переживала и подготавливалась именно к этим задачам: узнать свои родные края, определить свои богатства и использовать их «взамен чужеземному товару». Блестящая речь академика А. Гильденштедта вскрывала эти недостатки использования природных богатств в конце XVIII века, но ее отдельные места, ее мотивировка и фактический материал настолько близки к запросам современности, что иногда забывается время ее произнесения—1776 год.

Гильденштедт призывал к активности, и его речь тогда, в условиях казенного Петербурга, все же встречала горячий отклик во всей стране.

Прошло 150 лет. Много, о чем говорил Гильденштедт, получило мощное развитие и, хотя жизнь пошла вперед и ее требования далеко опередили те скромные пожелания, о которых мы читаем в его речи, тем не менее относительная оценка наших природных богатств оказалась сделанной совершенно правильно.

Гильденштедт призывал искать угля в районе Петербурга и южных степей, чтобы не платить ежегодно 5.000 р. с лишним за чужеземное топливо; за 150 лет изменились только цифры и масштаб потребностей, а идея осталась та же. Гильденштедт рекомендовал вместо заграничных курортов посещать свои родные ключи; этот же призыв сохранился и до настоящего времени, и только изменилась оценка расстояний, так как «путь только в 280 верст», через Кавказские горы, вряд ли сейчас является трудным.

Конечно, за полтора столетия использование русских природных богатств сделало большие успехи, но многое еще и сейчас сохранилось в том виде «пожеланий», о которых говорил Гильденштедт. Надо надеяться, что мощный подъем, который переживает в настоящие дни наш Союз, окажется тем девятым валом, который преодолет все трудности нашей природы, всю трудность строительства новой жизни и приведет к осуществлению надежд, накопленных многими годами опыта и борьбы за знание...

Но простые формы экономической жизни 150 лет тому назад не могли даже догадываться о той сложности проблемы, которая ныне вложена в понятие производительных сил, и поэтому понятно, что тот процесс, который произошел в нашей стране за последние годы, пошел гораздо более сложными путями, чем мог думать Г и л ь д е н ш т е д т.

Идея значения производительных сил в жизни страны и в ее хозяйстве была выдвинута немного более 10 лет тому назад нашей Академией Наук.

Первою начав изучение природных богатств страны, Академия взяла на себя и почин в объединении широких кругов русских ученых уже для совместной планомерной работы в этой области, образовав по инициативе академика В. И. В е р н а д с к о г о постоянную Комиссию по изучению естественных производительных сил (КЕПС). Самое название ее оказалось пророческим для всего того движения, которое охватило в настоящее время все союзные и автономные республики и области и сделалось лозунгом момента. Хотя эта Комиссия возникла еще во время войны, но развила полностью свою деятельность при содействии Наркомпроса только при советской власти, признавшей государственное значение всестороннего исследования богатств природы. С этого момента в сущности и начинается у нас систематическое изучение производительных сил. Маленькая комиссия выросла за 10 лет в крупное научное учреждение, ныне широко известное под сокращенным названием КЕПС, а ее пути сделались путями научной работы многих сотен учреждений, краеведческих и научно-технических обществ.

Многие жизненные начинания Академии в этом направлении за короткий период приобрели государственный масштаб и вылились в самостоятельные исследовательские институты: Гидрологический, Керамический, Радиевый, Почвенный, Платиновый и др., сохранившие, однако, с ней самую тесную связь. Вслед за этими институтами, созданными Академией, по тому же плану возник целый ряд новых исследовательских учреждений и вне ее, главным образом при Научно-Техническом Отделе Высшего Совета Народного Хозяйства. Так получила осуществление та идея о создании государственной сети исследовательских институтов, которая была выдвинута Академией еще раньше.

Чрезвычайно широкое распространение получило в последнее время и краеведение, являющееся особым научным методом и обоснованием общественного самосознания освобожденного населения. Академия всегда придавала краеведению громадное значение в познании нашей природы, в распространении научных сведений в широких народных массах, пробуждающих в них уважение и любовь к науке и облегчающих задачи охраны природы и памятников старины и культуры. В 1921 году при Академии образовалось Центральное Бюро Краеведения, ныне объединенное в Наркомпросе РСФСР, и вот в наше время уже во всех самых глухих углах Союза ССР возникли краеведческие организации, многие из которых являются крупными, типа научно-исследовательских институтов, положившие в основу своей деятельности программу КЕПС. Но одного краеведческого изучения в настоящее время уже мало для решения тех громадных экономических задач, какие стоят перед страной и требуют срочного изучения, притом всестороннего,

всех республик, всей громадной территории Союза и его многомиллионного населения. После декрета, об'явившего Академию Наук Всесоюзной, ряд отдельных республик обратился к ней с предложением об организации систематических комплексов исследований, имеющих непосредственной целью поднятие народного хозяйства и вместе с тем их культурный под'ем, так как к исследованиям привлекаются и местные молодые силы, получающие таким образом под руководством опытных специалистов широкую научно-практическую подготовку. Кроме большой работы, которая уже ведется в Якутской и Казакской республиках, начаты исследования в Туркменской, Бурято-Монгольской, Карельской, Чувашской, Армянской и других республиках. Так, по почину Академии Наук, при ее непосредственном участии и всемерном содействии зародилась и теперь совершается и центральными и местными организациями по всей необ'ятной территории нашего Союза огромная работа по учету и изучению естественных производительных сил, регулируемая Госпланом и выявляемая на Всесоюзном и Областных С'ездах представителей научных дисциплин и плановых органов.

Сейчас основные задания, поставленные Академией в области изучения производительных сил, уже сделались частью организованной планомерной работы целого ряда крупнейших учреждений. Учет и оценка производительных сил с большим успехом и в весьма крупном масштабе ведется Геологическим Комитетом, Институтом Прикладной Ботаники, Институтом Опытной Агрономии, Ботаническим Садам, Гидрологическим Институтом, Почвенным Институтом, КЕПС'ом Академии Наук и сотнями других научных учреждений Союза. Здесь, в этой планомерной работе вырабатываются и новые методы и закрепляются новые подходы к этому сложному вопросу. И на фоне двухвековой научной работы исследовательских учреждений страны, на фоне нового идейного освещения этих завоеваний мы подошли к целому ряду очень крупных выводов большого обще-научного и прикладного значения.

### 3. Основные законы распределения производительных сил в СССР

Сейчас, на основании многочисленных сводок полезных ископаемых, новых карт почвенных, земледельческих, геоботанических и экономических, на основании большой работы Академии Наук по составлению карты племенного состава населения нашего Союза, мы подошли к некоторым научным концепциям, которые необходимо поставить в основу изучения производительных сил Союза и которые определяют судьбы и перспективы их развития <sup>1)</sup>.

В основе всей нашей страны, как бы связующей Европу и Азию в Большой Евразийский материк, как это определенно наметил по стопам А. Гумбольдта известный австрийский геолог Э. Зюсс, лежат две группы законов, определяющих все судьбы Союза, распределение ее производительных сил и динамику и историю ее экономического развития. Одна

<sup>1)</sup> В основу этой главы поставлен доклад, читанный на торжественном заседании в Гамбургском Университете в июле 1927 года.

группа законностей связана с геологической историей нашего материка, другая — с климатическими поясами, которые широтными дугами делят весь Союз на ряд параллельных полос.

Первая группа законностей вытекает из тех сейчас уже хорошо известных данных исторической геологии, которые говорят нам о том, что территория союза занимает две больших платформ, древних устойчивых щита земной коры. Эти щиты—Европейская часть СССР и большой восточно-сибирский щит, лишь слабо сгибавшиеся в течение долгой геологической истории,—обломанные по своим краям, оставались неизменными, и об них, как волны о каменный мол, разбивались каменные валы менее устойчивых подвижных частей нашей поверхности. Много раз в истории земли образовывались могучие складки, зажатые между прочными платформами, то образуя длинные горные хребты на далеком севере с древними, мало заметными вулканами (хибины на Кольском полуострове), то повторно вздымая уже размытые и сглаженные горные цепи. Особенно знаменательны в истории земли были эти процессы в конце каменноугольной эпохи, когда вся Евразия была зажата между своими массивами, и длинные горные цепи Урала, с одной стороны, и цепи Герцинских складок, с другой, протянулись от берегов Атлантического океана через современный Гарц и Судеты, наш Донбасс и Тянь-Шань мощными гирляндами горных хребтов, огибая и прижимаясь дугами Саянских, Яблоновых и Восточно-Сибирских хребтов к жесткому, неизменяемому и постоянному Сибирскому щиту Прибайкалья.

Эти грандиозные картины прошлого имели бы только чисто научное значение, если бы к ним не присоединились совершенно новые идеи, вскрытые громадной работой последних лет. Все эти Герцинские цепи и гирлянды, на десятки тысяч верст огибающие щиты Евразии, являются носителями ценнейших металлов и других полезных ископаемых—перед нами не просто горные области, а, как говорят геологи, металлические зоны с золотом и серебром, медью и цинком, свинцом, оловом и драгоценными камнями. Только за последние годы мы начинаем понимать величие этих уже не геологических, а в сущности горнопромышленных областей; — так, например, работами академических экспедиций был вытянут замечательный пояс таких редких и ценных металлов от самого Охотского моря через китайскую территорию и наше Забайкалье в Монголии, и мне казалось в моих работах, что он южным концом своих двух тысяч километров скрывается где-то под песками пустыни Гоби, но интереснейшие работы геолога Чуракова нашли его продолжение на западе и, загнув его у Урги, снова наметили выход мощной западной дуги на территории Союза, далеко на севере Енисея, за пять тысяч километров от его начала. И этот пояс не один в Азии; параллельно ему идут в Китае совершенно аналогичные рудные гирлянды, и те же постоянные законы распределения металлов и элементов управляют этими образованиями. И одновременно с этими металлическими поясами и зонами мы на протяжении почти 11 тысяч километров проследили распространение газовых струй и среди них редкого газа гелия, одного из интереснейших объектов нашего воздухоплавания. Строго определенными законами по сторонам больших Герцинских цепей идут таяса угольных и соляных месторождений, а замечательные

открытия калиевых солей на западном склоне Урала есть лишь небольшая частность **этих** законов распределения полезных ископаемых в связи с основными геологическими чертами лика земли.

Но на больших Герцинских цепях и Герцинских металлических поясах не закончилась геологическая история Евразии; снова в сравнительно недавнее время начались процессы горообразования, длинные цепи Алтаид налегли на древние складки, образуя те хребты цепей, которые ныне с юга обрамляют наш Союз, определяя его границу с Монголией, Китаем и Персией. Но эти новые цепи не принесли больших количеств новых металлов, и только снова длинные полосы соляных месторождений и нефти начали обрамлять эти молодые горные образования.

Нарисованные схематически картины законностей геологического строения Евразии предопределяют основные законы распределения полезных ископаемых и особенно металлов. Горное дело, начиная с таинственной Чуди, было связано своими поселениями с описанными выше рудными поясами, современная горная промышленность подчинена тому же географическому закону, и на размытых и частью совершенно погребенных под камнями древних Герцинских цепях развивается и будет развиваться будущая горная, химическая, металлургическая и керамическая промышленность Союза. Ось Кривого Рога и Донецкого бассейна идет по одной из этих геологических линий, развитие Уральской промышленности—по другой, золотые прииски Якутии следуют громадным дугам, окаймляющим древний Сибирский щит, а поиски драгоценных камней и редких военных металлов следуют древним гранитным гирляндам Востока.

Если мы хотим говорить об одной из важнейших производительных сил нашей страны, ее недрах, то их перспективы и формы их развития мы должны вычитывать на страницах геологической истории Евразии.

Но есть еще вторая группа законностей, которая налегает на первую, скрывает от наших глаз ее течение и подчиняет совершенно новым явлениям—это тот мощный процесс природы, который видоизменяет землю, превращая ее в почвенный покров путем сочетания света, влаги, тепла и воздуха, создает то, что мы называем климатом и подчиняет ему очень чуткую и неустойчивую растительную и животную жизнь. Этим создается та закономерность природных явлений нашей страны, которая в столь блестящей форме была подчеркнута основателем научного почвоведения В. В. Докучаевым и которая определяет все разнообразие широтных поясов нашей страны, от полярного тундрового ландшафта до пояса пустынь и полупустынь нашего крайнего юга.

В только что изданной Академией почвенной карте, подготовленной после двадцати лет работы к почвенному международному конгрессу в Вашингтоне, мы со всей очевидностью видим эти законности. Сначала на севере больше чем 30 тысяч километров береговой линии с холодным, почти мертвым океаном; далее зона тундр и болот, лишенных леса, с трудными условиями жизни, с сглаженной поверхностью, с отсутствием основных предпосылок для быстрого культурного и промышленного прогресса; дальше пояс подзолистых почв с лесами, со снежными лугами, а южнее пашнями—громадный пояс определенных геохимических свойств—пояс культурного оседлого населения,

сложившего нашу государственность и построившего свое натуральное хозяйство. Еще южнее узкая сильно извивающаяся, изменчивая полоса нашего чернозема—житница России—Украина и Сибирь, с юга ведущая постоянную борьбу со степями и с южным пустынным поясом Евразии. Наши последние работы показали, что могучий пояс пустынь Азии тянется от побережья Каспийского моря через мрачные Каракумы, течения Аму-Дарьи и Кизилкумы к пустыням Восточной Азии—Бетпаку на западе от Алтайских цепей и Гоби—на востоке. И этот громадный пустынный пояс отделяется с севера от пояса степей своеобразной зоной озер—многих десятков тысяч озер, которые мы замечаем еще у границ Бессарабии, на берегах Черного и Азовского морей, в тысячах прослеживаем в степях Тургая и Западной Сибири, чтобы снова с ними встретиться в Забайкалье, Монголии и Северном Китае. Каждый из этих поясов—не только особый природный мир, но и мир особого хозяйства, особой промышленности и особых культурных и исторических судеб народов.

Пояс степей, плодородная житница юга России, является поясом кочевых движений восточных народов, поясом древнейшей культуры и культурных движений; пояс озер с его богатствами разнообразнейших солей,—область богатой химической и керамической промышленности будущего; наконец, пояс пустынь в их постоянной борьбе за воду—особый мир своеобразных судеб населяющих народов.

Краткий обзор отдельных поясов нашего Союза не дает всей широты тех жизненных, промышленных, экономических, этнографических и демографических проблем, которые закономерно связаны с явлениями климатической зональности. Но уже сейчас мы видим, что основные отрасли народного хозяйства, расселения населения, исторические законы его перемещения тесно связаны с этими поясами, и для каждого из них типичны и свой почвенный покров, и свои полезные ископаемые, и своя растительность, животный мир и свой человек...

Но, когда мы сплетаем две группы намеченных законностей, то мы получаем всю ту сложность и все то многообразие русской жизни, которая нам часто является трудно понятной, пока не расшифруем те силы природы, которые лежат в ее основе. Только за последние годы мы поняли значение этих основных законов, и в их анализе мы имеем главнейшее достижение, и в них рисуются наиболее определенные перспективы дальнейшей работы и планомерного использования наших богатств.

Я не хотел бы, однако, ограничиться этими общими выводами, и в следующих строках намерен очень кратко, на нескольких отдельных, совершенно конкретных примерах нарисовать достижения наши в области познания и использования производительных сил нашей страны.

#### **4. Отдельные достижения в области изучения производительных сил СССР**

Первые примеры нам дает изучение недр, за последние 10 лет давнее нам не только то углубленное понимание страны, о котором я сейчас говорил, но и ряд совершенно конкретных и новых данных. Прежде всего за последние

годы нам удалось совершенно определенно убедиться, что недра среди всех других производительных сил природы являются наиболее уязвимыми, ибо они не восстанавливаются, и потому их использование всегда является растрачиванием основного капитала. Наши угольные запасы обеспечивают нас лишь на 200 лет, не больше, и потому все построение энергетического хозяйства промышленности должно пойти по совершенно иному пути—шаг, который мы и сделали под влиянием энергичных решений Гозлро. Благодаря деятельности Геологического Комитета и Всесоюзной Академии Наук мы имеем сейчас, хотя и не полный, но все же учет наших недр; тем не менее, исследованность нашей страны настолько мала, что каждый год, каждая новая крупная экспедиция открывает новые и новые ископаемые богатства: одни из них уже сейчас реальны, другие являются пока потенциальными, но обещают нашу промышленность в будущем.

В области железа открытие курских магнитных железняков в районе магнитной аномалии дает нам именно такие потенциальные запасы железа на будущее, притом в количествах, определяемых многими миллиардами тонн. Если мы вспомним, что богатейшие руды Лотарингии, отнятые Францией у Германии после мировой войны, исчисляются в 5, а знаменитые руды полярной Швеции в 1 миллиард, то мы увидим, что в области железа будущие перспективы (лет через 50) весьма серьезно изменятся под влиянием столь блестяще законченных работ акад. Лазарева. Не менее замечательны наши последние открытия в области золота: по тем же законам больших поясов, о которых говорилось выше, к востоку от знаменитых Лейских золотых промыслов мы встретились за последние годы с замечательным Алданским районом Якутской республики, который, подобно Калифорнии и Клондайку, в течение нескольких лет превратился в важнейший золотоносный район Сибири. В той же трудно доступной полярной Сибири за последние годы экспедицией Геологического Комитета открыты месторождения платины, драгоценного металла, с успехом конкурирующего сейчас с золотом на мировом рынке. Здесь под вечной мерзлотой за полярным кругом открыты еще мало разведанные месторождения особых пород, содержащих различные платиновые металлы и, если мы только вспомним, что подобные породы в Сибири занимают пространство в  $1\frac{1}{2}$  млн. квадратных километров, то мы поймем огромное значение этого открытия. Но еще гораздо больше наши завоевания в области нерудных ископаемых—этих пасынков и науки, и горного дела. До войны мы просто-на-просто выписывали их из-за границы, и самые элементарные вещества, начиная с простого точила для косы и кончая наждачной бумагой—все приходило к нам преимущественно из Германии: действительно, здесь мы сделали за последние 10 лет громадные успехи: нашли под самым боком Ленинграда, всего лишь в 100 клм., недурные по качеству, весьма значительные количественно, руды алюминия, на Урале и в Киргизских степях нашли свой корунд и наждак, а под Онежским озером—прекрасный точильный камень; многомиллиардные запасы ценнейшей глауберовой соли, выбрасываемой в виде снежных валов волнами на берег Карабугаза, сделались уже достоянием практической эксплуатации, драгоценные камни и особенно изумруд стали планомерно вывозиться в Париж и Нью-Йорк, а предсказанное

акад. Курнаковым открытие калиевых солей, если не равных, то все же вполне соизмеримых с богатствами Германии, уже не только полностью обеспечивает наше сельское хозяйство, но и намечается в качестве предмета вывоза.

Мы не можем дальше продолжать наши перечисления; уже из приведенных примеров мы видим, как велики наши завоевания последнего времени в изучении недр, но и из них же можно видеть и те линии, по которым пойдет их дальнейшее развитие: бережное отношение к редким и истощающимся запасам металлов, угля и нефти и постепенный переход к наиболее простым и распространенным веществам: глине, песку и камню. Недаром американцы говорят, что потребление глины в стране определяет степень ее культурности, в то время как железо есть показатель уже отошедшего в историю прошлого девятнадцатого века.

Вторую группу примеров должно нам дать и изучение наших вод; страна с почти 80 тыс. км. береговой линии по границам с двумя большими океанами, с величайшими в мире реками, пересекающими ее на тысячи километров, и важнейшими внутренними морями-озерами, с несколькими десятками тысяч пресных и соляных озер и длинным списком минеральных горячих и холодных источников—для такой страны вода во всех ее формах и качествах является величайшей производительной силой. Только после революции у нас создано центральное научное учреждение—Госуд. Гидрологический Институт, вышедший из недр Академии Наук, который взял на себя задачу изучить в деталях эту силу, во всех ее полезных и бесполезных формах. Я не могу касаться этих интересных сторон воды, как промышленного, хозяйственного и культурного объекта нашей страны, и только остановлюсь внимательнее на одном достижении последних лет—подсчете этой воды, как источника энергии—белого угля. Благодаря работам Комиссии по изучению естественных производительных сил Академии Наук (КЕПС) мы сейчас в первом приближении знаем наши запасы, выражающиеся 65 миллионами лошадиных сил. Только полтора процента этой цифры используется нашей промышленностью, а почти 64 миллиона бесполезно растрачивается каждый год в виде водопадов и пенящихся горных потоков. Но еще более интересно, что наши водные запасы почти точно равны запасам энергии Сев.-Амер. Соед. Штатов, но зато там процент использования составляет около 10.

В области воды вторая группа достижений намечается в изучении наших соляных озер, громадного, еще несознанного и до сих пор мало использованного богатства страны. Только путем очень точных исследований целой школы молодых ученых, под руководством акад. Курнакова, удалось в общих чертах разгадать сложные законы жизни озер с их постоянными изменениями, образованиями осадков и их растворением. Озера оказались необычайно разнообразными по своему составу и по своему жизненному циклу, который они проходят в известной последовательности, согласно определенным законам физической химии. Если эта проблема была разрешена бессмертным Вант-Гоффом для одних знаменитых немецких калиевых месторождений, то как велико значение ее для наших озер, рассеянных на громадном поясе в 10.000 километров длины и определяющих основы нашей будущей химической промышленности.



Наконец, третью группу примеров наших достижений мы возьмем из области сельского хозяйства и промыслов.

Было бы совершенно непосильной задачей даже вкратце отметить те достижения научной мысли и исследований, которые за последние годы были сделаны в области нашего основного богатства—сельского хозяйства и промышленного использования наших растительных и животных запасов; первое, что бросается в глаза среди этих достижений—это переход от совершенно хаотической, несистематизированной картины хозяйства довоенного периода к полному учету, к подведению итогов и выявлению основных черт данного природного богатства или данной промышленности: так, сейчас мы знаем, что наша пушнина ежегодно добывается общей ценностью в 100 млн. рублей, и что в этом отношении мы по масштабу совершенно согласно идем с Сев.-Ам. Соед. Штатами, что ценность нашего рыбного хозяйства втрое больше, что наши лесные запасы равны  $\frac{1}{4}$  всех мировых лесных запасов и т. д. Эти цифры, полученные путем огромной исследовательской научной работы, дают нам первую основу для понимания и оценки наших перспектив и современных форм.

На фоне этого общего важнейшего завоевания мы должны отметить второе,—научные и научно-практические достижения Института Прикладной Ботаники; впервые выдающимися работами Н. И. Вавилова была раскрыта история нашего хлеба и наших культурных растений и в замечательно глубоких построениях мы подошли к тем законам распространения ржи, пшеницы, овса, льна и т. д., которые позволяют намечать в дальнейшем важнейшие агрономические мероприятия и которые в блестящих обобщениях автора выводят эти культуры из Средней Азии. Впервые мы получили карту нашего земледелия, и не только нарисовали ее, но за небольшой промежуток времени сумели, на основании все тех же законов отбора—селекции, выйти за пределы этой карты, с успехом организовав огородные культуры далеко за полярным кругом.

Третья группа новых подходов дана революционными методами в области нашего скотоводства. Здесь с яркостью точных подсчетов и опытных данных выявлены несомненно новые экономические черты нашего скотоводства, столь важного для страны, в которой число лошадей и овец занимает первое место в мире. Эти новые подходы мы можем лучше всего выразить словами проф. Лискуна: «домашние животные есть то же орудие производства, они—настоящая машина, растущая на своих ногах, использующая естественно-производительные силы страны и дающая возможность стать средством элементарной индустриализации сельско-хозяйственного промысла.

В психике населения должен произойти крупный переворот революционного размаха, чтобы от оценки животного, как убыточной, но необходимой в хозяйстве твари, перейти к взгляду на него, как на простейшую фабрику или завод, перерабатывающий грубое и малоценное сырье в продукты конечного потребления и высокой ценности, вместе с тем продукты более транспортабельные и легко проникающие на рынки».

Наконец, четвертая группа наших крупных научных достижений сделана была в области изучения рыбного и промыслового морского хозяйства—здесь нашему Союзу особенно повезло как наличием крупнейших научных

сил, так и организацией ряда прекрасных учреждений, со своими собственными научно-исследовательскими судами («Персей», «Эльдинг» и др.). Большие морские экспедиции в Азовском, Черном и Белом морях, в Полярном и Тихом океанах, дали за эти годы настолько большой и ценный материал, что сейчас на основании новых данных по биологии рыбы и новых карт рыбных банок можно в целом ряде случаев вести рыбное хозяйство с той планомерностью и правильностью, без которой оно может быть в самый краткий срок совершенно разрушено.

## 5. Заключение

Я подошел к концу моего изложения. На одной седьмой земной суши работает в настоящее время мысль советского ученого, и необъятно широки и захватывающи те проблемы, которые стоят перед ним. В них он видит не только задачи отвлеченной мысли, как завоевание той абстрактной «истины», которую он ищет, но и проявление совершенно особых практических законов жизни, которые делают природу полезной и из трудных, казалось, вредных и даже губительных явлений превращают их в производительные силы страны и в завоевания культурного и хозяйственного строительства. Я был бы рад, если бы своим изложением заставил читателя задуматься над этими проблемами, если бы я в нем, хотя бы в слабой степени, зажег желание активной волей и творческим умом войти в общую работу, увлекательную нас на новые пути строительства новой жизни и нового мира. Но я не хотел бы вместе с тем оставить впечатление, что эти достижения даются лишь общим порывом, общими выводами и теоретическими построениями — нет, завоевание производительных сил страны — это завоевание упорное и упрямое, часто мелочное и докучливое — каждого отдельного факта. и из этих мелких фактов и часто невидимых и никому, казалось, не нужных мелких данных создается само достижение, как суммирующий результат огромной будничной, кропотливой работы. Больше всего боюсь я в этом вопросе не дела, а внешних слов, увлечения внешними общими местами, в то время как сама жизнь, жесткая в своей реальности и конкретности, требует именно самых материальных завоеваний, подведения под жизнь и под все мирозерцание того материального базиса, без которого ее построение превращается или в голую схему, или в опасную несбыточную мечту.

Это не значит, что не надо дерзать, что не надо быть смелым, романтиком идей, заставляющих все забыть, и идти революционным путем новых исканий. Перед нами страна громадных возможностей, трудная в своей географии, очень сложная в своих масштабах, весьма богатая производительными силами разного рода, начиная с недр и кончая самим человеком, во всем многообразии двухсот его народностей. Будущее этой страны начинает выковываться на учете всех этих сил, на стремлении всех их гармонически слить в одно целое не силой принуждения, а подведением под них культурной и материальной базы, которая одна дает реальные перспективы развития народов.

Ленинград, 10 июля 1927 года.

# ИЗ ПРОШЛОГО

---

## Письма И. С. Тургенева к П. В. Анненкову

### Предисловие

**Н**едavno в одном из ленинградских антикварных магазинов мне удалось приобрести пачку подлинных писем И. С. Тургенева, адресованных одному из самых близких друзей — Павлу Васильевичу Анненкову. Письма эти до сих пор печати неизвестны. Считаю необходимым сказать несколько слов о личности адресата писем

На литературно-общественном фоне столичной жизни 40—70-х г.г. прошлого века (1813 — 1877) ярко выделяется своеобразная фигура П. В. Анненкова. Мелкопоместный симбирский дворянин, Анненков в начале 30-х г.г. прослушал вольнослушателем курс историко-филологического факультета С.-Петербургского университета и потом несколько лет прослужил в министерстве финансов, но не служба заполняла его время, а непрерывное общение с передовыми деятелями тогдашней литературы. Здесь он создал свою карьеру—сначала любителя литературы, потом друга литераторов и, наконец, тонкого ценителя и критика.

Трехлетнее пребывание за границей (1840—1843) закрепило его репутацию, как критика особенно высокой культуры. С Запада он писал письма к Белинскому, которые печатались в «Отечественных Записках», в Риме сблизился с Гоголем, под диктовку которого он переписывал первую часть «Мертвых Душ»... По возвращении из-за границы Анненков уже почти со всеми писателями своего времени был в близких отношениях. Осторожный политик в личных отношениях, Анненков в те годы оставался одинаково близким и меценату Боткину и революционеру Герцену, мятежному Бакунину и тишайшему Кудрявцеву, реакционеру Каткову и свободолюбивому Огареву... Он завязал отношения и с рядом западных общественных деятелей: в 1846—47 г.г. он даже переписывается с Карлом Марксом и высказывается весьма радикально и даже революционно. Но радикализм и революция были только позой. Никаким «убеждениям» этот деловитый и аккуратный человек не был верен и предан. Русский барин, осторожный турист, литературный критик, хитрый делец, один из первых собирателей материалов и документов для биографии Пушкина, редактор монументального издания произведений поэта — Анненков занял влиятельное место в литературной жизни того времени.

Знакомство Тургенева с Анненковым относится к 40-м г.г. Общность их «убеждений» сыграла роль в их сближении. И Некрасов не слишком пре-

увеличил, когда в своей ехидной эпиграмме «Социалист», недавно найденной и полностью опубликованной К. Чуковским, затронул друзей:

За то, что ходит он в фуражке  
И крепко бьет себя по ляжке,  
В нем наш Тургенев все замашки  
Социалиста отыскал.

Они оба нужны были друг другу. Непоседа - Тургенев, вечно скитавшийся сначала по России, а потом по Западу и с начала 60-х г.г. плотно засевший там—всегда нуждался в аккуратном и культурном корреспонденте в России. Анненков как нельзя лучше подходил к роли русского корреспондента Тургенева: планомерно извещая его о всех событиях в области русской литературы и общественности, Анненков в то же время проводил в столице все необходимые писателю дела, вплоть до урегулирований «сердечных» дел Тургенева. И, наконец, критическое чутье Анненкова под конец подхватило себе Тургенева, который первому ему давал для прочтения свои рукописи и всегда считался с его мнением. «Первому Анненкову я всегда показываю свои рукописи. Я верю в его чутье»,—сказал как-то сам Тургенев в беседе с писательницей А. А. Венициной.

Переписка Тургенева с Анненковым—богатейший материал для биографии И. С., для истории творческих замыслов почти всех наиболее совершенных его произведений, блестящий калейдоскоп литературных и общественных интересов той эпохи. Десятки крупнейших мастеров слова и людей искусства России и Запада, их личная жизнь и их творения оживают перед нами с пожелтевших страниц этой переписки. Почти бесперывных тридцать лет—с 1852 по 1882 г. продолжалась их переписка, которая является, пожалуй, самым ценным в эпистолярном наследии Тургенева.

Судьба этой замечательной переписки весьма плачевна. Публикация их переписки началась уже давно, вскоре после смерти Тургенева самим Анненковым. Запыленные, неведомые читающим массам отдельные книжки «Русского Обозрения», «Вестника Европы», «Нашей Старины», «Щукинских Сборников», «Литературной Мысли» хранят в себе свыше двухсот писем великого писателя к Анненкову. На продолжении сорока с лишним лет на страницах многих и многих изданий разбросаны эти замечательные документы, плохо прочитанные, скверно прокомментированные и нередко совершенно не датированные. Так они и остаются малодоступными и маловедомыми читающим массам. О неопубликованной части их переписки—по количеству и содержанию никак не уступающей уже опубликованной—говорить не приходится. Лишь несколько специалистов историков литературы знают, какие замечательные страницы живого Тургенева хранят в себе сотни еще неопубликованных писем.

Публикуемая нами пачка писем Тургенева к П. В. Анненкову, относится к двум хронологическим периодам. Первые шесть писем относятся к 1854—55 г.г.—к двухкратному за этот период пребыванию Тургенева в селе Спасском. Ценные автобиографические высказывания (об М. Н. Толстой), интересные бытовые детали (о пребывании Григоровича, Дружинина и Боткина в Спасском), отзывы о новинках русской литературы—вот содержание этих писем. Остальные шесть писем относятся к 1871—72 г.г. и написаны из Парижа. Это—типичные письма - указания Тургенева своему «полпреду» в России: просьба продержать корректуру, прислать книги, получить деньги, передать статью по назначению...

Письма воспроизводятся с буквальной точностью, но без соблюдения орфографии.

Комментарии к письмам сделаны И. С. Зильберштейном.

П. Е. Щеголев.

## 1

С. Спасское.

Вторник, 28-го сентября 1854 г.

Любезный П. В. Спасибо Вам за исполнение поручения и за то, что не забыли написать о нем. Вот умница! Мы с Некрасовым здесь уже с неделю, каждый день ходим на охоту (вальдшнепов, однако, не очень много),—я чуть было не выколол себе глаз об ветку и два дня сидел дома,—впрочем, все обстоит благополучно.—Теперь 7-й час утра и я Вам пишу это, собираясь на охоту.—Пожалуйста, пишите к нам, сообщайте известия и главное—не проигрывайте 30 рублей серебром.—Это совершенно неприлично.

Жму Вам руку и остаюсь  
преданный Вам  
Ив. Тургенев.

Письмо П. В. Анненкова с уведомлением об «исполнении поручения» в печати неизвестно.—Подлинник его хранится в части архива И. С. Тургенева, находящегося в Пушкинском Доме Академии Наук СССР.

Н. А. Некрасов, приехавший к Тургеневу в Спасское на охоту, пробыл здесь до 3-го октября <sup>1)</sup>.

## 2

С. Спасское.

Понедельник, 1-го ноября 1854.

Прежде всего, любезный Анненков, поздравляю Вас с окончанием многотрудного Вашего дела, т.-е. с окончанием начала этого дела. Дай бог в добрый час.—Объявление хорошо—одна только фраза: «хоть отчасти достойное ее», т.-е. публики, мне уж слишком кажется почтительной.—Распространю здесь известие об издании (и уже распространял),—впрочем, мне сдается, что подписчики и так найдутся во множестве.

Спасибо за утешение насчет войны, а то я каждую ночь вижу Севастополь во сне. Как бы хорошо было, если б прижали незваных гостей. Несколько рано похвастался лорд Абердин.

Я здесь познакомился с семейством Толстого, автора «Отрочества», и много узнал подробностей о нем.—Видел его портрет.—Сестра его—(тоже замужем за графом Толстым)—одно из привлекательнейших существ, какие только мне удавалось встречать.—Мила, умна, проста—глаз бы не отвел.—На старости лет (мне четвертого дня стукнуло 36 лет)—я едва ли не влюбился.—Я вижу отсюда, как у Вас круглятся глаза и губы, раскрывшись, испускают звук: кгха, кгха, кгха—что по-Вашему значит смеяться, но не могу скрыть, что поражен в самое сердце. Я давно не встречал столько грации, такого трогательного обаяния... Останавливаюсь, чтоб не завратиться—и прошу Вас хранить все это в тайне. Они будут жить в Москве нынешней зимой—и если Вам можно будет оторваться на несколько дней от издания Пушкина для юбилея Московского Университета (в январе месяце)—я Вас познакомлю.

<sup>1)</sup> См. А. Н. Пыпин. Некрасов, П. 1905 г., стр. 120—122.

Бог знает почему,—но не могу ничего делать.—В голове копошится многое,—но лень взяться за перо. А надо бы.—И Краевскому нужно обещание сдержать, и Некрасов требует что-нибудь для 1-ой или 2-ой книжки.

Спасибо за высылку книг.—В книгах Б. нашлось дорогое и отличное издание *Histoire Naturelle des Oiseaux* Бюффона с прекрасными рисунками (сделанными в 1773 году).

Я в Петербург приеду, вероятно, около 20-го ноября.—А пока будьте здоровы и веселы и не забывайте

Вашего Ив. Тургенева.

P. S. Je reviens à mes moutons.—Небось, вспомнил некоторые поздние наши прогулки из Миллионной в Морскую нынешней зимой, прогулки, оканчивавшиеся обыкновенно всеожрачением битка у Дюссо.—Вы подумаете: эка влюбчив, старый чорт!—Что делать! Чувствительным сердцем одарен от природы, Павел Васильевич!—Но повторяю усиленную просьбу о содержании всей этой операции в тайне.—Странно мне, что я Вас всегда избираю в конфиденты. — В «Отрочестве» Толстой описал свою сестру под именем Любочки. Только у ней теперь ноги «не гусем», и талия прекрасная.

Ma basta, ma basta per preta—как поет Лаблаш в Фигаро.

Да! пожалуйста, напомните Некрасову, чтоб он выслал мне XI-й № «Совр-а», если он его еще не выслал.

«Многотрудное дело» Анненкова—подготовка к изданию первого—не считая посмертного—капитального издания сочинений Пушкина, первый том которого вышел в свет в феврале следующего 1855 года. В ознаменование этого события 17-го февраля П. В. Анненкову его друзьями Тургеневым, И. И. Панаевым, В. П. Боткиным, А. Ф. Писемским, А. К. Толстым, Я. П. Полонским и др. был дан обед <sup>1)</sup>.

О таланте Л. Н. Толстого Тургенев в те годы—как и в последние годы своей жизни—всегда отзывался восторженно. «Это талант первостепенный»,—писал И. С. своему приятелю-журналисту Е. Я. Колбасину 29-го октября 1854 года, прочитав «Отрочество» <sup>2)</sup>.

Ценные автобиографические признания «старого чорта» о своей «влюбчивости» относятся к Марии Николаевне Толстой. В Тургеневской литературе об этом увлечении писателя до сих пор были лишь краткие отрывочные сведения.

Юбилей Московского Университета, приуроченный к столетию со дня его открытия, праздновался 12—14 января 1855 года.

«Обещания Краевскому» — редактору журнала «Отечественные Записки» — относятся к предложению Тургенева печатать в этом журнале с нового года свой большой роман. Свое «обещание» Тургенев так и не сдержал, так как в декабре того же года взял свое предложение обратно <sup>3)</sup>.

«Требование» Некрасова — тогдашнего фактического редактора журнала «Современник» — Тургенев удовлетворил: в январской книжке этого журнала за 1855 год появилась комедия «Месяц в деревне» (в искаженной редакции по требованию цензуры).

Дюссо—известный Петербургский ресторатор.

<sup>1)</sup> См. «Исторический Вестник» 1907 г., № 8, стр. 512.

<sup>2)</sup> Первое собрание писем И. С. Тургенева. П. 1885 г., стр. 9.

<sup>3)</sup> См. Отчет Публичной Библиотеки за 1890 год.

## 3

С. Спасское.

13 мая 1855.

Любезный Анненков,

Во - первых, прилагаю Вам письмо к А. К. Толстому; во - вторых, извещаю Вас, что вчера приехали сюда Боткин, Григорович и Дружинин.— Очень часто вспоминаем об Вас и жалеем, что Вас также нет здесь. Мы надеемся провести время здесь приятно—устраиваем между прочим кегли—вино нам привезли и т. д.—Некогда писать подробно.—Вы опять скажете, что мои письма коротки,—но что же делать!

Погода славная — других новостей у меня нет, — но какая новость может быть лучше этой? Я все еще надеюсь, что Вы сюда приедете—хотя Вы с такими светлыми взорами обещали, что нельзя было не усомниться!

Кстати, не забудьте написать, куда именно поехали Тургеневы и как их адрес?—До свидания.

Преданный Вам Ив. Тургенев.

---

Письмо Тургенева к А. К. Толстому в печати известно: оно было опубликовано в 1921 году в одном из юбилейных тургеневских сборников <sup>1)</sup>).

«Мы время проводили очень весело»,—вспоминал в том же году Тургенев в письме к Я. П. Полонскому о гостивших у него Боткин<sup>е</sup>, Дружинине и Григоровиче.—В одном из неопубликованных писем Дружинина сохранились любопытные бытовые сведения об одной из подобных встреч, весной 1854 года, по поводу возвращения В. П. Боткина из заграничного путешествия:

«На другой день моего возвращения прикатил в Петербург и Боткин. Он остался всего дня три, и мы обедали в дружеской компании сперва у Тургенева, потом у меня. Васинька был обворожителен, особенно рассказывал про одну французку, которая первая научила его «владеть языком» (Vous comprenez ce calembours abominable!). В половине рассказа Панаев от восторга чуть не упал с качающегося кресла, а Тургенев впал в истерику, и поднял такой крик, что матушка в своей комнате испугалась. Потом Боткин повел Тургенева к своей карете, весь превратился в мед и поцеловал шинель Ивана Сергеевича...» <sup>2)</sup>).

## 4

С. Спасское.

2 июня 1855 г.

Любезный Анненков,

Вчера уехали от меня Григорович, Дружинин и Боткин, погостив у меня три недели—и сегодня я пишу к Вам, что до сих пор было почти невозможно. Мы проводили время очень приятно и шумно—разыграли на домашнем театре фарс нашего сочинения и пародированную сцену из Озеровского

---

<sup>1)</sup> См. Б. Л. Модзалевский. «Неизданные письма И. С. Тургенева».—«Тургеневский сборник» под редакцией А. Ф. Кони. Петербург, 1921 г., стр. 197—200.

<sup>2)</sup> Цитируем по данному автографу А. В. Дружинина, хранящемуся в архиве Д. В. Григоровича в Российской Публичной Библиотеке.

«Эдипа», в костюмах, с декорациями, занавесом, публикой, вызовами, соперничеством, и маленькой даже интрижкой—словом, со всеми принадлежностями домашнего театра; ели и пили страшно, играли в бильярд, кегли, катались на лодке, ездили верхом, ввали и говорили серьезно до 2-х часов ночи—словом, кутили; а теперь я один и не прочь отдохнуть от этой шумной жизни; если удастся, намерен даже поработать. Я здесь останусь три недели; а там поеду в самую глушь Полесья, за 250 верст отсюда—стрелять тетеревов.—Я Вас, вероятно, не увижу в нынешнем году—Вы до 20 июня вряд ли выберетесь из Петербурга, но если б это Вам удалось, то знайте, что до 25 я буду дома и очень обрадуюсь Вашему приезду.—В таком случае не забудьте захватить с собой мою *Revue des Mondes* от Исакова-Пушкина. Вы мне во всяком случае пришлите, как только он будет кончен. Спасибо за хлопоты о Беленковых—письмо мое к Толстому Вы, вероятно, уже получили.—Насчет Феоктисты дело выходит скверно—тем более, что это дело не моих рук—пожалуйста, оказывайте ей свое покровительство, а ей на-днях вышлю опять рублей 25, скажите ей это.—Не забудьте мне прислать адрес, где живут Тургеневы в деревне—пожалуйста, не забудьте. Я опять что-то стал часто думать об О. А.—Очень бы хотелось посмотреть книгу Чернышевского—я о ней пишу к Базунову.—Колбасин благодарит Вас за Ваш отзыв об его повести—он совершенно справедлив.—Теперь ему остается трудиться и работать,—а начало не худо. Есть талант—надобно его разработать. К сожалению «Современника» все еще здесь нет, хоть «От. Зап.» давно присланы—это, однако, стыдно Панаеву—*puisque Panaieff il y a*. Мне что-то сдается, что «Современник» скоро затрещит.

Григорович скоро будет в Петербурге и расскажет Вам про наше житье-бытье.—Здоровье мое не худо—одно скверно—холера, говорят, проявилась в Карачеве и сюда идет.—Но что будет,—то будет!

У нас стоит засуха.—Травы все пропали—и овсы едва ли не пропадут вместе с остальным яровым хлебом. Не весело!

Я Вам вышлю 15 руб. (вместе с 25-ю для Ф.) с будущей почтой.—Кетчера запишите на меня.

До свидания... но когда? В июне надеяться нечего—авось, в сентябре. Будьте здоровы и пишите. Кстати, почему Вы велели Колбасину сказать мне, что я «штучка»?—Непонятно!

Преданный Вам

Ив. Тургенев.

Р. S. Сообщите мне также адрес Смирновой (А. О.).

---

«Фарс нашего сочинения», разыгранный в Спасском—комедия «Школа гостеприимства», написанная Тургеневым, Дружининым, Боткиным и Григоровичем и представленная ими в Спасском 26 мая 1855 года <sup>1)</sup>.

Исаков—издатель, владелец книжного магазина.

О. А.—Ольга Александровна Тургенева, однофамилица писателя, к которой он сватался.—Много лет спустя, узнав о ее смерти, Тургенев писал Анненкову:

<sup>1)</sup> См. Первое собрание писем, стр. 13—14.



«Одним прекрасным чистым существом на свете меньше. Многое мне вспомнилось... Вспоминалось горько. Набегают... набегают тени на жизнь, и падают они не на одно настоящее или будущее, но и на прошедшее. И то становится тусклее и туманнее»<sup>1)</sup>).

«Книга Чернышевского» — знаменитая диссертация его — «Эстетические отношения искусства к действительности», вышедшая в свет в 1855 году.

«Феоктиста» — крестьянка Феоктиста Петровна Волкова, с которой Тургенев был в связи в 1851—1853 г.г.<sup>2)</sup>

Базунов — владелец книжного магазина.

Тургеневы — семья П. Н. Тургенева — дяди писателя.

Смирнова А. О. — известная Александра Осиповна, рожд. Россетт, друг Жуковского; Пушкина, Аксакова и т. д.

## 5

С. Спасское.

15 июня 1855.

Спасибо за письмо, любезный П. В., — но отчего Вы мне не прислали адреса Тургеневых, о котором я Вас просил? — Мне это очень нужно — пожалуйста, пришлите. — Также, если Вы что-нибудь можете сделать до Вашего отъезда в пользу Беленковых — очень бы я был Вам благодарен. Мне очень досадно, что я Вас еще не скоро увижу — я отсюда еду дней через 10, — а Вы, я думаю, раньше первых чисел июня не выберетесь из Петербурга. Хоть в сентябре заезжайте. — А что делает Феоктиста?

Мы здесь радуемся отражению севастопольского штурма (6 июня), — но, может быть, уже с тех пор он был повторен. А то все были известия не веселые. Иностранные газеты хоть в руки не бери.

Я принялся понемногу опять за работу — что-то выйдет? — Время здесь стояло ужасное; такая-было сделалась засуха, — что должно было опасаться голодного года; все мы ходили в одних рубашках, сидели в темных комнатах — это было нечто ужасное, в роде тюремного заключения — и напоминало даже Уголино и другие жестокие случаи. — Теперь, слава богу, это миновало — пошли дожди — и мы ожили.

После ликований и беснований, о которых Вам, вероятно, рассказал Дружинин или Григорович, настала великая тишина, которой я, между прочим, рад. — Но я также рад прошедшим беснованиям и особенно нашим вечерним беседам, из коих многие весьма были приятны и поучительны.

Здесь еще холеры нет, — но мы ее ждем, — а желудок мой сперва был хорош, потом расклеился, теперь справился.

Жаль бедного Абазу. Изю всего семейства он только один и был порядочный. А что делает m-me Милютин?

Толстых я вижу довольно часто — напишите мне, хороша ли статья Толстого — «Севастополь» — ибо книжка «Современника», в которой она

<sup>1)</sup> О ней см. записку Н. Г. Богдановой в «Тургеневском сборнике», под редакцией Н. К. Пиксанова, а также Первое собрание писем..., стр. 118—119. Здесь же опубликовано одно интимное письмо Тургенева к И. И. Маслову от 18 июня 1865 года, касающееся Феоктисты.

<sup>2)</sup> См. Л. Н. Майков «Переписка И. С. Тургенева с П. В. Анненковым» — «Русское Обозрение» 1898 года, № 4, стр. 371—372.

помещена—раньше 8 или 10 июля не будет. Бог их знает, как они распорядятся!

Прислал мне Боткин статью Дружинина (в «Библ. для Чт.») о Вашем издании Пушкина. Очень она хороша, хоть мне досадно, что он не замечает или не хочет заметить исторического значения Гоголя.—Если же он скажет, что об этом значении трудно распространяться, то лучше было совсем пройти Гоголя молчанием. Но, все-таки, много хорошего в его статье.

Прощайте, любезный П. В. — будьте здоровы — и приезжайте в сентябре,—а пока пишите.

Преданный Вам  
Ив. Тургенев.

Р. S. Еще просьба и очень важная: не можете ли Вы достать мне деревенский адрес Льва Вакселя? Вероятно, его знают на его городской квартире, у Старообрядческой церкви, в доме Сивкова.—Не забудьте также адрес Смирновой.

Письмо Анненкова, упоминаемое Тургеневым—в печати до сих пор неизвестно.

Л. Н. Ваксель—частый спутник Тургенева по охоте. Письма И. С. к нему см. в «Современнике» 1913 года, № 7, стр. 265—266, и в «Сборнике Российской Публичной Библиотеки», т. I, вып. I.

6

С. Спасское.  
1 июля 1855.

Любезный Анненков,

Буду краток—ибо, во-1-х, не знаю, застанет ли мое письмо Вас в Петербурге,—а, во-2-х, здесь холера свирепствует—и это сильно действует на мои способности.

1) За Беленкова спасибо; пусть будет все так, как Вы сделали. Это прекрасно.

2) 15 рублей Вам вручит Колбасин. Ему же поручается Феоктиста.

3) Повесть Нарской в июньской книжке «Современника» прелесть—в первый раз женщина заговорила в литературе,—а Чернышевского, за его книгу,—надо бы публично заклеить позором. Это мерзость и наглость неслыханная.

4) Я не поехал на охоту оттого, что там, куда еду, холера,—но так как она и здесь сильна, то все равно—я еду завтра.

5) Сообщите мне Ваш деревенский адрес и пишите. Надеюсь, что Вы не забудете выслать мне всего Пушкина.

6) С графиней—все дела покончены и сданы в архив.

Прощайте—будьте здоровы и до свидания—если холера позволит.

Преданный Вам  
Ив. Тургенев.

Отзыв Тургенева о Нарской лишний раз подтверждает правильность указания «Сонника» поэта Н. Ф. Щербины, где сказано: «Тургенева во сне видеть—предвещает получить тонкую способность суметь откопать талант там, где его вовсе нет»<sup>1)</sup>

«Гадкая книга Чернышевского», как назвал диссертацию Чернышевского в письме к А. А. Краевскому, навлекла на себя еще несколько отрицательных отзывов И. С. в его письмах к друзьям. «Книгу Чернышевского, эту гнусную мертвечину, это порождение злобной тупости и слепости не так бы следовало разобрать, как это сделал г-н Пыпин»,—писал Тургенев 10 июля И. И. Панаеву<sup>1)</sup>.

7

П а р и ж,

Rue de Douai, 48.

Пятница, 24 (12) ноября 1871.

Вот я, наконец, и в Париже, любезнейший Павел Васильевич,—но первый блин вышел комом: не успел я приехать сюда, как подагра—в 4-й раз в течение трех месяцев!—меня схватила и уложила немедленно в постель. Впрочем, на сей раз она особую злобу не оказала—и я сегодня уже могу ходить по комнате. Весь дом, в котором я живу, и который, как Вам, вероятно, известно, принадлежит г-же Виардо, кверху наполнен работниками, которые отделяют, чистят, скребут, таскают мебель и пр., и пр., что для моей работы весьма зловредно, а работать я должен—ибо надо, во-1-х, кончить переписку моей повести и Вам ее прислать не позже 2-х недель,—ибо Стасюлевич взывает! а, во-2-х, я взялся написать для того же Стасюлевича некрологическую статью о нашем почтенном Николае Ивановиче.

Жду от Вашего благодушия присылки первого года «Русской Старины», да, кстати, пришлите мне книгу П. Полевого—«История литературы в очерках и биографиях» и «Календарь Суворина».

Кстати, из письма Луизы Геритт узнал, что Гэ намерен прислать мне бюст Белинского, но не знает: куда?—Скажите ему—во-первых, от моего имени великое спасибо, во-вторых, пусть он посылает этот бюст сюда. Но только мне самому его взять будет затруднительно—да я еще и не знаю наверное, как я отделаюсь в Питере.

Антокольский отыскан—Стасов извещает меня об этом. Я очень рад.

Скажите, наконец, будет или не будет Орлов нашим послом в Париже?

За сим, прощайте, будьте здоровы—обнимаю Вас и кланяюсь всем Вашим.

Ив. Тургенев.

Повесть, о которой пишет Тургенев в этом письме—«Вешние Воды», которые действительно были напечатаны в «Вестнике Европы» (в первой книжке 1872 года).

Некролог о «Николае Ивановиче» (Тургеневе-декабристе)—был действительно Тургеновым написан и напечатан в декабрьской книжке «Вестника Европы» за 1871 год.

<sup>1)</sup> И. И. Панаев. «Литературные воспоминания». Изд. В. М. Саблина. Москва, 1912 г., стр. 428.

С Антокольским Тургенев познакомился в январе того же 1871 года. К его таланту писатель относился с большим уважением. Есть рассказ самого Антокольского о первой встрече его с Тургеневым <sup>1)</sup>.

Луиза Геритт — оперная певица, одна из петербургских знакомых Тургенева. О ней см. в письме Анненкова к Тургеневу от 30 октября 1871 года <sup>2)</sup>.

Орлов, Николай Алексеевич, сын известного любимца Николая I, шефа жандармов князя А. Ф. Орлова — действительно был назначен послом в Париже. — «Он мне чрезвычайно понравился», — писал Тургенев 16 января 1857 года А. И. Герцену после знакомства с Орловым <sup>3)</sup>.

## 8

П а р и ж.

Rue de Douai, 48.

Пятница, 8 дек. (26 нояб.) 1871.

Вот Вам, любезнейший П. В., наконец, и моя повесть. — За сим следует просьба:

1) Прочтя, сказать нелицемерное мнение. — Если что следует поправить — то хотя для «В. Е.» поздно, но для отдельного издания все примется к сведению .

2) Передать немедленно Стасюлевичу — и п р о д е р ж а т ь к о р р е к т у р у. — Вы знаете — или не знаете, как я страдаю от опечаток.

3) Известить меня телеграммой (на мой счет) о получении рукописи. — Она мне стоила дьявольского труда — и я бы желал поскорее знать, что она не пропала и что она в Ваших руках.

4) Цена — как Вам известно — 400 р. сер. за печатный лист «В. Е.». А за сим — *vaque la galère!*

NB. *Conditio sine qua* поп: сия повесть должна быть помещена в одном номере; на разбивку я не согласен. Я получил «XIX-й Век», «Старину» и т. д., за что благодарю душевно.

Лонгинов — начальник прессы!! *Ce seul mot dit des volumes.*

Позвольте Вас побранить за то, что Вы вообразили, что моя повесть минует Ваших рук. — Пока я жив, *vous aurez mes primeurs* — радуйтесь или огорчайтесь этому или этим — как хотите.

У нас здесь белая зима и белая республика, которая того и гляди превратится в монархию. В комнатах от 8 до 10 градусов. — Это не то, что у Вас счастливицков!

Я приеду к Вам погреться.

Непременно в январе.

Вот 2 стиха... Приберите остальные.

Целую всех Ваших и Вас

Ив. Тургенев.

P. S. Телеграмму посылайте, пожалуйста.

<sup>1)</sup> См. «Вестник Европы» 1887 г., октябрь, стр. 465 — 466.

<sup>2)</sup> См. «Русское Обозрение» 1898 г., март, стр. 15.

<sup>3)</sup> См. А. И. Герцен. Сочинения, под ред. М. К. Лемке, т. VIII, стр. 391.

Повесть, посланная Тургеневым вместе с этим письмом — «Вешние Воды». — Повесть, как просил И. С., была помещена в одном номере журнала.

Лонгинов, Николай Михайлович — историк литературы и библиофил поколения 60-х г.г., друг Тургенева. В 1871 году был назначен начальником главного управления по делам печати. — «Я не встречался с тобою во время твоего губернаторства — авось встречу теперь, когда петербургская пресса отдана в твои руки», — писал иронически Тургенев 24 января 1872 года Лонгинову <sup>1)</sup>.

## 9

П а р и ж.

Пятница, 8 дек. (26 нояб.) 71.

Любезнейший П. В. — Это письмо не имеет иной цели, как только уведомить Вас, что сегодня же отправляется на Ваше имя громадный пакет с повестью — застрахованный. Он мне стоил такого труда, что я трепещу, как бы он не пропал, и потому извещаю Вас особым письмом. — Было бы очень мило, если б Вы дали мне знать, что получили пакет — телеграммой (на мой счет, разумеется — она стоит 10 франков). — Вместе с посылкой отправлено было обстоятельное письмо.

Обнимаю Вас

Ваш И. Т.

## 10

П а р и ж.

48, rue de Donai.

Среда, 20 (8) дек. 71.

Любезнейший П. В., — получив прилагаемую статейку, Вы, вероятно, воскликнете: «Откуда мне сие?» Но вот в чем дело. В Петербурге издается «Журнал охоты» — и я довольно давно обещал редактору этого журнала, некоему А. Николлаеву — написать что-нибудь для него, и он даже объявил об этом в своем журнале. Вот я и настроил ему этот пустячок. — Но так как такого рода издание недолговечно, то прошу Вас доставить г-ну Николаеву мою статейку и если журнал будет издаваться в 72-м году, оставить ее ему (конечно, безо всякого вознаграждения); если же журнал его волею божией помре или помрет с нового года, то сохраните ее у себя — так как... (оборвано), который тоже собирается издать какой-то альманах, и которому я тоже обещал — я бы в таком случае послал ему «Пегаса», — но я буду пока ждать Вашего оповещения.

Молчание Ваше о моей повести заставляет меня чесать у себя за ухом; — я начинаю думать, что она Вам не понравилась и Вы не знаете, как сообщить мне этот факт. — Валяйте! Кожа у меня толстая.

Рекомендую Вам все-таки мой продукт с корректурной точки зре-

<sup>1)</sup> См. С. А. Шахматова. Переписка Тургенева с М. Н. Лонгиновым. Сборник Пушкинского Дома на 1923 год. ГИЗ, стр. 211.

ния.—На что маленькая статья о Н. И. Тургеневе—а и тут не обошлось без опечаток.

Я полагаю подписаться на те же журналы, как и в прошлом году: «Вестник Европы», «Беседа», «Отечественные Записки», «Дело», «Р-ая Старица», «Русский Архив» и «С.-П.-бургские Ведомости».

Сообщите — если возможно — что справедливого в нелепом, здесь распространенном слухе о распре наследника с германским посланником принцем.

Кланяюсь всем Вашим и всем приятелям. Крепко жму Вам руку.

Адрес редакции журнала «Охота» . . . . . (оборвано).

P. S. Прокорректируйте и «Пегаса», благодетель!

---

Вместе с этим письмом Тургенев прислал Анненкову статью охотничьего содержания под заглавием «Пегас». Статья эта предназначалась писателем для «Журнала Охоты», редактированного неким А. Николаевым.— О судьбе этой статьи см. примечание к следующему письму.

Интересно отметить, что в № 29 «Журнала Охоты» того же 1871 года (от 3 сентября) приведено следующее любопытное извещение редакции: «Иван Сергеевич Тургенев почтил нас письмом от 14—26 августа, в котором обещает прислать для помещения в нашем журнале корреспонденцию об охоте его за тетеревами, которой он в начале августа месяца занимался в Северной Шотландии в течение нескольких дней». — Кроме того, в следующем году в номере 9 этого журнала, который тогда уже редактировался В. Ильиным, мы находим следующее извещение: «В числе материалов, которые она (редакция) уже получила или получит в течение лета для напечатания в журнале, находятся литературные произведения охотничьего содержания.. «Охота на друзов в Шотландии» И. С. Тургенева». — Несмотря на усиленные поиски наши в комплектах этого журнала и в тогдашней периодической охотничьей литературе нам не удалось отыскать этот очерк Тургенева.

11

П а р и ж.

48, rue de Donai.

Суббота, 23 (11) дек. 71.

Любезнейший П. В., — доставьте, пожалуйста, прилагаемое письмо Д. В. Григоровичу. — Я его адреса не знаю, но он постоянно пребывает по утрам в помещении «Постоянной художественной выставки» — у Полицейского моста.

Меня просили некоторые знакомые узнать, какая настоящая фамилия Ближнева, автора «Семейства Снежных», романа, помещенного в «Вестнике Европы» — и кто он такой.

Молчание Ваше поучительно—и, как говорится, *sapienti sat*.—Я утешаюсь мыслью, что если бы Вы нашли мою повесть уж вовсе из рук вон плохую, Вы бы, как истинный друг мой, наверное, взяли бы на себя не отправить ее Стасюлевичу, как Вы не можете сомневаться в полном доверии, которое я питаю к Вашему вкусу.

Я получил толстую книгу Полевого и номер «Отеч. Записок» (а также и «Русский Календарь Суворина») и за все сие благодарю.

Крепко жму Вам руку и остаюсь

Преданный Вам

Ив. Тургенев.

P. S. Знакомы ли Вы с П. В. Жуковским, сыном поэта, — и не можете ли Вы мне сказать, находится ли он в Петербурге?

Письмо Тургенева к Д. В. Григоровичу, отправленное через Анненкова — в печати известно<sup>1)</sup>.

П. В. Жуковский, сын поэта, в то время действительно находился в Петербурге. Его переписка с И. С., относящаяся к этому периоду, хранится в парижском собрании автографов А. Ф. Онегина и недавно издана<sup>2)</sup>.

12

П а р и ж.

48, rue de Donai.

Воскресенье, 31 (19) янв. 72.

Ох, любезнейший П. В., — и обрадовали Вы меня и зарезали своим письмом! Обрадовали теми похвалами, которые Вы расточаете моим «Водам», а зарезали неотразимой верностью Вашего упрека насчет развязки! Представьте себе — что в первой редакции оно было именно так, как Вы сказывали — точно Вы прочли ее. Беда моя на этот раз состояла в том, что я не успел прочесть перед изданием мою повесть никому, ни г-же Виардо (что я до сих пор всегда делал, переводя на французский язык), ни Вам — так, несмотря на все переделки — она пошла в дело сырою. — Этой беде теперь уже помочь нельзя — но, конечно, при отдельном печатании Санин до некоторой степени реабилитируется. — Я, кажется, писал Стасюлевичу о напечатании 10 отдельных оттисков и о присылке их — а также и январского номера сюда, но Вы напомните. Сверх того, скажите ему, что, по просьбе моего управляющего, я желаю, чтоб один экземпляр «Вестника Европы» посылался по следующему адресу: Орловской губернии, в город Мценск, г-ну управляющему именем Тургенева, Никите Алексеевичу Кишинскому. Деньги на подписку прошу вычесть из суммы, которую я получу за В(ешние) В(оды).

«Пегаса» оставьте у себя, пока я не получу ответа от своего казанского охотника - корреспондента (издателем журнала «Охота» был не Иванов, — а Николаев; а имя Гиероглифова меня пугает).

Г-жу Шнейдер следовало ошибаться. — На что нам, пожалуйста, этот разбитый урыльник?

Кланяюсь всем, а Вам дружески жму руку.

Ваш Ив. Тургенев.

P. S. Будьте так добры, вытребуйте от редакции «В. Е.» мою рукопись «Вешних Вод» — и сохраните ее до моего приезда.

<sup>1)</sup> См. Первое собрание писем..., стр. 199.

<sup>2)</sup> См. Сборник «Недра», № 4.

Вот отзыв П. В. Анненкова о «Вешних Водах», «зарезавший» Тургенева: «После последнего листа корректуры дивной повести «Вешние Воды» пишу Вам, мой почтенный друг. Вышла вещь блестящая по колориту, по энергии кисти, по завлекательной пригонке всех подробностей к сюжету и по выражению лиц, хотя все основные мотивы ее не очень новы, а мысль-матерь уже встречалась и прежде в Ваших же романах... Пророчу Вам крики восторга со стороны публики: такого напряжения поэтической силы, изобретательности и стилистических чудес она давно уже от Вас не получала. У меня тоже нервы были взбудоражены и потрясены (а они ли не патентованные у меня!), но голову я успел кое-как сохранный от Вас, хотя и не без труда: многие ее не сохранят... Моя претензия на здравомыслие или, что все равно, — мое сумасшествие опирается на другие основания. Я, например, могу понять, что Санин под кнутом Полозовой мог проделывать отвратительнейшие скачки, но не могу понять, как он сделался лакеем ее, после пережитого процесса чистой любви. Это выходит страшно эффектно в повести — правда! Но и страшно позорно для русской природы человека. Не знаю, может быть, вы это имеете и имели в виду, но тогда как объяснить изумительную картину великолепнейших связей с Джеммой, без малейшей примеси ядовитого вонючего вещества? Уж лучше бы вы прогнали Санина из Висбадена домой, от обеих любовниц, с ужасом от самого себя, страдающего, гадкого и не понимающего себя, а то выходит теперь, что человек этот способен одинаково вымокивать вкус божественной амброзии и жрать калмыком сырое мясо... брр! Но что вам за дело до этих тонкостей, когда вас ожидает громадный успех, и когда я сам, под действием изумительного рассказа, едва мог отыскать причину того осадка на душе, который он оставляет после себя, при самом удовлетворительном ее настроении»

Интересно отметить, что несколько месяцев спустя (25 марта 1872 г.) Тургенев, в письме к переводчику Дуран-Гривиллю, писал, что он собирается конец повести «смягчить», введя в нее новую сцену<sup>1)</sup>.

Очерк «Пегас» так и не появился в журнале «Охота». — Журнал «Охота» с Ивановым провалился, а с 1872 года будет другой с Гиероглифовым. «Придержу «Пегаса», — писал Анненков 14 декабря Тургеневу. Последний, позже, передал «Пегаса» своему «казанскому охотнику-корреспонденту» — П. Васильеву, который в 1874 году выпустил этот очерк отдельной брошюрой.

Г-жа Шнейдер — почтенная оперная певица, царившая в те годы на оперной сцене столицы. Отзыв Анненкова о ней см. в его письме к Тургеневу от 14 декабря 1871 года<sup>2)</sup>.

Никита Алексеевич Кишинский — управляющий имением Тургенева. В рукописном отделении Российской Публичной Библиотеки хранятся 239 писем к нему Тургенева за годы 1866—1876; в громадном большинстве эти письма до сих пор в печати неизвестны.

Отметим, что письмо это самим Тургеневым неправильно датировано 1871 годом; без сомнения, это описка.

<sup>1)</sup> М. Е. Гальперин-Каменский. И. С. Тургенев. Незданные письма к г-же Виардо и его французским друзьям». Москва. 1900 г., стр. 337.

<sup>2)</sup> Л. Н. Майков. Переписка И. С. Тургенева с П. В. Анненковым. «Русское Обозрение» 1898 года, март, стр. 18—19.



# Критические заметки

## ХУДОЖНИК И КЛАССЫ

(О теории „социального заказа“)

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ

### I

Литературные споры последнего пятилетия вращались вокруг проблемы, которая должна быть признана центральной, — пролетариат, революция, искусство. Все группировки, от крайних правых до крайних левых, каждая на свой лад, реакционно или революционно пытались разрешить именно ее. Это была ось, вокруг которой совершалось литературное движение.

Здесь нет ничего удивительного. Напротив. Было бы странно, если бы другая литературная проблема заняла центральное место в эпоху, когда впервые в мировой истории рабочий класс захватил и удержал государственную власть. Вслед за этим захватом должны были встать перед пролетариатом вопросы об овладении всеми культурными ценностями, в том числе ценностями литературы и искусства, и о творческом преодолении их.

Можно было бы написать большое исследование (рано или поздно оно будет написано), чтобы показать, какими иной раз хитрыми и замысловатыми путями литературная мысль наших дней кружится вокруг этой проблемы, то приближаясь к ее правильному пониманию, то уходя далеко в сторону. Размеры журнальной статьи не позволяют нам сейчас заняться этим вопросом вплотную. Мы ограничимся поэтому заметками, в которых коснемся лишь теории, более других как будто имеющей

сторонников. Мы говорим о теории «социального заказа».

Теория эта весьма популярна. Изобретенный, насколько мне известно, в недрах «Лефа», «социальный заказ» пришелся, очевидно, по вкусу. Разговоры о «социальном заказе» мы встретим не только у Асеева или Маяковского. Употребляют этот термин — Луначарский и А. Воронский, повторяют его Горбачев и Лелевич. И младшее поколение напостовцев, издающее ныне «На Литературном Посту», весьма придиричивое и беспокойное, до сих пор не удосужилось разобраться в этой теории.

А между тем, теория эта, на мой взгляд, неверна. Она превратно толкует взаимоотношения между классом и художником. А ведь в установлении этой связи смысл ее появления на свет.

### II

Коротко говоря, она сводится к следующему.

Писатель, художник — не просто индивидуальный производитель предметов искусства, который делает, как хочет, когда хочет и что хочет. Художник тесно связан с обществом, в котором живет, должен прислушиваться к его потребностям, выполнять его волю. Художник — мастер; эпоха, общество, класс — заказчик. Эпоха, общество, класс предъявляют искусство требования, дают «социальный заказ». Мастер искусства, «производитель» —

заказ выполняет. Так утверждает художник свое право на общественное бытие, так устанавливаются социальная функция и связь его с «обществом».

Повторяю, обстоятельного изложения теории «социального заказа» в литературе не существует. Возможно, что ее творцы иначе сформулируют ее существо. Я излагаю ее так, какую уловил в отдельных высказываниях ее вольных и невольных сторонников.

На первый взгляд может показаться, что здесь, собственно, не о чем спорить. Устанавливается связь между художником и обществом. За художником закрепляется определенная общественная функция, он входит полноправным членом в рабочее товарищество. На ряду с другими «производителями» и он будет создавать «общественные полезности». В наших же советских условиях за художником эта теория закрепляет определенное место в общей борьбе за строительство социализма.

Но это «благополучие» весьма поверхностно.

Для начала попытаемся разобраться в самом термине. Что означают слова «социальный заказ»?

### III

«Социальный заказ». Понятие это предполагает существование с одной стороны того, кто заказывает, заказчика, работодателя и, с другой, того, кто заказ выполняет. Если есть «заказ», — то есть и «заказчик». Если нет «заказчика» — то нет и «заказа», нет и исполнителя «заказа». Взаимоотношения, как устанавливает их разбираемая нами теория, издавна существовали и продолжают существовать между ремесленником и хозяином, между купцом и кустарем, между меценатом и художником, между учреждением и лицом, выполняющим поручения. Самый термин «заказ» появился вместе с ремеслом. Ремесленническое происхождение термина не подлежит сомнению. Термин этот кратко и ясно отражал общественные отношения эпохи до появления широкого капиталистического рынка, когда потребитель сделался безымянным.

Но такие взаимоотношения, сохранившиеся в кустарном производстве, полностью сохранились также между потребителем произведений искусства и художником. В таком определении этих взаимоотношений нет, в общем, ничего неверного. Но оно не охватывает полностью все возможные случаи взаимоотношений.

История знает примеры, наиболее ценные для развития искусства, когда художник-новатор шел против господствовавших вкусов, порывал с потребителем произведений искусства. Такова вообще судьба всех новаторов в области искусства. «Заказчик» отказывался потреблять непонятные ему «новые» вещи. Художник голодал и нередко погибал, не сдаваясь. Новая эпоха с новыми вкусами признавала «новатора»: именно этот последний в своем упорном нежелании выполнять «заказ» по вкусам заказчиков своей эпохи оказывался прав в своем упорстве. А ведь искусство двигалось вперед не безропотными исполнителями «заказа», а именно бунтарями, ниспровергателями старых вкусов, разрушителями признанных кумиров, отрицателями канонизированных форм. Революционеры в искусстве в этом смысле ничем не отличались от революционеров социально-политических. Не следует, конечно, понимать «социальный заказ» в узком смысле: задание от конкретных лиц, корпораций, учреждений. Заказчиком по теории «социального заказа» является не имярек, но эпоха в целом, класс, история. «Мастер» искусств работает, конечно, не на индивидуального, а на коллективного потребителя, но, работая так, а не иначе, он выполняет «заказ» эпохи, общества, «социальный заказ». И вот тут-то и следует остановиться, чтобы договориться в этом вопросе до полной ясности.

### IV

Прежде всего надо устранить всякую мистику и метафизику. Что это за «заказчики» — «эпоха», «история», «общество»? Существуют ли они в природе, как факторы исторического процесса? Нет. Эпоха есть известный

этап исторического процесса, в котором действующими лицами являются классы. Можно, разумеется, говорить о том, что голосом такого-то человека говорила его эпоха. Но это будет метафора, образное выражение—не больше. Эпоха никогда и нигде не выступала в качестве единого творящего целого. Эпоха—не фактор исторического процесса, это лишь хронологический знак, обобщение, условное обозначение и только. Выступать в качестве «деятели», «личности», «заказчика» эпоха не может так же точно, как «история» и «общество». «Общество» есть имя собирательное. Действительными факторами, рычагами исторического процесса (я говорю, разумеется, не о пра-истории человечества, а о культурном периоде его), историческими субъектами являются классы.

То, что я говорю здесь—есть аксиомы марксизма. Они противоречат аксиомам идеализма. Именно идеалистическая точка зрения утверждает в качестве субъектов и историю, и эпоху. «Абсолютный дух» Гегеля вообще существует вне истории, лишь выражая себя в отдельные исторические эпохи через посредство отдельных народов. Именно с точки зрения идеализма можно говорить о «заказах», которые неизвестным путем дает «эпоха» художнику. Смысл наших слов не изменится от того, если мы вместо слова «эпоха» употребим слово «общество». Не изменится к лучшему дело, даже если наши теоретики «социального заказа» станут употреблять слово «класс». Это будет шагом вперед. Классы—это то, что существует, как организованное целое. Класс обладает «твердыми» признаками, вырастает на материальной базе, живет как коллектив, являясь фактором исторического развития. Но, даже усвоив классовый термин, наша теория не сделается классовой, материалистической теорией. Она останется идеалистической, ибо трактовка взаимоотношений художника и класса останется прежней. А в этом все дело.

Где же ахиллесова пята этой теории, внешне такой убедительной?

В том—что она отрывает художника от класса, ставит его

в изолированное от класса положение мастера, ремесленника, работника, работающего на «хозяина» по заказу. Больше всего теория «социального заказа» соответствует условиям буржуазного общества. Но даже в буржуазных условиях она не выражает исчерпывающе отношений, существовавших между буржуазией и ее художниками. Ведь феодальное дворянство и буржуазия имели художников, выросших в университетах и академиях и выражавших духовный облик своих классов не как вольные «мастера», стоявшие вне их, но как живые члены своих классов, борцы за их интересы, защитники и выразители их взгляда на мир. Буржуазный художник не говорил «буржуазии» «ты», противопоставляя себя ей, но говорил «мы», отождествляя себя с нею, ибо свой голос он считал голосом своего класса. Бывало и так, что вследствие разных социальных причин художник в определенные исторические эпохи перерастал идеологию своего класса—тогда он выходил из его рядов, становился борцом против него, разрушал его интересы, разоблачал его ложь, как бы сигнализировал будущее, становясь в положение революционера. Пред нами в последнем случае не вольный «мастер», выполняющий «заказ» элохи, но выразитель исторически-прогрессивных тенденций своего времени, как они восприняты им в обстановке современной, осознанной или не осознанной им, классовой борьбы. То, что я пишу сейчас, не исследование, и даже не обстоятельный очерк. Это всего лишь «заметки», которые позднее будут мною развиты более обстоятельно. Здесь же замечу, что я не знаю другой теории, которая столь бы противоречила основам марксистского учения об искусстве. Все, что написано было крупнейшими максимистами об искусстве и классах,—все это идет вразрез с теорией «социального заказа», вульгаризирующей, огрубляющей, упрощающей вопрос. Достаточно привести несколько строчек из статьи Ленина о Толстом, чтобы показать насколько «социальный заказ» противоречит ленинскому пониманию связи

между общественными классами и художниками.

«Толстой велик,—писал Ленин,—как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства времени наступления буржуазной революции в России». Но Толстой—«помещик». Как могло произойти, что этот художник, будучи помещиком, на деле выразил крестьянские идеи и настроения? Теория социального заказа, не моргнув глазом, ответит: очень просто. Миллионное русское крестьянство дало Толстому социальный заказ.

Если этот ответ будет дан всерьез,—а другого ответа наши «теоретики» дать не смогут, не покинув почву своей теории, то ведь это либо метафора, либо чистейший идеализм.

На деле же, роль Толстого-помещика, сумевшего стать «выразителем» идей и настроений русского крестьянства, может быть выяснена с помощью анализа целого ряда конкретных условий, в которых проходил Толстой свой жизненный путь. Другими словами—только изучив социально-политическое бытие Льва Толстого, мы сумеем понять и объяснить своеобразие его сознания и те причины, которые сделали его «выразителем» крестьянских идей и настроений. Но это марксистское объяснение ни в какой мере не совпадает с идеалистическим объяснением теоретиков «социального заказа». Говоря о художнике, мы не обязаны иметь в виду какого-нибудь микроскопического представителя литературной богемы, который сегодня пишет авантюрный роман, а завтра напишет роман психологический, сегодня будет доказывать преимущество индивидуализма, завтра делается апологетом коллективизма, сегодня он символист, завтра реалист, как будет угодно «заказчику». Такие инфузории существуют—но ведь не они характеризуют подлинных «толкачей» искусства. Теория «социального заказа» без метафизики не сумеет объяснить появление и существование художников революционеров, новаторов, борцов против господствующих взглядов своих эпох.

Классы, различные социальные группы объективируют свое мирозерцание, свою идеологию в искусстве. Это образное оформление выполняется художниками, но только в тех случаях, когда художники живут интересами своего класса, когда художническое сознание является индивидуальным выразителем коллективного сознания. В органические эпохи художники-творцы являются такими же вождями своего времени, властителями дум, как политические вожди в эпохи критические, революционные.

## У

Но вот как Николай Асеев, один из творцов теории «социального заказа», мыслит отношение художника к классу. В статье своей «Бродячая литература», напечатанной в десятой книге «Журналиста» за 1926 г., он называет писателя кустарем, а редактора скупщиком. В стихотворении «Через голы критиков», напечатанном в 11-й книге «Н. Мира» за 1926 г., поэт обращается к победоносному классу, к пролетариату. Он жалуется, что благодаря отягчающим и вредным рукам посредников (критиков) «на рынок течет уйма товара позалежалого». Вот, как нападает Асеев на критиков:

Откуда знает  
чернильная гля,  
Вымазавшая  
о поэзию лапки,  
Что пролетарию  
потреблять,  
А что навсегда  
оставлять на прилавке?

Дальше он признается, что из-за посредников никак не может увидеть тот самый класс, па который хочет работать. «Как бы за ихней спиной иногда мне тебя увидеть», — говорит он, —

Это ты меня  
пойшь и кормишь,  
Светлый  
победоносный класс.

О чем говорят эти строки? Об одиночестве поэта, об отрыве от класса, о деклассированности. Мыслима ли такая психология изолированности для писателя, который убежденно считает

себя пролетарским? Немыслима. Писатель, сознающий себя частью целого, не «батраком», работающим на хозяина, но органической частью коллектива, не сможет обратиться к рабочему классу с местоимением «ты», оставляя за собой местоимение «я». Это противопоставление может быть «приемом», но психологически такое противопоставление чуждо поэту, который считает себя, именно себя выразителем, поэтическим оформлением настроений класса.

Н. Асеев иначе не может. Местоимение «мы», которое спаяло бы его с рабочим классом, слило бы их воедино, Асееву чуждо. Он не находит в себе неразрывной связи с «победоносным классом», которая позволила бы ему говорить от его имени. Николай Асеев поэт деклассированной интеллигенции в эпоху пролетарской диктатуры, т.е. в такую эпоху, когда пролетариат господствует. Эта интеллигенция, в поисках базы для развития своей поэзии (не только материальной, в буквальном смысле, но и идеологической), ищет точки опоры во внешнем мире, и обращает взоры к пролетариату. Это очень хорошо. Но так как для этих деклассированных революционных поэтов пролетариат—класс чужой, они хотят засыпать пропасть между собою и им, создавая теорию «социального заказа», представляя ему роль «хозяина», «поильца и кормильца», себе же оставляя функции «работника», «мастера», выполняющего его задания. Отсюда асеевская «нытика»:

Положи мне  
на сердце ладонь,  
Чтобы пело оно,  
а не выло,  
Чтобы билось  
на сотни ладов  
И ни разу не изменило.

Асеев — представитель той группы деклассированной интеллигенции, которая после победы пролетарской революции искренно хочет быть поэтическим выразителем рабочего класса. Иногда делает это удачно, часто неудачно. Это, разумеется, не вина ее, а беда ее. Оторванность от «победоносного» рабочего класса, одиночество и вместе потребность связать свою поэтическую судьбу с революцией и нашли свое выражение в

теории «социального заказа». А, появившись на свет, теория оттого-то и пришлась так, по вкусу, что как будто разрешила вопрос о связи пролетариата и художника. Не сразу стало заметным, что теория создана на потребу узкого слоя деклассированных художников, потерявших старую социальную базу и ищущих базу новую. Теория социального заказа давала деклассированным интеллигентам возможность быть участниками великого исторического движения, если не в качестве подлинных выразителей господствующего класса, то хотя бы в качестве «вольных мастеров», выполняющих его «социальный заказ».

В такой же мере далека от объективности трактовка роли критика в современной литературе. Критик — не только «посредник» между художником, работающим на рынок, и потребителем. Критик — идеологический выразитель тех же классовых потребностей, которые выражает и художник. Но критик делает это «прозой», художник — «поэзией», «образами». Н. Асеев переносит в литературу понятия, выросшие на почве товарного обмена буржуазной эпохи. Но такое механическое перенесение терминологии из сферы экономических отношений в литературу и искусство, без учета особенностей новой среды — является образчиком вульгарного извращения марксизма. Так бывает всегда, когда орудуют особым марксистским методом, «марксизмом по наслышке». Но ведь в произведениях искусства их «товарность» не является существенным признаком. С точки зрения товарного рынка «Капитал» Маркса, «Джюоконда» Леонардо, «Война и Мир» Толстого, партитура Нибелунгов, «Мыслитель» Родэна — все это «товар», так же как электроплаг, щетина или резиновые галоши. Но, ведь только потеряв способность размышлять, можно не заметить подлинного различия между «товаром» в виде «Капитала» Маркса, скульптурой Родэна и, скажем, сапожными гвоздями. Этот «существенный» признак Н. Асеевым опущен — оттого-то он не замечает, что

«посредником» на рынке между читателем и писателем является не критик, а издатель и книгопродавец; в деятельности же критика, как и художника, существенным моментом является его идеологическая роль.

Пушкин заметил в свое время: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Мы оставляем «вдохновенье» в стороне — но мысль поэта верна: необходимо отличать рукопись, как товар, от того, что в рукописи написано, и что товаром может и не быть. Можно торговать книгами, но нельзя торговать идеологией, творить по заказу новые художественные формы. Теория «социального заказа» эту особенность «литературного товара», конечно, упускает из виду, затушевывает, путаясь в ремесленно-кустарнической терминологии.

## VI

Принимая как неизбежные в до-социалистических условиях товарные свойства рукописей, необходимо отрицать эти свойства за идеями и образами. Не хочу сказать, что будто в капиталистическом строе идеи не продаются. В том-то и дело, что капитализм, превращая все в товар, делает товаром и идеи, но это не является их неотъемлемым свойством. «Продажность» идей была более или менее редким случаем — даже в буржуазных кругах не принималось за должное: писателей, торговавших идеями, стыдились даже те, кто их покупал. Когда в русской литературе обнаружился литератор, в один день писавший статьи «черные» и «красные» — сразу на два фронта (и в обоих случаях искренно, уверял он) — эта продажность его, возводившаяся в принцип — ужаснула всех закоренелых «услугающих» буржуазной печати. В. В. Розанов был искренней многих — он безбоязненно высказал то, чем занималось большинство — но это-то и ужаснуло — потому что идея, которая продается, знаменует собою последнюю степень разложения и падения писательского труда. Вот в этом смысле и следует понимать Пушкина:

«Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать».

И больше других чувствует отвращение к «продающейся» идее пролетариат, историческая миссия которого заключается в истреблении всей той дряни и слякоти, которую наплодила загнивающая и гниющая буржуазия. Нет необходимости доказывать, что «товарность» идеи, т. е. ее продажные свойства, была характерна для художников, двигавших искусство своей эпохи. Настоящее творчество, высокое искусство — по природе своей искренно. Большие таланты, охотно продающие свои рукописи, отказываются «продавать» свои идеи. Это ясно как светлый день и опровергнуто быть не может. О таком именно честном искусстве и говорим мы, когда спорим об искусстве революционной эпохи и искусстве пролетариата. Пролетариату не нужны люди, которые готовы писать то, что хочет пролетариат, и так, как он хочет — остающиеся в то же время чуждыми пролетариату социально, психологически, идеологически. Оттого-то пролетариат ждет своего художника, который не выполнял бы «социальный заказ» пролетариата, но был бы тем голосом, с помощью которого, через который пролетариат сам показал бы человечеству свой внутренний мир. Но такой художник не будет «мастером», пытающимся через спины посредников заглянуть в глаза «заказчику». Это будет художник, кость от кости и плоть от плоти пролетариата.

Мы ставим своей задачей уничтожить отношение к художнику, как к товару, убить роль критика, как комиссионера, уничтожить положение, при котором художник был бы индивидуалом, обреченным на торговлю своим дарованием, на удовлетворение потребностей отдельных социальных групп, хотя бы и под гордым флагом теории «социального заказа». Мы хотим, чтобы художник был органической частью класса, той извилиной его коллективного мозга, которая своим положением в сложной мозговой системе предназначена выражать эстетические, психологические, эмоциональ-

ные идеологические потребности коллектива.

Теория «социального заказа» знаменует попытку группы крайних левых писателей и художников, оторванных от пролетариата, установить с ним связь, сохранив свою самостоятельность в качестве творцов идеологических ценностей. Предоставив рабочему классу роль «социального заказчика» и вдохновителя—они оставляют за собой скромную роль «мастеров» художественного ремесла, хранителей творческих приемов искусства, делателей «идеологических» вещей, хотя такое противопоставление подрывает в корне доброкачественность их притязаний. Они и обращаются к пролетариату на «ты», они стремятся отбросить посредников-критиков, которые мешают им говорить с пролетариатом с глаза-на-глаз. Не трудно заметить, что, перебрасывая мост к рабочему классу — они по существу остаются все-таки «на другом берегу». Ибо теория «социального заказа» не создает той органической связи с пролетариатом, той тесной близости, которая в психологии их устранила бы противопоставление на—«ты» и «я»; которая вдохнула бы им веру в себя как подлинных и естественных художественных выразителей рабочего класса. Именно такого органического слияния с рабочим классом — вот чего требует эпоха от мастера, который хочет быть пролетарским художником пролетарской революции, пролетарским рупором нашего удивительного времени.

## VII

Я буду неверно понять, если мне припишут мысль, будто все художники нашего времени должны неразрывно слиться с пролетариатом—и те, кто сделать этого не сумеют, обречены на гибель. Такое слияние возможно для отдельных лиц, наиболее одаренных и наиболее близких пролетариату по социальному происхождению — но крайне трудно, вероятно, непреодолимо, для большинства рядовых представителей старой писательской фаланги. Ведь человек не обладает сво-

бодой воли настолько, чтобы по своему усмотрению изменять свой социальный опыт, свой умственный склад, свои психологические и идеологические навыки—все то, чем наделяет человека возраставшая его социальная среда. Ведь самую современность человек воспринимает сквозь классовую призму, и только гениям и близким к гениальности отдельным людям дано преодолеть в себе классовое духовное наследство. Но невозможность его преодолеть вполне не означает обязательно полный отрыв от нашей эпохи, полное непонимание ее, полную ей враждебность. Наличность социальных групп, вместе с пролетариатом, под руководством пролетариата участвующих в социалистическом строительстве нашей страны—предопределяет неизбежность существования литературы, отражающей социальное бытие этих групп. Пока существуют крестьянство и интеллигенция, идущая рука об руку с революцией—будут и должны существовать литература, создаваемая крестьянством, и литература, создаваемая интеллигенцией. На наших глазах попутчики и крестьянские писатели дали ряд ярких доказательств того, что можно, не будучи органической частью рабочего класса—создавать произведения, чрезвычайно созвучные эпохе, дающие ее блестящие отражения, хотя и под непролетарским углом зрения. А ведь группа попутчиков весьма разнородна: правым флангом своим она упирается в откровенных эпигонов старой буржуазной литературы, левым флангом подходит к пролетариату. И поскольку наша революция движется рядом сил, среди которых главной и руководящей является пролетариат, постольку и эти «другие» силы,—а среди них многомиллионное крестьянство, — будут создавать свою литературу. Пролетариат, крестьянство, интеллигенция,—эти социальные группы, каждая по-своему, отражают революцию в искусстве. Оттого-то было бы утопическим утверждение, что все художники должны неразрывно слиться с пролетариатом или погибнуть. Покуда еще коммунистический строй нами не достигнут, покуда крестьянство в союзе

и под руководством пролетариата помогает строить будущее нашей страны, покуда революционная интеллигенция участвует в этом строительстве, «попутчики» революции и крестьянские писатели наряду с пролетарскими писателями будут играть большую роль в нашей литературе. Эта роль будет тем крупней, чем ближе они сумеют подойти к требованиям революции, чем искренней и глубже примут они ее задачи. Эта роль будет тем меньше, чем ближе они станут к эпигонам старой буржуазной литературы и певцам буржуазии новой, наповской, обреченной на неизбежную гибель.

Здесь правое крыло попутчиков переходит в лагерь контрреволюции, т. е. перестает быть попутническим и, следовательно, разделит судьбу буржуазной контрреволюционной литературы. Но какую бы группу попутчиков мы ни взяли, будь то левая или правая—творчество такой группы не будет выполнением «социального заказа» рабочего класса. Другими словами—это будет революционная, попутническая литература, иногда блестящая, иногда тусклая, но это не будет пролетарская литература. Лишь отдельные художники сделаются художниками пролетариата, те, которые сумеют преодолеть в себе духовное наследство взрастившей их социальной среды. Но исключения, как известно, не составляют правила. Что же касается художников, которые не смогут, не сумеют стать выразителями пролетарского мировоззрения—за ними остается высокая задача двигать вперед искусство так, как они это понимают, в меру своих сил, в меру своих талантов, в меру своего понимания, в меру своей революционности.

## VIII

Резюмирую:

1) «Теория социального заказа» возникла в среде деклассированной интеллигенции и выражает попытку этой интеллигенции, не теряя своей социальной самостоятельности, взять на себя роль художественного выразителя рабочего класса.

2) «Теория социального заказа»—идеалистическая по существу—дает неправильное представление о взаимоотношениях, которые должны существовать и действительно существуют между общественными классами и их художественными выразителями.

3) Являясь попыткой деклассированной революционной интеллигенции перебросить мост к рабочему классу, теория эта указывает на фактическую оторванность этой революционной группы интеллигенции от рабочего класса. Оторванность же обрекает на неудачу попытку этой литературной группы выявить в художественных формах пролетарское мироощущение.

4) «Теория социального заказа» не может быть принята теми молодыми писателями, которых выдвигает наша эпоха из пролетарской и крестьянской среды. «Пролетарские» и «крестьянские» писатели, связанные кровными нитями с классом-матерью, не нуждаются в перебрасывании воздушных мостов между собою и им. Они не ставят себя в положение «мастеров», выполняющих «социальный заказ» со стороны, они просто считают себя именно теми клеточками коллективного мозга, на долю которых и выпадает функция художественного мышления и отражения в образах коллективного сознания. Они сознают себя как рупор, которым говорит создавший их коллектив.



# Дома и за границей

## ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

I. А. ВОРОНСКИЙ. Заметки о художественном творчестве.—II. С. МАРГОЛИН. Жюль Ромен.—III. С. ДАЛИН. По деревням и городам китайским.—IV. С. ОБРУЧЕВ. От Якутска до Индигирки.

### I. ЗАМЕТКИ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ

А. Воронский

(Окончание)<sup>1)</sup>

#### V. Еще о перевоплощении

Заметим с самого начала: из книги Станиславского следует вывод, что подлинный путь художественного перевоплощения есть преимущественно реалистический, даже в известной мере натуралистический путь. Вспоминная о своей актерской работе над ролью Сотанвиля в пьесе «Жорж Данден», Станиславский рассказывает об одной для него «счастливой случайности». Он мучительно долго искал, как надо играть роль и не находил нужного образа, помог случай: «одна черта в гриме, придавшая какое-то живое комическое выражение лицу,—и сразу что-то где-то во мне точно перевернулось». Характерная внешняя черта помогла артисту раскрыть образ, найти верный тон, верные движения, вдохновиться ролью. О «счастливой случайности» говорит Станиславский и в другом месте. «Следующей моей работой была роль маклера Обновленского в пьесе Федотова «Рубль»... Подобно Сотанвилю, после долгих мытарств роль пошла от случайности в

гриме. Парикмахер во время спешки наклеил мне правый ус выше, чем левый. От этого выражение лица получило какую-то плутоватость, хамство. В pendant к усам я подрисовал и правую бровь выше левой... и все понимали, что мой Обновленский—мошенник». Кстати: и Шаляпин в своих мемуарах подтверждает показание Станиславского в рассказе, как ему помог Мамонтов взять верный тон, когда он играл Ивана Грозного.

Внутреннее состояние требует внешнего выражения, знака; только при помощи этих знаков оно и может быть показано, передано другому человеку, и чем типичнее, «счастливее» этот знак, тем более удачно он передает наши мысли и чувства. «Поверить самому глупому, или невероятному» можно лишь при посредстве «черты». Эта простая истина сохраняет свою силу для всех видов искусства. Поэтому «случайность» и спасла Станиславского в рассказанных им поисках. Настоящее искусство, это—искусство характерной мелочи, путь наглядного показа, путь телесного, материального выражения. Хочет или не хочет того Станиславский, но он подтверждает то

<sup>1)</sup> См. «Новый Мир», № 8 с. г.

неоспоримое для нас, марксистов, положение, что искусство всегда своим объектом имеет действительность, реальность, что оно материально. Идеалистические, мистические направления в искусстве всегда заводят в тупик, потому что сверх-чувственные, потусторонние миры, заумные настроения не могут найти внешнего, материального оформления на нашей «грешной» планете, той «счастливой случайности», о которой пишет Станиславский. Творческий акт перевоплощения—акт вещественный, он выражается в том, что художник находит типические внешние черты, детали, штрихи, качества. Актер, не сумевший обрести «счастливую случайность», подменяет настоящую художественную игру наигрыванием, пустым, бездушным, или высокопарным болтанием слов, маханием рук. То же самое бывает и с писателем. Он заставляет своих героев говорить много и ненужно «жалкие слова», вместо изображения он дает описания, он резонерствует, становится явно тенденциозным. Можно написать сотни страниц с подробными описаниями душевных состояний героев, и они не тронут, не дойдут до читателя, а вот одна «черта в гриме», один штрих—какой-нибудь пестик, потерянный в саду Митей Карамазовым, какая-нибудь ленточка, которой был перевязан пакет с деньгами для Грушеньки, какая-нибудь сцена с куклой в детской Наташи Ростовой, какие-нибудь «страстные лохмотья» Бабея—в десятки, в сотни, в тысячи раз говорят нам больше о внутренних настроениях и переживаниях людей, чем эти сотни исписанных страниц.

Но есть и другая опасность. Вещность искусства не должна заслонять внутреннего мира людей. Правда материальных, изобразительных средств в искусстве тоже относительна, а не абсолютна. Искусство есть средство общения между людьми, оно—явление общественного, а не индивидуального порядка. С помощью внешних средств искусства люди передают друг другу свои мысли и чувства. Произведение искусства тем более значитель-

но, содержательно, чем более значительны, содержательны и новы мысли и чувства, требующие своего внешнего, материального выражения, чем более своеобразны видения художника, его открытия в области внутренних состояний человека. Если нет искусства помимо «черты», то его нет и тогда, когда за этой «чертой» нет заслуживающих нашего внимания мыслей и чувств. Может статься, внешние черты будут заслонять собой внутреннее содержание, и тогда художник впадет в другую крайность, он растворится во внешнем, в поверхностном, в погоне за одной лишь выразительностью. Современное советское искусство, как известно, очень часто страдает от преобладания этого внешнего реализма. До сих пор мы еще не вышли из рамок наивного бытовизма, историко-описательных романов и повестей, а наш имажинизм и в поэзии и в прозе, увлечение образом, как самоцелью, неизменно приводит к тому, что образ органически не связан с содержанием и живет своею самостоятельной жизнью. Искания Станиславского и в этом направлении очень поучительны. Усвоив себе ту истину, что искусство материально, Станиславский далее подробно излагает свои недоумения, неудачи, но уже в ином духе. Внешняя «черта» нередко приводила его к тому, что он в своей режиссерской и актерской работе увлекался историко-бытовой линией, сценическими световыми эффектами, костюмами, мебелью, бутафорией, внешней игрой. В этом он достиг больших успехов, но, чем они были более значительны, тем чаще и глубже художник чувствовал, что здесь еще нет настоящего искусства. Это продолжалось до тех пор, пока он не понял другую простую истину: нельзя ограничивать задачи художника одним внешним реализмом, художественная правда лежит в сочетании реализма внешнего с внутренним.

Способность поверить «самому глупому» тоже, очевидно, связана не только с внешней «счастливой случайностью», но еще более и с умением художника проникнуть во внутренний мир героя. В чем же здесь основ-

ное препятствие? К. С. Станиславский сообщает о новом для него открытии, которое он не без оснований считает главным:

«Подобно д-ру Штокману, я сделал великое открытие и познал всем известную истину: истину о том, что самочувствие актера на сцене, в момент, когда он стоит пред тысячной толпой и пред ярко-освещенной рампой, — противоестественно и является главной помехой при публичном творчестве. Этого мало, я понял, что при таком душевном и физическом состоянии можно только ломаться, представлять, — казаться переживающим, но жить и отдаваться чувству невозможно. Конечно, я и раньше это понимал, но лишь умом. Теперь же я это почувствовал...

...Ясно почувствовал вред и неправильность актерского самочувствия, я, естественно, стал искать иного душевного и телесного состояния артиста на сцене, — благотворного, а не вредного для творческого процесса. В противоположность актерскому самочувствию условимся называть его творческим самочувствием. Я понял тогда, что к гениям на сцене почти всегда само собой приходит творческое самочувствие, при том в высочайшей степени и полноте. Менее даровитые люди получают его реже, так сказать, по воскресным дням. Еще менее талантливые — еще реже, так сказать, по двенадцатым праздникам. Посредственности уже удастаиваются его лишь в исключительных случаях. Тем не менее все люди искусства, начиная от гения до простых талантов, в большей или меньшей степени способны доходить какими-то неведомыми интуитивными путями до творческого самочувствия, но им не дано распоряжаться и владеть им по собственному произволу. Они получают его от Аполлона в качестве небесного дара.

Станиславский имеет в виду самочувствие артиста; но его «истина» целиком должна быть отнесена и к другим видам искусства. В заметках о книге Кузминской я отметил, что один из важнейших актов в художественном, творческом процессе, акт перевоплощения, основан на симпатическом

отношении друг к другу, на горячем взаимном чувстве художника и его живой модели. Станиславский прибавляет к этому еще одно чрезвычайно важное дополнительное условие: для того, чтобы художник творчески вдохновился, чтобы он чужую мысль, чужое чувство сделал своими собственными, «как будто вы с ней носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно» (А. С. Пушкин), надо отказаться от обыденного, от житейского своего самочувствия и заразиться творческим самочувствием, надо пренебречь «заботами суетного света», сбросить с себя «хладный сон», отрешиться от «забав мира». Лишь при этом условии является вдохновение, пробуждается любовь к избираемому, и художник начинает верить «самому глупому, или невероятному». Процесс художественного перевоплощения требует от человека искусства самоотречения, художник должен забыть себя, отдаться течению иных чувств. В этом нет ничего ни сверхестественного, ни аскетического. Всем известны факты, когда художники обливаются слезами над своими вымыслами, скорбят и радуются вместе со своими героями, боятся за них. Те же чувства испытывают и читатели, если их «увлекает» роман, повесть, рассказ, картина и т. д. Отказываясь от житейского самочувствия и заражаясь самочувствием творческим, художник как бы очищает себя от всего случайного, наносного, лишнего, он освобождает свои социальные инстинкты и чувства и тем самым он получает двойное зрение. Настоящий художник обладает таким двойным зрением. Созданные в моменты творческого самочувствия образы он потом проверяет своим обыденным, житейским зрением, тем самым он получает счастливую возможность обективировать свою роль, своего героя, изображенное событие, он смотрит на них со стороны, иными глазами. Тогда-то он именно и говорит как Чехов: «у дяди Вани — шелковый галстух», — или: «он непременно должен прихрамывать», «у

него рыжие усы» и т. п. Способность объективно видеть продукты своей творческой работы тем совершенней, чем резче, чем отчетливее это двойное зрение у художника, которое дается ему двойным самочувствием: актерским и творческим. Справедливо отмечает Станиславский, что бывают артисты—и писатели, добавим мы от себя—самовлюбленные, они во всем видят только себя. «И Гамлет и Ромео им нужен, как новый туалет моднице. Такие артисты правы, что боятся уходить от себя». Такие артисты и писатели, очевидно, могут быть очень талантливы, но в конце-концов они однообразны. Другие, наоборот, «стыдятся показывать себя». Они говорят от чужих лиц. Заслуживает внимания здесь еще одно замечание Станиславского. «Замаскировав себя гримом, как маской, они не боятся обнаруживать ни свои пороки, ни добродетели и могут говорить и делать то, чего бы они никак не решились повторить в своем обычном виде, со сброшенной маской». Искусство есть средство общения между людьми с помощью особой способности художника перевоплощаться, верить «самому глупому, или невероятному»; часто случается, что люди не смеют прямо говорить и делать то, что у них «на душе»; тогда они прибегают к маскам, ко внутреннему и внешнему переодеванию. Свои чувства и мысли они вкладывают в ими созданных героев, они спорят, убеждают от их имени. Объективируя свои помыслы, художники нагляднее видят «порок», и лучше убеждаются в «добродетели» и, таким образом, и себе и читателю они помогают осудить то, что считается злом, и одобрить то, что является в данную эпоху общественно-положительным. По прекрасному выражению Панаита Истрати «искусство ведет войну с нашими пороками». Большинство гениальных художников—люди острого душевного разлада и противоречий; таковы Шекспир, Толстой, Гоголь, Пушкин, Достоевский. В творческих процессах они преодолевают свою внутреннюю дисгармонию и нередко достигают в том значительных резуль-

татов, выставляя напоказ и тем самым как бы изживая то, что почитается ими вредным; но делают это они, маскируясь и переодеваясь. Эта маскировка и это переодевание удаются им потому, что они наделены способностью перевоплощаться, переживать творческое самочувствие, отказываясь от самочувствия обычного.

На этом свойстве основано и эстетическое на нас воздействие игры артиста, романа, музыкального произведения. Эстетическая эмоция, как психологическое состояние, лишена непосредственного утилитаризма, практицизма, «забот светного света», из чего, конечно, отнюдь не следует, что чувство прекрасного—какого-то надземного и надмирного происхождения. Наоборот, вся история искусства с достаточной и очевидной убедительностью свидетельствует, что наши понятия о прекрасном находятся в строгой зависимости и обусловленности от экономических, от политических, от бытовых общественных условий эпохи. Объективно наши эстетические эмоции всегда коренятся в конечном итоге в тех или иных «земных», «слишком человеческих», классовых интересах, но это не мешает нам субъективно, читая роман, любясь картиной, слушая Бетховена, испытывать эстетическое удовольствие бескорыстно, не думая в этот момент о своих или групповых интересах. Мы приходим к заключению: эстетическая эмоция психологически есть такое душевное состояние, при котором люди переживают творческое самочувствие, отказываясь в этот момент от самочувствия «житейского», т. е. перевоплощаясь. Известно, что читатель, слушатель, зритель вместе с автором, с артистом переживают его творческий процесс; в укороченном так сказать виде они проходят его путь, они испытывают его огорчения, его неудачи, его радости, они ведут его борьбу с материалом, и только в меру этого заражения творческим процессом художника они захватываются художественным произведением, испытывают эстетическое удовольствие.

## VI. „Система“ К. С. Станиславского

Творческое самочувствие есть «дар Аполлона», природный дар. Это бесспорно. Но так же бесспорно и то, что можно помогать, содействовать развитию этого дара, можно научиться вызывать в себе это самочувствие по своему желанию в определенные моменты. «Система» К. С. Станиславского и имеет в виду с помощью некоторых технических приемов вызывать творческое самочувствие по желанию. «Система» в книге автором не излагается; такую драматическую грамматику Конст. Серг. обещает написать в недалеком будущем, пока же он ограничивается изложением ее основных положений.

«Я познал (т.е. почувствовал), — пишет Станиславский, — что творчество есть прежде всего — полная сосредоточенность всей духовной и физической природы. Она захватывает не только зрение и слух, но все пять чувств человека. Она захватывает, кроме того, и тело, и мысль, и ум, и волю, и чувство, и память, и воображение. Вся духовная и физическая природа должна быть устремлена при творчестве на то, что происходит в душе изображаемого лица».

К постижению этой истины автор пришел не сразу. Прежде всего он заметил, что все великие артисты в творческом состоянии достигают большой телесной свободы и умеют, благодаря самодисциплине, благодаря упражнению своей воли, подчинять себе весь свой физический аппарат. Далее, он заметил, что, приковывая внимание к ощущениям тела, он отвлекался от зрительного зала, забывал о том, что он на сцене. Технические приемы Станиславского вытекают из этих его наблюдений. О них дает представление хотя бы такой рассказ его о том, как готовился к игре на сцене Сальвини:

«В день спектакля он с утра волновался, ел умеренно и, после дневной еды, — уединялся и уже никого не принимал. Спектакль начинался в 8 часов, а Сальвини приезжал в театр к 5, т.е. за три часа до начала спектакля. Он шел в уборную, снимал шубу и отправлялся бродить по сцене.

Если кто подходил к нему, — он болтал, потом отходил, задумывался о чем-то, молча стоял и снова запирался в уборной».

Между прочим: манеру Сальвини следует запомнить тем, кто выступает с докладами, с речами на митингах и собраниях.

Очевидно, что смысл «системы» сводится к тому, чтобы художник в определенные сроки смог поверить не реальной, а воображаемой художественной правде, чтобы он поверил в сценическую ложь. «Система» Станиславского обращается прежде всего не к уму, и даже не к тем чувствам, которые мы ясно переживаем, а к слутным, к слепым, но могучим прозрениям, к недоказуемым и тем не менее вполне достоверным для нас постижениям, к инстинкту, к интуиции. Это и есть та последняя «простая» истина, которая венчает долголетние художественные искания великого артиста. В истории художественного театра исключительное место занимают пьесы А. П. Чехова; они создали театру мировую славу, и когда говорят и пишут об этом театре, то прежде всего на память приходят «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад». Но пьесы Чехова лишены обычных внешних сценических достоинств. «Для раскрытия внутренней сущности его произведений необходимо произвести своего рода раскопки его душевных глубин», — замечает Станиславский. Это раскрытие удастся, если режиссер, артисты наделены даром интуиции. Пьесы Чехова, это — линия интуиции и чувства. Их главная прелесть заключается в невыразимых, но глубоких ощущениях, производимых на зрителя. Они — завершение работ художественного театра, его символ веры, его «Знак Зеро». Выше были приведены рассказы Станиславского о «счастливой случайности», но постижение внутреннего содержания художественного произведения с помощью одной лишь характерной внешней черты, действительно, всегда случайно; прочным оно становится тогда, когда художник, читатель владеют даром интуиции. Как происходит такая, часто совсем бессознательная творческая

работа? В главе о постановке «Доктора Штокмана» Станиславский вспоминает:

«Сами собой вытягивались вперед, ради большей убедительности, второй и третий пальцы моих рук, — как бы для того, чтобы впихивать в самую душу собеседника свои чувства, слова и мысли. Все эти потребности и привычки появились инстинктивно, бессознательно. Откуда они? Впоследствии я случайно догадался об их происхождении: через несколько лет после создания Штокмана, при встрече в Берлине с одним ученым, знакомым мне раньше по венской санатории, я узнал у него свои пальцы из «Штокмана». Очень вероятно, что они бессознательно перешли ко мне от этого живого образца. А у одного известного русского музыканта я узнал свою манеру топтаться на месте à la Штокман».

Из приведенного автором примера следует, что линия интуиции не заключается в себе ничего чудесного. Художник бессознательно схватывает и хранит до поры до времени нужную черту в кладовой своей памяти с тем, чтобы ко времени и к месту вызвать ее по ассоциации на поверхность своего сознания, при этом подсознательная жизнь является не пассивным, а очень активным процессом. Бессознательное лишь потому кажется нам таинственным, чудодейственным, что оно до сих пор еще остается далеко не познанным экспериментальной психологией; бессознательное в нас не непознаваемо, и только пока не познано как следует. Правда, кое-что в этой области сделано, в частности, школой Фрейда, но Фрейд по существу бессознательное в нас начало противопоставил принципиально нашему сознанию, для чего нет решительно никаких оснований: противоположность сознательного и бессознательного тоже не абсолютна, а относительна. Сознательные акты, благодаря упражнениям, повторениям, становятся инстинктивными, бессознательными, а бессознательные наши намерения изменяются, гибнут, благодаря воздействию на них нашего сознания. Самая же главная ошибка фрейдистов заключается в преклонении пред стихией бессознательного, в недооценке раз-

ма, его революционизирующей роли в культурном развитии человечества<sup>1)</sup>.

Эти замечания сделать здесь необходимо, потому что некоторые выражения и места в книге Станиславского дают основание думать, что его толкование интуиции и бессознательного как будто не чуждо мистики. Неудачно название интуиции сверх-сознанием: никакого сверх-сознания нет. Попадаются в книге такие выражения: «Настало время для ирреального на сцене»; говоря о толковании Крэггом Гамлета, автор пишет: «Гамлет не невралгичен, еще менее сумасшедший, но он стал другим, чем все люди, потому что на минуту заглянул по ту сторону жизни, в загробный мир»; с таким толкованием автор, повидимому, согласен. Слова «Мировая Душа» и т. д. лишь усиливают впечатление, что Станиславский склонен считать работу интуиции, бессознательного, инстинктивного в нас и в самом деле даром божьим, даром небес. На самом же деле все обстоит проще и реальнее: во всяком художественном произведении есть основная эмоциональная доминанта, общее мироощущение, общая чувственная оценка мира, людей, событий; своими корнями это основное чувство глубоко уходит в недра бессознательного, инстинктивного, интуитивного, верно и то, что задача художника сводится к раскрытию этого своего основного и неповторимого, индивидуального ощущения, но тут нет ничего от ирреального, ничего от «Мировой Души», от Человека с большой буквы и от загробного мира. Научная психология довольно удачно уже начала анализ этого мира в нас. Наши великие писатели—Толстой и Достоевский—пронikli в эти малоисследованные недра. Приходится пожалеть, что К. С. Станиславский пользуется в своей книге понятиями, которые в истории философии имеют совершенно точный метафизический смысл. В наше время, в эпоху революций, острой борьбы трудящихся с мистикой и заумьем, ставшими центрами самого что ни на есть реакционного, та-

<sup>1)</sup> Подробнее об этом в статье «Фрейдизм и искусство», сборник «Литературные Записки».

кие выражения как «Мировая Душа» и пр. могут оттолкнуть от книги многих читателей. Это тем более досадно, что в своей основе, если откинуть кое-где насевшую мистическую шелуху, или крайне неудачную, «ирреальную» терминологию — толкуйте как хотите — книга Станиславского — здоровая, реалистическая, глубокая работа.

Приходилось слышать утверждение, что «система» Станиславского отрицает сознательную работу над собой артиста и художника и отрывает его от внешнего мира. Это — глубокое заблуждение. «Система» стремится помочь художнику-артисту усвоить не внешнюю сторону пьесы или роли, а в первую очередь основную, эмоциональную доминанту, внутренний образ художественного произведения и уже через это усвоение схватить, найти, осмыслить и внешний образ, сценические подробности, жесты, интонацию, костюмы, освещение, декорацию. Основное чувство, каким окрашивается произведение искусства, спрятано обычно глубоко в складках бессознательного, и постигается интуицией. Скажем больше: без интуитивного проникновения в бессознательную сферу человеческих намерений и помыслов нет подлинного искусства. Разумеется, одной этой сферой не исчерпывается художественное произведение, но его нельзя свести и к узко-рационалистической основе. Тут «система» Станиславского целиком права и тут нет никакой мистики. Что есть мистического в постановке «Дяди Вани», «Трех сестер», «Вишневого сада», «Доктора Штокмана», «На дне»? Ничего, но во всех этих пьесах есть попытка, и вполне удавшаяся попытка, вскрыть на сцене их интуитивную подоснову, и чрез это вскрытие и осмыслить их внешнюю сторону. Историческая заслуга и Художественного театра и Станиславского и заключается в этих удавшихся попытках, в постижениях основной эмоциональной доминанты драматических произведений.

Интуиция — природный дар, но отсюда никоим образом не следует, что художник может положиться лишь на

один свой талант, пренебрежительно относиться к технике; к упорной, неустанной работе над собой. «Чем крупнее артист, — пишет Станиславский, — тем больше он интересуется техникой своего искусства». Книга Станиславского наглядно показывает, какую гигантскую техническую работу над собой, над ролью, над пьесой приходится проделать художнику. Нашим нетерпеливым молодым писателям положительно необходимо познакомиться с книгой Конст. Сергеевича и с этой точкой зрения. Испытываешь удивление, когда читаешь эту повесть о том, как автор старался передавать блеклые тона костюмов древних бояр, как по целым дням и неделям художники вместе с автором возились с лоскутами, с лохмотьями, чтобы уловить оттенки вышивок, воротничков, как ходили у себя дома на дачах изо дня в день артисты в репетиционных костюмах, дабы освоиться с одеждами древних римлян, — как учились владеть плащом, располагать складки, жестиковать, как, словом, тщательно, как кропотливо и внимательно отделялась каждая мелочь. Нет, о пренебрежении, о недооценке сознательной технической работы Станиславского не может быть и речи.

Путь Станиславского крайне поучителен. От копирования, от подражания «баритону» с потрясающими икрами, от штампа и стандарта, от бытовизма и натурализма, медленно, наощупь, практически Станиславский пришел к открытию, что без проникновения в бессознательную сферу человеческой психологии нет настоящего постижения произведений искусства, и что путь к быту, к внешнему образу лежит по линии интуиции. Невольно приходят на память последние годы жизни нашего советского, пооктябрьского искусства слова. У нас тоже писатели начинали с примитивного быта. Был у нас и свой «баритон». Он и до сих пор еще не сошел со страниц многих романов, повестей, пьес. За него еще цепко многие держатся. Увлекались и внешней изобразительностью. Теперь наши писатели вплотную подошли к более углубленному пониманию задач искусства. Наиболее чуткие и

одаренные из них уже сознали и почувствовали, что узко-рационалистическое освещение героев, событий пора сдать в архив, что человека, общественную жизнь нужно изображать не только в сознательных, но и в бессознательных проявлениях, что внешний показ надо дополнить психологическим, т.-е. у нас подошли к той самой задаче, которую разрешал всю свою театральную жизнь К. С. Станиславский и Художественный театр. Мы на пороге открытия той простой истины, тайну которой знали и чувствовали Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов. Теоретически эту истину знают и у нас и художники и критики, необходимо ее почувствовать и практически воплотить в романе, в пьесе, в игре артиста. Без усвоения этой истины наша литература, наша сцена будут бесплодно топтаться на месте. Нечего хичиться, нечего говорить и писать со снисходительным видом, что Художественный театр — это прошлое. Он, может быть, и прошлое, но это прошлое прекрасно, мы еще не доросли до него, и тут есть чему поучиться и нашим писателям и нашим артистам. В противовес внешнему реализму, который у нас до сих пор еще часто господствует, мы должны воспринять от художественников линию интуиции и чувства, внутренний реализм, иначе наше искусство, действительно, будет лишь модным, будет злободневным, но не будет долговечным, не будет современным, не будет отражать эпохи. Оценивая состояние нашего театра, К. С. Станиславский пишет:

«Если в области внешнего искусства,—искусства внешней формы,—я был поражен большим успехом нового актера, то в области внутреннего, духовного творчества я был искренно опечален совсем обратным явлением. Новый театр не дал за последние семь лет ни одного артиста-творца, сильного в изображении человеческого духа, ни одной яркой индивидуальности в этом направлении»...

Справедливо. В словесном искусстве дельбо обстоит несколько лучше. Бабель, Всев. Иванов, Пильняк, Леонов, Федин—это уже приобретение и в области изображения «человеческого духа», не

говоря о таких старых мастерах слова как Горький, Толстой, Пришвин. Но пережитки наивного натурализма, внешнего понимания искусства у нас и в литературе пока все еще чрезвычайно сильны. Это увлечение внешней стороной, «баритоном» у нас поощряют наивные «социальные заказчики», «литерические управделы», тем самым задерживая развитие художества. Жизнь все-таки берет свое, «баритон» сдается в архив.

Художественный театр и Станиславский пришли к художественной правде внутреннего реализма, потому что им оказали в свое время помощь не профессиональные драматурги, а такие писатели, как Чехов, Толстой, Горький, Ибсен. И ныне на очереди стоит вопрос о союзе между художником слова и артистом. Начало такому союзу уже положено: современные театры усиленно привлекают писателей к своей работе, с другой стороны, писатели усиленно пишут пьесы. Художественный театр в этом союзе должен занять подобающее ему почетное и славное место. Он обязан научить советских писателей еще глубже, еще значительней раскрывать в их произведениях недра человеческого духа, но для этого ему и самому следует многое позаимствовать у нашей богатой эпохи. Нашим художникам не достает интуитивного понимания революции, динамичности, заостренности, целевой установки. Будем надеяться, что очередной постановкой «Бронепоезда» Всев. Иванова, «Утиловска» Леонида Леонова, «Растратчиков» Валентина Катаева он приблизится к разрешению и этой, основной теперь для него, задачи.

## VII. Политика и художественная правда. Заключение

Книга Станиславского помимо ее основной темы содержит в себе и еще очень многих глубоких, интересных и продуманных мыслей, касающихся жизни искусства. Чрезвычайно поучительна, например, глава, повествующая о постановке «Доктора Штокмана». Постановка пьесы Ибсена совпала с демонстрацией на Казанской площади. Станиславский



рассказывает: «В самых неожиданных местах, среди действия раздавались взрывы тенденциозных рукоплесканий». Атмосфера в зале была самая напряженная. Самое интересное, однако, на наш взгляд заключается в другом замечании автора: «Мы, исполнители пьесы и ролей,—заверяет Станиславский,—стоя на сцене, не думали о политике. Напротив, демонстрации, которые вызывались спектаклем, явились для нас неожиданными. Для нас Штокман не был ни политиком, ни митинговым оратором, а лишь идейным, честным и правдивым человеком».

Над этим случаем следует подумать и нашим писателям и нашим лирическим управделам. У нас часто относятся к художнику так, как будто он подобно политику только и думает о том, как его игра, как его произведение будут истолкованы общественно-политически. Общественно-политическая оценка и в самом деле является решающей и основной, тем более в наши дни. Но ее нужно давать, никогда не упуская из внимания то чрезвычайно важное обстоятельство, что настоящий художник, прежде всего, стремится к правде художественного показа, и что в этом одна из особенностей искусства. Исполнители пьесы Ибсена не задавались вопросом, как общественно будет звучать исполнение пьесы Ибсена на сцене, потому что они прежде всего думали, заботились о художественно-правдивой передаче драмы норвежского писателя. Поэтому для них «тенденциозные рукоплескания» и являлись неожиданными. Словом, оценивая социологически то или иное произведение искусства, мы должны ставить вопрос, насколько художественно правдиво и истинно изображена в нем действительность и как общественно-политически звучит эта правда в соответственной обстановке. У нас же часто такую оценку подменяют прокурорским следствием: например, исходным пунктом таких оценок делают принадлежность писателя, скажем, к мелкой буржуазии, его путанные и неверные рассуждения, оставляя в стороне вопрос о художественной правде произведения. Искусство есть познание жизни с помощью

образов, при чем огромное значение в этом познании имеет интуиция.

В рассказ Станиславского надлежит вдуматься и многим из современных художников. «Тенденциозные рукоплескания» были неожиданностью для исполнителей пьесы Ибсена еще и потому, что они, увлекаясь художественной правдой пьесы, были совсем равнодушны к политике. Их ум уходил в талант. Такое слепое общественно-политическое состояние совсем не является для художника ни желательным, ни обязательным, иначе с ним постоянно будут происходить «неожиданности» в роде тех, о которых рассказывает Станиславский, иногда эти «неожиданности» бывают крайне неприятны и губительны для художника. Нельзя требовать от художника, чтобы он стал профессиональным политиком, но, как и всякий гражданин, он все же должен отдавать себе общественно-политический отчет в своей работе.

Прямое отношение к вопросу о художественной правде имеют и афоризмы К. С. Станиславского: «когда играешь злого, ищи, где он добрый»... «черная краска только тогда станет по-настоящему черной, когда для контраста хотя бы кое-где пущена белая». В искусстве наших дней нередко забывают об этом правиле: у нас чаще всего преобладает одна краска. Такой метод изображения человека и событий в конечном итоге упирается в вульгарное, якобы марксистское, якобы ленинское понимание классовой борьбы и искусства как классового явления. Забывается, что совсем не нужно заставлять буржуа красть носовые платки, жадать пролетарской крови, быть извергом, идиотом, дабы показать его общественно-реакционное место в современном обществе. Субъективно мысли и чувства людей могут быть очень возвышенными, а объективно общественно позорными и мерзкими. Фашист может быть храбр, самоотвержен, он может искренно полагать, что, расстреливая рабочих, он спасает культуру, искусство, науку,—от этого омерзительный смысл его деяний несколько не уменьшается; у нас же часто не умеют отделять

субъективных состояний от объективного смысла человеческого поведения, поэтому и рисуют одной сплошной краской.

Заслуживает быть отмеченным и другое замечание Станиславского. В одном месте своей книги он пишет:

«Не хорошо, если художник сразу наметит себе такую точку, от которой будет смотреть на все произведение, и зафиксирует ее на первом же законченном и проработанном рисунке. Тогда ему уже трудно будет отойти от этого рисунка для дальнейших поисков, и он делается односторонним, предвзятым, точно обнесенным какой-то стеной, через которую нельзя видеть новых перспектив и которую режиссеру придется брать долгой осадой или измором».

Эту очень существенную мысль надо раскрыть несколько подробнее. Здесь дело не в одной лишь предвзятости. Полная законченность рисунка вредит художественному произведению

и в другом отношении. Художник всегда должен давать известный простор воображению читателя или зрителя. Иногда недомолвка бывает лучше, выразительней старательной законченности, которая насилует читателя, не давая работы его фантазии. Не держите читателя варварски в кандалах, не старайтесь «исчерпать тему» до конца, особенно там, где она неисчерпана пока, не смешивайте характерную мелочь со слишком скрупулезной завершенностью.

В заключение нужно сказать еще об одном. Через всю книгу «Моя жизнь в искусстве» красною нитью проходит неудовлетворенность автора достигнутыми результатами. Он все время в пути, он ищет, он не успокаивается, он упорно стремится проникнуть в «тайное тайных» искусства. Это—путь не ремесленника, а подлинного художника, это—дорога гигантов в искусстве. Таким гигантом и является К. С. Станиславский.

## II. ЖЮЛЬ РОМЕН

### С. Марголин

„У каждого существа где-то в пространстве есть максимум. Пространство ничье. Еще ни одному существу не удалось захватить себе кусок пространства и напитать его единственно только собственным существованием. Все переключается, совпадает, сожительствует.“

Каждая точка служит насестом для тысячи птиц. На одном и том же камне мостовой, есть Париж, есть Монмартр, есть людское собрание, есть человек, есть клеточка. Тысячи концентрических существ“.

*Жюль Ромен.*—„Сяля Парижа“ (гл. VII. Размышления).

### I. Унанимизм

Жюль Ромен, прежде всего, теоретик унанимизма. Он избирает жанры: лирики, новеллы, романа или пьесы не столько из непреодолимого желания проявить литературную многосторонность, сколько для утверждения универсальности унанимистских настроений в поэзии, прозе и драматургии.

Его произведения кажутся наглядными иллюстрациями все тех же уна-

нанимистских литературных принципов. Это скорее пунктуальные экзерсисы, чем непосредственная писательская исповедь. Они не отражают нравов или типов, эпизодических неожиданностей или романтических приключений,—из бескорыстного любопытства в тем или других своеобразным жизненным явлениям.

Книги Ромена пытаются нас увлечь событиями человеческих групп и переживаниями масс—единственного для

этого писателя героя современности. Ромен избегает абстракции, предпочитая им конкретные синтезы. Он отходит от попыток говорить символами, стараясь передавать вполне реальные ощущения, инстинкты и чувства.

Своими литературными приемами Ромен иногда напоминает то Бальзака, то Стендаля, то Флобера. Во всяком случае он пользуется старыми литературными традициями.

Если он и вполне современен своей психологией, то манера его письма возвращает нас временами даже к классикам XVII и XVIII вв. Унанимизм Ромена выражен его мирозерцанием, его моралью, его литературным стилем, созвучием в социальных темах о человеческой солидарности с Прудоном, Уитманом, Верхарном, Ш.-Л. Филиппом.

Один из критиков Ромена — Бенжамен Кремье убеждает нас в том, что Ромен перевел эстетику на язык социологии, продолжая дело Тарда и Дюргейма.

Признавая возможность известных влияний французских социологов на творчество Ромена, мы все же склонны усмотреть чрезмерное преувеличение в предположении Кремье. В этом случае справедливо лишь то, что Ромен специализировался, как философ, в вопросах психологии толпы на основе учения Тарда и Дюргейма.

До сих пор Ромен не перестает надеяться на способность превращения бесформенной и аморфной толпы под воздействием благородных побуждений или других стимулов — в энергичную и единую массу, зараженную единством мысли и страстей.

Увлекать разрозненные толпы сознанием необходимости этого единства, выковывать нить единодушия и представляется Ромену миссией и призванием унанимизма.

Бенжамен Кремье сравнивает поэта унанимиста с булочником, выпекающим из рыхлого теста — хлеб. Унанимизм, очевидно, открывает секрет той температуры, при которой толпа видоизменяет свои формы и принимает ту или другую физиономию.

Ромен совершенно убежден в способности унанимизма проникнуться

своеобразной житейской мудростью масс. Меньше всего он хотел бы походить на пилота, парящего, подобно поэту-символисту, в одних фантастических эмпиреях. Но действие все же не заменяет ему радости созерцания. Действие для него лишь будущий слутник мечты. Вместе с тем, Ромену не интересно мечтать в одиночестве. Он желает мечтать — коллективно и об одном общем, столь излюбленном французскими интеллигентами идеале «солидарите» (solidarité).

Одинокое созерцание для Ромена — не состоятельно. Коллективное созерцание — окрыляет его верой в то, что он когда-нибудь проникнет, если не в классовые взаимоотношения французского общества, то уж во всяком случае в метафизические тайны мироздания.

Ромен и стремится указать французской литературе унанимистический путь этой коллективной мечты. Увы! Его плохо слушают в стане французских поэтов и беллетристов, витающих в фантазмагориях своего вымысла и в увлечениях своего анархического индивидуализма.

Еще недавно Ромен возглавлял целую литературную группу. Она известна в истории французской литературы под именем «аббатства». В числе ее членов состояли помимо Ромена: Дюамель, Вильдрак, Аркос, Шеневьер, Дюртен и Жув.

Обосновавшись в замке покинутого аббатства на берегу Марны, в местечке Кретейль, группа устроила нечто в роде общины, добывала себе средства к жизни совместной работой в типографии, печатала и набирала свои книги и готовила завоевать авалпосты французской поэзии и прозы своими гуманистскими и пацифистскими произведениями. Образ жизни «братства» приближался к мечтам Фурье о «фаланстере». Характер ее творчества — чаяниям некоторой части французского общества, наиболее уставшего от утонченностей всех других литературных течений и своего собственного.

«Аббатство» являлось реакцией против символизма, вождь которого, Поль Фор, объявлялся устарелым поэтом. На смену символической школе и уж

сменяющему ее «натуризм», утверждающим индивидуализм, unanimисты намеревались захватить французскую интеллигенцию своими социальными идеями.

Символисты как раз в эту пору оказались этой интеллигенции слишком отвлеченными. Кубисты — во главе с Гильомом Апполинером — невыносимо жестокими в своем стремлении также механизировать искусство, как и промышленность. Интимисты и фантазисты — оторванными от живой действительности. Сюр-реалисты — излишне субъективными в своих пессимистических выводах. И, наконец, дадаисты со своей скептической иронией — опустошенными нигилистами.

Унанимизм пленял иллюзией религии человеческого единства, и потому неизбежно должен был стать временным прибежищем известного слоя интеллигенции. Интеллигенция Франции — в целом, как и Ромен — в частности, повидимому, еще не нуждалась в мирозерцании коллективного действия, вполне довольствуясь возможностью коллективного созерцания.

Увлечение унанимизмом, впрочем, скоро проходит. И этой литературной школе, как и многим другим школам литературного Парижа неизбежно должен был притти быстрый конец. Былые соратники «аббатства» изменяют унанимизму, но отнюдь не в силу своего сдвига в сторону активизма, а, напротив, для того, чтобы еще глубже замкнуться в своем внутреннем мире.

Группа «аббатства» распадается окончательно. Замок на Марне обвит паутиной. Один Ромен продолжает сохранять верность унанимизму до этих дней, представляя его отныне только своими собственными поэтическими и драматургическими опытами. Его ближайший сотрудник в период существования «аббатства», Дюамель сегодня заявляет о своем устремлении к одиночеству. «Я не предвижу никаких других объединяющих настроений, кроме настроений недоверия или отворачивания друг к другу».

Ромен более последователен. Он все соблюдает те же заветы, какие руководили им в 1906 году, когда он начал свою литературную деятельность, вы-

пуская в свет свой первый томик стихов — «Душа людей». Он готов подтвердить воззрения своих книг, датированных 1908 годом: «Жизнь унанимизма» и «Оды и молитвы» (Жюль Ромен — псевдоним писателя. Его настоящее имя Луи Фариголь, оставленное им через четверть века его жизни, т. е. с года его поэтического дебюта в 1906 г.).

Ромен безусловно ограничен в процессах своего литературного развития. Он возвращает нас к наиболее примитивным сюжетам, к синтетическому и эпическому искусству, к стилю, образующему свои неожиданно четкие формы в сочетании уже обусловленной нами традиционной манеры французского письма и чисто-научной закономерности. Он занимает нас то техникой кинофильмы в романе «Доногоо-Тонка», то исторической романтикой в пьесе «Кромдейр старый», то причудливым сочетанием натурализма и фантастики в новеллах «Силы Парижа».

Переноса со стойкостью свое сегодняшнее литературное одиночество, Ромен предчувствовал раскол группы еще в период неразрывной связи всех ее членов.

Уже тогда он оговаривался: «Унанимисты не имеют никаких внутренних или внешних правил, никаких установленных и абсолютных законов. Каждый из нас подчиняется своему собственному вдохновению и следует своей собственной программе».

Из всех унанимистов одному Ромену досталось в удел насаждать французский уитманизм. Если сейчас этот уитманизм и выражен ярче на страницах Барбюса и Ампа, то все же и Ромен стремится исповедовать его в своих новых произведениях.

## II. Мистификация

Жюль Ромен редко рассказывает о том, как люди страдают, но очень часто о том, как они смеются.

После его пессимистической повести «Чья-то смерть» прошло уже пятнадцать лет. Ромен не возвращается больше к теме о смерти. Напротив, он всецело заполнен устремлением искать во всем и везде — смех. Смех для Романа возбудитель живых чувств. Смех

открывает для него сердца, так же возрождая их к жизни, как буйный дождь — почву после засухи. Смех определяет характер класса и нации, к которым мы принадлежим от рождения. Смех по Ромену — начало коллективное, страдание — индивидуальное. Иногда мы не смеемся так жизнерадостно наедине, как на людях.

Ромен задался целью дискредитировать две легенды — о красоте страдания и о величии одиночества. Мопассан и Достоевский полярны всей его внутренней сущности. Мопассан уверял нас в том, что в любви один и один дают в сумме два, вместо того, чтобы составлять единицу. Ромен же желает нас уверить в другом, в том, что в любви один плюс один образуют бесконечность. Мопассан находил единственное утешение в своих трагических сомнениях в одиноком плавании на яхте по Средиземному морю. Ромен раз'езжает на судне, сверху до низу загруженном людьми, радуясь возможности соприкасаться с пассажирами разных наций и искать с ними общих переживаний.

Ромену непонятны душевные мытарства, приводящие к безысходности. Вот почему ему чуждо творчество Достоевского. Ромен убежден в том, что стоит только отдаться со всей присущей человеку непосредственностью своему чувству единства с массами для того, чтобы, растворившись в массах, освободиться этим от бремени страданий. (Ромен, все же, слишком поверхностен и примитивен для того, чтобы понять Достоевского.)

В современной французской литературе Ромен — наиболее активист из всех мечтателей, наиболее коллективист из всех индивидуалистов, и, наконец, наиболее полнокровный писатель в той очевидной анемии меланхолических грез, которыми пропитано как дымом большинство ее произведений. Комический фольклор — своего рода тропическая растительность, щедро возросшая на земле Жюль Ромена.

В привязанности к комическому до этих дней об'единяется после всех разногласий литературная семерка «аббатства».

Семь — традиционная цифра, некий символ Ромена, может быть, минимум

людей для образования коллектива. Семь поэтов способствовали некогда созданию унанимистской школы. Семь «обормотов» (les sorains) способствуют теперь использованию ее принципов в комическом преломлении, в гуще французской действительности. «Обормоты» — двойники унанимистов в годы их ранней и бурной молодости. Это семь Фигаро при семи рыцарях пера. Семь беспутных, беспечных насмешников и шутников, для которых в мире ничего не существует, кроме радости мистификации. Семь неразлучных «обормотов»: Брудье, Мартен, Юшон, Омер, Лэсюэр, Ламанден и Банен и семь поэтов: Ромен, Дюамель, Вильдрак, Аркос, Шеневьер, Дюртен и Жув великолепно сцепились друг с другом. Из всех обормотов неразлучный Фигаро Ромена — Бенен, бесспорный вождь всех Фигаро на земном шаре.

У каждой французской литературной школы свои приемы пропаганды или рекламы. Одна пользуется формой зажигательных манифестов, другая — научными трактатами, третья — суевливыми кафе или эффектными салонами. Унанимисты пропагандировали свои принципы мистификацией. Их двойники — «обормоты» — поступают точно так же. (Мистифицировать \* легче, чем убеждать логикой!). Но мистификация Ромена обладает особым свойством. Она скорее созидает, чем разрушает. Из ничего она создает не одни только живые эмоции, но и город «Доногоо - Тонка». Мистификация подтрунивает, хлещет, иронизирует, но и оздоравливает. Мистификация беспощадно сурова к бессилию, выдающему себя за силу, к дряхлости, претендующей на почет, к тупости, узурпирующей высоты управления. Мистификаторские похождения «обормотов» посвящаются Роменом современной интернациональной молодежи в виде наставления к веселью и требника шутливой мудрости. Студенческим проказам, знакомым нам еще с XV века, придан некий общественный смысл. «Обормоты» шутят над церковью государством и армией. 86 департаментов Франции «с острями, колючками, крючьями, да еще с трещинами, щелями, выбоинами, дуплами,

дырками» распластывают перед ними на географической карте всю страну, убеждая в необходимости срезать шипы и заткнуть дыры. «Обормоты», конечно, не революционеры, а только беспечные гамены. Они будоражат социальные язвы, но не оперируют их. Они нащупывают большие места, отнюдь не собираясь их лечить. Это обеспеченные студенты из буржуазной французской среды, учащиеся в парижском университете на родительские средства и недостаточно осведомленные о самостоятельной борьбе за существование. В роли мистификаторов они чувствуют себя искусными пловцами против течения реки.

В качестве жертв очередных мистификаций «обормоты» избирают два захудалых провинциальных города: Амбер и Иссуар. В Амбере они будят глубокой ночью начальника гарнизона и, выдавая себя за представителей французского правительства, заставляют его отправить до рассвета через весь город амберские войска на вокзал для подавления несуществующего восстания.

Авантюра совершена: «Амбёр брызнул»... «Он существует». В залпвших мозгах амберских обывателей зашевелились обрывки мыслей, в ожиревшем сердце — волнения. Обман, конечно, выяснится. Гневу Амбера не будет предела. Но гнев поларен сонливому унынию. Он всколыхнет беспробудную тину французской обыденщины в одном из 86 департаментов. Если бы кто-либо позволил себе заметить Ромену, что подобная мистификация, с точки зрения наших понятий, может быть определена как хулиганство, то Ромен, вероятно, был бы не только изумлен, но и огорчен. Для него мистификация лишь средство вскрытия существующего социального хаоса и обывательской пошлости. Вот Ромен обнажает обывательское сладострастие в церкви в час проповеди гонца папы — отца Латуиля, под видом которого и импровизирует свою речь Бенен.

Обывательщина во всех видах и формах — пахотное поле для мистификации. Впоследствии «обормоты» остепенятся. Но пока у своей второй жертвы — города Иссуара — они подменива-

ют фигуру памятника местного героя Верценгеторикса одним из «обормотов», восседающим на бронзовом коне. Все кажется им только предлогом для их беспечной и острой игры. Самое сотворение мира для них не столько вероятность, сколько мистификация. Бенен даже покушается на философское обоснование того, что бог, если он действительно существует, — мистификатор. Бенен вообще силится установить произвольные соотношения между вещами и людьми, подчиняясь в этом одному только своему наитию.

В кино-романе «Доногоо-Тонка» Бенен незримо руководит сложной сетью мистификации в содружестве с сомнамбулой-предсказателем. Третий город «обормотов» возникает из одних рекламных флюидов, во имя утверждения чистой фукции. Мистификация, потрясая бытовые основы, заманивает золотыми приисками переселенцев из европейских и внеевропейских стран перебраться в Доногоо-Тонка. Труадек — один из неизменных персонажей Жюль Ромена — идеальная мишень и отличный объект для развития игры мистификаторов. Этот географ-маньяк в меру глуп, хитер, бестолков, корыстолюбив и доверчив одновременно. Из него, как из воска, удобно лепить любые личины. Труадек — пустая резиновая шина, которую Бенен накачивает воздухом, заставляя надуваться до максимального предела. В пьесе «Труадек веселится» Бенен способствует роману Труадека с парижской актрисой Роланд в Монте-Карло. Труадек здесь — почти — играет роль шекспировского Мальволио из «12-ой ночи». В пьесе «Женитьба Труадека» Бенен заставляет Труадека возглавить своим профессорским авторитетом «партию честных людей», на вербованную им из подонков общества и заведомых негодяев. Ромен, несомненно, подчеркивает этой пьесой то, что многие другие политические партии в «третьей республике» — не лучше. Мистификация комедии берет под обстрел своей язвительной и часто беспощадной иронией устои науки, политики и прессы большого света, полусвета и деклассированных низов современного Парижа. Комитет «партии честных людей» —

зверь какой-то новой породы, с трепетаниями и гибкими нервными реакциями живого тела, укрощаемого и дрессируемого Бененом. Сатира дает ощущение некоего рода биологической примитивной драмы, соединяющей веселость эпизодов и забавность диалога с общим впечатлением силы и остроты. «Женитьба Труадека» наиболее рельефно выявляет природу роменовской драматургии и более определенно намекает на неустойчивую эквилибристику политической общественности Франции. Недаром место действия одного из центральных актов комедии откровенно переносится на турники, трапедии и кольца гимнастического зала. Другая пьеса Ромена — «Торжество медицины» (Кнок) мистифицирует здоровых обывателей, превращая их в пациентов предприимчивого доктора Кнока и возвращая зрителя пьесы к истокам Мольеровского театра («Мнимый Больной»).

Реакционная парижская критика в лице Анри Бери, прославившегося своими пасквильными памфлетами «Красная Москва», опасается найти в Ромене драматурга, соблазняющего своими анти-патриотическими мистификациями не только сцену Комедии Елисейских Полей, но и революционные страны. Бери угадал. Ромен действительно заинтересовал своей драматургией театры Москвы.

### III. Партизанщина

Стрелы Ромена чаще всего направлены непосредственно по адресу французской буржуазии. Ромен подтрунивает над ней при каждом удобном случае (но так, чтобы не приводить ее в ярость). У молодых франтов с Елисейских Полей Ромен замечает «взгляд извозчицкой лошади» и природу «убойных животных». Старых франтов в этих же местах он сравнивает с «складными автоматами» в витринах бельевых магазинов на больших бульварах. Даже детей буржуазии Ромен перестает щадить за то, что они сами так беспощадно презрительны к метельщику в сквере, все на том основании, что у них был дедушка, торговавший неграми, или бабушка, продав-

шая во Франкфурте очки. Больше всего достается от Ромена, однако, прислужникам буржуазии — лакеям, которыми она пользуется, как своим стулом или саломной щеткой, и которые позволяют себе брезгливо относиться к людям других кварталов, не взирая на то, что перед встречей с истыми пролетариями Парижа эти лакеи только что выносили ночные горшки из барских спален.

Ромен пытливо следит за проявлениями социального недовольства в рабочих районах и вслушивается в их протестующий гул, доносящийся порою в парижские центры. Писатель внимательно отмечает многочисленные факты единичного или коллективного протеста. Он записывает их, как самую интересную хронику и устраивает горячие овации протестантам в своих новеллах. Но Ромен только и ограничивается ролью чуткого репортера партизанских выступлений против политических насилий во всем мире, умея в художественной форме передать сделанные им наблюдения. То он сообщает о том, как наемный официант демонстративно покидает буржуазную семью, которой он сервирует обед в день гапоновской катастрофы в Санкт-Петербурге, заявляя им: «В Париже вам не дожидаться царских казаков!». То о французском рабочем, произносящем в лондонском Гайд-парке в тот же день на ломаном английском языке свою громовую речь против русского царизма столь возбужденно, что вокруг него собирается сочувствующая ему толпа.

Ромен непрерывно регистрирует подобные случаи протестантства по разным поводам и в разных местах. Некоторые его новеллы преподносятся просто как документы о выступлениях партизанских одиночек или групп. Отдельные его персонажи готовы отказаться европейцам в имени людей, если они не перестанут замалчивать все те общественные преступления и противоречия, которыми насыщен хотя бы один только Париж.

Между тем, привычки Ромена к созерцанию исключают в нем возможность глубокого революционного воздействия. Ромен сознает всю необхо-

димось общественное пересоздания Европы, но вряд ли серьезно представляет себе неизбежность ее будущей социальной революции. Унанимизм не только не закладывает ей фундамента, но и не ищет ее почвы.

Партизанские выступления кажутся Ромену достаточно героичными и могучими. Писатель воображает, что любое обилие шашек, винтовок и пулеметов мировой буржуазии не сумеют остановить своими заградительными отрядами этих партизанских вспышек в Европе. Фантазия подсказывает Ромену самые неожиданные формы революционных восстаний. Вот шофферы в целях поддержания железнодорожной забастовки, мчатся стройными колоннами со своими пустыми автобусами по парижским улицам и площадям, сбивая прохожих и разрывая цепи полицесменов.

Так, не будучи революционером по существу, Ромен ищет революционные порывы, способные проникнуть повсюду и заразить максимальное количество людей. Ромену интересно предполагать, что он может совпасть в своих революционных настроениях с каким-нибудь кочегаром на океанском корабле или негром на чайных плантациях. Но не до тех ли пор, пока подобное совпадение настроений не потребует от него оставить свой писательский кабинет?

Жюль Ромен, как и Дюамель, заинтересован советским строительством и собирается приехать в СССР еще в текущем году. Только здесь Ромен осознает весь контраст между созерцанием и действием, между партизанщиной и подлинной революцией.

#### IV. Утопизм

Беспрерывное общение людей в кафе, барах, дансингах, салонах, трамваях Парижа Ромен готов принять как зачатки будущего коллективного быта. Обед в ресторане, прогулка по скверу, езда в вагоне подземного метрополитена бок-о-бок с своими современниками, радуют его самым фактом беспрерывных соприкосновений между отдельными людьми. Если Париж в его настоящем виде и далек от идеала че-

ловеческого общежития, то Париж вдохновляет для мечтаний о возрождении «фаланстеры». Париж — временный полустанок, благодаря которому удастся перебраться в будущую общину. Ромен не запосится в даль в своих утопических предположениях. Его не занимают измышления современной инженерии. Он ничем не напоминает французского Уэллса. Он не увлекается усовершенствованиями индустрии и техники. Утопизм Ромена регрессивен. Вопреки Уэллсу он обращается не к будущему, но в глубь времен в поисках лучших форм быта. Париж настраивает писателя на романтический лад. Каждая парижская улица обдаёт его вихрем чудесных искр. Весь Париж в целом скрещивает на его глазах мириады человеческих союзов. Каждое колесо на парижской мостовой звучит для него музыкой. Тысячи вспышек общения создают вокруг него атмосферу романтической любви между бесчисленными женщинами и мужчинами, сталкивающимися друг с другом. Париж вырастает в электрическую станцию нашего поколения, на которой все присутствующие либо притягиваются друг к другу, либо заряжают друг друга энергией своих внутренних зарядов.

Все площади и скверы взволнованы своей кипучей динамикой. Париж переживает в восприятии Ромена переходный период от индивидуализма к коллективизму. При всем своем упоении современностью, обдающей его гономом, трезвоном, огнями, Ромен делает вылазки в героическое прошлое французских преданий. Тот же противоречивый Ромен, первым из французских писателей, создал словесные памятники парижским улицам. Гигантские формы Парижа внушают ему такие же гигантские образы природы. В Ромене пробуждается пантеист.

Он воспевае могучую реку у подножья старого Кромдейра и его мощные горы. Он проникается патетикой стихий и делается поэтом крепких духом и телом патриархальных французских крестьян, живущих в домах из базальтовых глыб, сообщающихся между собою беспрерывной линией дверей. В старом Кромдейре Ромен пы-



тается открыть новую церковь, распи- сывая ее дикими орнаментами в знак того, что она обуреваема неистовым огнем человеческого духа. В ней Ро- мен надеется собрать разрозненное звучание Парижа в гармонически- слитую и величественную симфонию унитаристского мироощущения. Здесь этот несправимый мечтатель наде- ется повергнуть в прах старые—зако- ны и заняться починкой «господа бога».

Но унитаристская церковь Ромена

повторяет на новом языке богослуже- ние парижских соборов. В отрыве от действия, унитаризм не может вести вперед, а неминуемо зовет назад.

Пафос романтических образов не прикрывает его впутренной опусто- шенности. Близкий нам в своем сар- казме над Европой Ромен отдалается от нас, как только он облачается в «гра- нитную рубашку» романтической по- эзии об унитаризме — разновидности французской маниловщины.

### III. ПО ДЕРЕВНЯМ И ГОРОДАМ КИТАЙСКИМ

Сергей Далин

#### I. Пути-дороги гуандунские

16 ноября 1926 года. День пасмур- ный, серый. А ведь несколько дней то- му назад из-за духоты невозможно бы- ло спать. Приходилось раскрывать окна и балконную дверь.

В семь часов утра завывла под окном автомобильная сирена. Пришли кули, забрали вещи, уложили их на автомо- биль и двинулись к пристани.

Мы пошли туда пешком. Катер «Пав- лов» уже ждал нас. Вот и первые про- щальные сценки: старуха, типичная китайская старуха, в шароварах, с за- бинтованными ногами приехала на рикше провожать своего сына. Он ехал с нами в качестве переводчика. Сын кланялся почтительно и грациозно, мать что-то шептала, но не было ника- ких поцелуев и никаких объятий. Что касается объятий, то это в представле- нии китайца верх неприличия, а поце- луй производят на них, примерно, та- кое же впечатление, как на нас вид крестьянок, ищущих друг у друга в голове. Китайцы, право, культурнее нас в этом отношении: нет у них ни поцелуев, ни объятий, есть поклон, а в нем столько трогательной почтитель- ности, что при виде его смягчается металл.

Люди были одеты в походные костю- мы цвета хаки, в военных фуражках, кое у кого на поясе болтались кобура и походная книжка, у всех были фото- графические аппараты и термосы.

Катер затрещал, осел кормой в во- ду, заленил в мутной желтой воде и отвез нас к вокзалу.

Улица на этот вокзал еще не проло- жена. Он стоит на берегу реки Жем- чужной и под'езд к нему возможен только на лодках или катерах.

Вокзал был загружен народом. Шпа- лерами стояли войска, рабочие органи- зации, толпились провожающие, реяли красно-голубые знамена, суетились фотографы и кинооператор, давались последние распоряжения министров по своим ведомствам.

Но вот окрестр оглушил нас нацио- нальным гимном, маршами, канонадой, затрещали пороховые хлопущки и по- езд тронулся.

Кантон остался позади в прямом и переносном смысле: правительство пе- реезжало в новую столицу, в сердце Китая—Ухан.

Салон-вагон. Не такой, как у нас, а нечто в роде нашего вагона третьего класса, только вместо спальных эта- жей—длинный стол, покрытый белой скатертью, со стульями вокруг него. Министр иностранных дел, Евгений Чен, даже в вагоне был в форме: в черном штатском костюме и в англий- ском дождевике. Дочка его, только-что вернувшаяся из Англии, была в английском верховом костюме. Она очень похожа на мулатку, ибо ее мать—негритянка.

Китай она видит чуть ли не впер- вые и разглядывала его с большим

любопытством, чем мы. И она была «без языка», ибо и она, как и мы, и ее отец, китайского языка не знали и говорили по-английски.

Старик Сю-чен, министр юстиции, ехал с женой и презабавной семилетней дочкой, которую все, даже китайцы, называли по-русски «Маленький Китай». Это прозвище она получила в Москве, откуда со своим отцом и матерью недавно вернулась. Забавная драчунья — «Маленький Китай» — была одета в московский костюм.

Главным распорядителем и организатором путешествия был министр финансов Ти Ви-сунг. Он был одет в военный костюм и, непоседливый, носился из одного угла в другой, суетился, не был похож на спокойного, медленного китайца. Сестра его — вдова Сун Ят-сена угощала нас фруктами, сэндвичами и горячим чаем. И при ней было маленькое чадо, ее племянник — мальчишка лет двенадцати, великолепно говоривший по-английски и заявивший нам, что в Японию он не поедет, ибо это монархия; по той же причине не желает ехать в Англию, но мечтает об Америке. Мы предлагали ему ехать в самую антимонархическую столицу — Москву, но мальчишка ловко изворачивался из затруднительного положения. Симпатии его лежали к Америке.

Ехало в вагоне и еще несколько членов ЦК гоминдана, но по-английски они не говорили, и наше знакомство ограничивалось тем, что друг другу любезно предлагали свои места.

Поезд плелся медленно, хотя и был он курьерским. Революция во всех, как видно, странах плохо отражается на шпалах: они были в таком состоянии, что если наш поезд и не потерпел крушения, то это было простой случайностью.

Станции все были разукрашены революционными флагами, всюду стояли почетные караулы, всюду на станциях с оглушительным треском рвались порохом хлоплушки.

В восемь часов вечера мы были уже в Шао-Гуане. Это — большой уездный город и конечная станция железной дороги, которая по плану ведет в Ханькоу, но которая не достроена. Расстояние от Кантона до Шао-Гуаня соста-

вляет лишь 200 верст. Отсюда нужно было двигаться в Ханькоу пешком, а путь этот занял, с незначительными остановками в Нанчане и Кулине, двадцать пять дней.

Шао-Гуань — древний городок: об этом говорят его каменные стены, башни и бойницы. Он расположен на реке Северной, прорезывающей всю Гуандунскую провинцию; сюда стекаются по этой реке товары, перегружаются в вагоны и следуют в Кантон и обратно таким же путем.

Вот почему с тех пор, как проложили железную дорогу, Шао-Гуань превратился в крупный торговый город.

Было уже темно, когда поезд подошел к перрону, запруженному народом, шумевшему непонятной речью.

Командир дивизии второго корпуса пригласил нас в город на митинг и банкет.

Пошли. По плоту перешли реку, и шли, как ночь темными, глухими, вымершими улицами; охрана освещала путь электрическими фонариками. Шли долго, пока не уперлись в древние каменные крылатые ворота. Это — шаогуаньский ямынь (присутственные места). Здесь, в этом типично китайском дворце с портиками и лабиринтом двориков, выложенных камнем зал, жил когда-то начальник уезда. Сейчас здесь находится штаб дивизии и местные власти. Дворец был разукрашен знаменами и лозунгами. Два полотна с лозунгами, висевшие у входа, врезались в память: «Правый гоминдан есть орудие в руках иностранного империализма» и второй — «Только левый гоминдан является наследником Сун Ят-сена и защищает интересы народа».

Было уже поздно, но, несмотря на это, стал собираться народ на митинг в одну из зал. Митинг был «подобранный», т. е. состоял из представителей всех организаций. Впереди, в первом ряду, сидели в белых кофточках и черных юбочках местные школьницы во главе с учительницей, сзади сидели чиновники, немного рабочих, купцы в шелковых халатах и небольшая кучка солдат. Над трибуной висели портреты Сун Ят-сена, Ленина и Маркса. Под аккомпанемент церковного органа (откуда он забрался в Шао-Гуань?)

школьницы пели не то псалмы, не то народные песни. И хоть над нашими головами висели опровергающие портреты великих революционеров, но мы почувствовали себя, как в костеле. Недоуменно смотрели друг другу в глаза и из вежливости восторгались божественными звуками католического органа.

Это был первый митинг в пути. Мысли еще были в Кантоне, и речи вращались вокруг победы национально-революционной армии и вопроса о том, почему правительство переезжает в Ухап. После митинга состоялся банкет. Это был обильный китайский ужин, с супом из плавников акулы, по-китайски приготовленных кур и уток, китайских пряностей, ласточкиных гнезд. У каждого стола стоял солдат, горко следивший за тем, чтобы рюмки у гостей не были пустыми. Командир дивизии пил безбожно, но пьян не был. Он сидел с нами, но пользовался каждым случаем, чтобы провозгласить то-сты у каждого столика в отдельности.

Часа в два ночи двинулись обратно на вокзал. Неимоверно клонило ко сну. Нам предложили пойти спать в шаогуаньские гостиницы. Вот они. Это — ярко освещаемые большие крытые лодки, стоявшие в реке у плота. Из этих ботов-ресторанов доносилась китайская музыка. Они слишком напоминали кантонские цветочные боты, и мы решились спать в вагоне. Усталость побеждала и, сидя на стульях, заснули крепко. Москиты не кусались, не тревожили...

Утром должен был начаться наш великий переход.

Партии кули, приходившие утром на вокзал, имели вид мокрый и безучастный. Шаогуаньские власти, предупрежденные о поездке правительства, еще вчера мобилизовали всех шаогуаньских кули. Кули приходили со своими коромыслами, им прикрепляли номер, записывали их, и процедура эта была шумной и сварливой.

Затем не хватило кули. Офицеры для поручений бегали, суетились, убегали в город и порой за шиворот таскали людей в качестве кули. Галдеж, брань и кинооператор, ловивший улыбку министров.

А кули все же не хватало. Тогда умчался в город организатор путешествия — министр финансов Т. В. Сунг. К часу дня, наконец, привели отряд военных кули. Они отличались от остальных своей теплой военной формой. «Кульный» вопрос был таким образом разрешен. Сейчас не хватало коромысел. Снова суета — и, наконец, достали и коромысла. После этого не было в достаточном количестве веревок...

Так, в суете, гаме и крике прошло семь часов, пока, наконец, в два часа дня не тронулись.

Чэры, т.-е. паланкины, были еще заранее приготовлены в Кантоне. Чэры были легкие, бамбуковые, с навесом, предохранявшим от дождя.

У каждого чэра были восемь человек кули, по четыре человека в смене. Два кули были прикомандированы к каждому чемодану или корзине.

Чэров было не более тридцати, а процессия растянулась версты на три.

Каждый министр имел восемь кули для паланкина, не менее 20 кули для своих вещей; повара, няни, слуги шли пешком; четыре человека телохранили, вооруженных маузерами, бегали все время вокруг чэра своего министра, так что каждый паланкин обслуживали не менее, чем сорок человек. Помимо этого целая рота кули переносила мелкое серебро для дорожных расходов. Нужно было платить кули, за продовольствие, все это нужно было оплачивать мелкими деньгами. Кантонские бумажные деньги за пределами гуаньдунской провинции не имели обращения. Нужно было платить звонкой монетой. И для этого министр финансов возил с собой свои реальные фонды в мешках. Кули таскали мешки под охраной роты солдат. А охрана нужна была: не было уверенности в том, что кули с денежным мешком не свернет с пути. Нельзя сказать, чтобы у министра финансов была большая уверенность и в охране. Бедный, он больше всех переволновался за эти дни нашего путешествия!..

Вся процессия в целом охранялась батальоном солдат, разбитым на авангард и арьергард, замыкавший процессию. И все это передвигалось гуськом,

все это тянулось цепью, при чем не было видно ни ее начала, ни конца.

Тронулись. Взвалили кули коромысла с грузом на плечи, поднялись на их спины чары, затоптались люди, пока тронутся впереди идущие, и вокзал шаогуаньский остался позади.

Не было ни проводов, ни приветствовавшего народа, был дождик и люди в Шао-Гуане сидели дома и радовались, вероятно, тому, что все обошлось благополучно. Особенного любопытства к своему правительству они не проявили.

Шли. Сперва по железнодорожной насыпи, по которой должны быть в будущем проложены рельсы, которые соединят Шао-Гуань со столицей хунаньской провинции—Чаншей. Хорошо утоптанная насыпь, напоминая наши большаки, привела нас скоро к разочарованию: она оборвалась у холмика, где кончалась современная цивилизация. Мы шагнули направо, перескочили через канаву и пошли по едва заметной в траве тропинке. Это был великий путь из Гуандуньской провинции в Цзянси. При потере равновесия вы попадали, одной ногой в болото залитого водой рисового поля. Становилось темно. Тропическая ночь наступала сразу. Дождь становился сильнее, тропинки—более скользкими. До жути было темно, ни одного огонька не было видно во всей окрестности. В темноте растерялись отдельные части нашего каравана: некоторые отстали, некоторые ушли далеко вперед. Паланкинщики зажгли фонари, но ветер беспрестанно тушил их. Пустили в ход свои электрические фонарики. Тропинки стали перекрещиваться, и если мы и не сбились с пути, то только благодаря этим электрическим фонарикам. При их помощи на перекрестках кули находили поросший травой камень, на котором был высечен указывающий путь иероглиф.

Наличие этих каменных указателей было единственным признаком того, что эта тропинка не случайная, а государственный путь. Ночью проходили через деревни. Тропинка расширялась в аршинный по ширине путь, который был вымощен камнем. По обеим сторонам дороги глухие стены с на-

весами, под которыми едва заметны были наглухо закрытые двери. Ни окон, ни света, ни звука, ни лая. Мертво, как на кладбище.

Шли так долго, пока, наконец, не пришли в маленькую волостную деревню Та-чао. Здесь стоял неопишемый гам. Количество пришедших кули и солдат превышало в несколько раз население деревни. Кули требовали место для ночевки, а мест не было.

Нас привели для ночевки в храм предков. Он стоял у подошвы довольно высокой и покрытой лесом горы. Это было единственное кирпичное здание в деревне. В храме уже было полно народу. Передние две палаты были уже заложены нашими вещами. Одна комната была занята телохранителями министров. Остался алтарь и рядом с ним двухэтажная комната. Страшные золоченые и запаутиненные боги на алтаре сердито смотрели на нас, когда мы уселись под ними завтракать, обедать и ужинать—все вместе сразу, ибо целый день ничего не ели, прошли же 40 ли (20 верст). Несмотря на усталость, аппетит был волчий.

Клонило ко сну. Мы разложили свои походные койки, легли и, только проснувшись рано утром, заметили, что наш храм не подметался, не очищался от пыли, паутины, плесени со времени его основания. Бородин смотрел на это философски и говорил о том, что советская ВЧК будет лишь игрушкой по сравнению с китайской, когда ей придется очищать страну от контрреволюции, паутины и грязи.

Храм предков. Ночевать в храме, разложить койки, затащить вещи, курить и рассказывать анекдоты под богами—у нас это было бы худшим видом богохульства. В Китае это не так, в Китае эти храмы, прежде всего, являются постоянными дворами для странствующих, для приезжающих на происходящие во дворе храма деревенские ярмарки.

Утром начались первые неприятности. Сбежали кули. Это было неопровержимым доказательством того, что в Шао-Гуане власти перестарались, набирали кули насильно и, вероятно, соврали кое-кого с постоянной работы.

И этот насильно согнанный элемент воспользовался первой возможностью, и темной ночью сбежал домой.

И так было каждое утро, после каждой ночевки. Взамен убежавших насильно пригонялись на каждой станции новые партии кули, и эти сбежали первой же ночью.

Немногими удачниками оказались те, кто, выйдя из Шао-Гуаня, пришел в Каньчжоу с теми же кули. Кули обыкновенно в значительной части разбегались.

В паланкинах мы не особенно нуждались, ибо шли все время пешком, садясь в паланкин только из соображений, главным образом, политического свойства, но все же мы целиком зависели от тех кули, которые несли наши вещи. У министров и их секретарей были слуги, и, в случае недостатка кули, он оставлял свои вещи на попечение слуг; мы же передвигались, конечно, без слуг и без языка, и если бы не наши товарищи-переводчики, то мы, вероятно, получили бы немало телеграмм с соболезнованием по поводу того, что остались на той или другой станции.

Так было и сейчас. Оставив в храме на произвол судьбы свой чемодан, двинулся дальше. Дорога здесь была лучше, ширина ее местами доходила до того, что можно было идти вдвоем и рядом. Местность была гористая, и мы двигались между горами, кружились неимоверно и, пройдя почти без остановок 60 ли, пришли снова в более крупную, чем предыдущая, волость — Чжан-коу.

Мы остановились здесь в военном складе. Это было большое каменное здание, конечно, без окон; солнечный свет сюда никогда не проникал. Склад был пуст и холоден, но чище и просторнее, чем храм предков. Власти приготовили к нашему приходу великолепный ужин. Это были кадки с рисом, китайская лапша, рубленая на мелкие куски курица. Голодные, мы великолепно орудовали палочками, заливая ими в рот отваренный без соли рис. Повар наш наварил целый котел кофе, и мы черпали кружками согревающий напиток.

Чувствовали мы себя более чем великопно, ибо обстановка, быт и пра-

вы напоминали наш 19 год. Мы имели удовольствие повторить в продолжение двадцати дней эпоху военного коммунизма, и поэтому были более чем восторженны. Чувствовали себя в этой обстановке, как рыба в воде, и порой казалось, что мы вовсе не в Китае, а на семнадцатом дне поездки по железной дороге из Москвы в Оренбург.

Министры хандрили и ныли от этой революции в быте.

Ночь прошла, и многоверстный обоз тронулся. Закачались на мускулистых плечах зеленые паланкины, затрубили впереди горны солдатские, собрались у дверей жилищ с любопытством глядевшие на нас обыватели.

Опять горы и уступами выдолбленные рисовые поля. Рис был уже снят, и на гладких, сухих теперь полях правильными рядами торчали остриженные на вершок от корней рисовые кустики. Поля здесь были дробные, — маленькие огороды, а не поля. Не было здесь простора наших полей. На этих маленьких кусочках земли уже готовился новый посев. Прimitивный деревянный плуг медленно полз за тихим ленивым шагом буфалло. В ноздрях его было продето кольцо, и посредством привязанной к нему веревки управлял этим ленивым, но выносливым животным крестьянин, который не столько дергал веревку, сколько звенел, точно ударом молота, по железному листу, точно ковал своим поносящим криком «а».

Деревеньки были до ужаса бедными. Вот входим в деревню. Сперва проходим мимо целого ряда уборных, выложенных из глиняных не обожженных плит и расставленных по обеим сторонам дороги. Уборные эти сооружены не столько для жителей, сколько для проходящих по дороге. Уборные принадлежат всему обществу, и деревеньки эти счастливы, что стоят на большом тракте, по которому проходят из Цзянси в Гуандун ежедневно сотни людей. Люди эти пользуются этими уборными, и крестьяне получают драгоценное удобрение, которое делится поровну между членами общества.

За уборными идет ряд глухих хижин, отличающихся от уборных только

своей величиной и еще большей тусклостью. Нет окон. Темно. И в темноте с трудом можно разглядеть обывателей хижины.

Что бросалось в глаза, прежде всего, это—отсутствие молодежи, молодых парней и девушек. Их в деревнях мы не видели. Кто ушел в город в поисках работы, кто был забран в кули или солдаты. В деревне преобладали старики, старухи и маленькие дети. На лицах их лежало непроходимое горе, нищета и какое-то трудно передаваемое безразличие, потеря какой бы то ни было надежды на улучшение положения. Пройдя шагов двести, деревня кончалась. Снова ряд уборных, суживающийся сразу путь и снова дробные поля.

Встречался и другой тип деревень, жителей которых, казалось, не занимались земледелием, а содержали харчевни. Отдельных жилищ в деревне здесь нет. Это одно сплошное одноэтажное глиняное здание, разбитое на ряд клеток. В каждой клетке живет семья. И каждая семья здесь содержала харчевню. Каждый здесь чем-либо торговал. Бабы сидели под навесами харчевень и торговали земляными орехами, вареным сладким картофелем, семечками и изредка мандаринами. Убогость и здесь преобладала, и эта убогость сочеталась с однообразным грязно-серым цветом жилищ, как снаружи, так и внутри. Никаких украшений в жилищах, лишь над входом висит дощечка с какими-то иероглифами, охраняющими от злых духов. Местами вместо иероглифов у двери висело красочное изображение какой-то добродетели в старинном стиле, в костюме времен ханской династии. Назначение этого изображения то же, что и иероглифов.

В Гуандуньской провинции в деревнях мы не встречали ни одного крестьянина с косой, почти не встречали женщин с изуродованными ногами.

В этих двух типах деревень ремесло почти совершенно отсутствует. Начиная с шапки и кончая туфлями, все это покупается. Уже в этом типе деревни бросается в глаза наличие нищих: старух и детей, бегающих за каждым прохожим и вымаливающих по-

даяние. И здесь заметно было отсутствие молодежи: ни девушек, ни парней. Не видели мы их и в полях за работой. Молодежь вся на отхожих промыслах или в армии.

В деревнях серебряная монета большая редкость, и когда мы расплачивались серебром, то крестьяне смотрели на эти монеты с подозрительным любопытством. Но, вместе с тем, почти не видели мы и чохов (чох—одна десятая копера—одна двадцатая копейки). Здесь уже господствовал медный копер.

Общее впечатление о деревне оставалось на-редкость монотонно-бедное. Но вместе с тем ни в коем случае нельзя сказать, что китайская деревня зловонна и ее обитатели—грязны. Не грязнее, чем наши деревни, но и не чище. Правда, нельзя сравнить ни в коем случае нашу деревню с китайской по своему внешнему виду.

Крестьяне отличались какой-то своеобразной китайской культурностью. Манеры и церемониальность при разговоре с нами ничем не отличались от вежливой манерности городского обывателя. Но эти слащавые улыбки и складывание рук делалось только при разговоре с нами; с кули они говорили просто, без манер и улыбок, без хитрости и деловито. Значит, вежливость эта набита палкой чиновника и помещика, набита в продолжение веков и предназначена для обращения с ними.

Отсутствие домашнего ремесла в этих типах деревень, бедность до нищеты, но вместе с тем денежное хозяйство объяснило нам существование третьего типа деревень, представлявших собой крошечные торговые городки. Но это не были городки, а именно деревни или, вернее, села—и об этом говорили, в первую очередь, те же ряды уборных при входе и выходе из этих деревень.

Здесь было уже несколько улиц, конечно, много харчевень, но больше всего лавок и ремесленников. Улички, узенькие, выложенные камнем, закрыты были навесами настолько, что в яркий солнечный день здесь было тускло и сыро. Эти навесы, которые являются продолжением крыш и по-

чти наглухо закрывают от солнечного света улочки, устраиваются, главным образом, для того, чтобы спрятаться здесь от неимоверной летней жары.

В селах этих есть маленькие кумирни, и перед изображением богов тлеют китайские тоненькие свечки. Порой кумирня мала и грязна, но местами встречались маленькие, выложенные из кирпича и заботливо чистые не то кумирни, не то храмы предков.

Затем непременно в этих деревнях найдете ряд опиумокурилен. Мы обнаружили их случайно. Обычно в таких деревнях мы останавливались для того, чтобы кули имели возможность поест. И вот, бывало, все уже тронулись. А некоторых кули нет. Пропали. А без кули идти невозможно, ибо он служил нам в качестве проводника. Начинаешь метаться по всей деревне в поисках кули. Забегаешь из харчевни в харчевню и, наконец, влетаешь в открытые ворота хижины и в темноте видишь лежащего на кане кули, со специальной лампочкой у головы и с длинной трубкой в зубах. Надетый на проволоку белый шарик опиума накаливается на лампочке до кипения и затем кладется в трубку. Две-три затяжки — и кули уже витают в заоблачных краях. Глаза мутны и под ними вздуты мешки. Он смотрит на вас в упор, но вы чувствуете, что он не соображает, где он и чего от него требуют.

В дальнейшем мы уже знали, что если на дневной остановке пропали кули, то искать их нужно в опиумокурильне.

Опиум — бич китайской деревни. Он пришел в Китай из Индии и завезен англичанами, которые имели монопольное право на отравление китайского народа опиумом. Сперва опиум привился среди аристократии и особенно был распространен при дворе богдыхана. Позже опиум стал демократизироваться, и города китайские наполнились опиумокурильнями. Самые фешенебельные рестораны в Кантоне представляют собой игорные, публичные и опиумокурильные дома. Рестораны здесь не имеют общих зал, это — сплошные отдельные кабинеты и в каждом кабинете твердая лежанка для куре-

ния опиума. Из городов он проник в деревню, и чем больше нищета в деревне, тем больше здесь курят опиум. Курят его мужчины, женщины и даже дети.

Ремесленники в деревнях производят обувь, платье, ткнут на деревянных станках ткань, полотенца, сами первобытным способом красят ее. Все это — предметы домашнего обихода, и ремесленник одновременно является и хозяином лавки, в которой продаются произведенные им товары. Занята в ремесле вся его семья и подростки. Но есть и наемные рабочие, а главным образом, «ученики». Это дети деревенской бедноты, работающие от зари до зари и получающие за свой труд только пищу и жалкое рублище. Эксплуатируются они нещадно и эксплуатация прикрывается патриархальными обычаями, по которым хозяин заменяет ученику отца с правом физических наказаний.

Большое обилие в этих деревнях съестных лавок. Здесь имеются и кантонские консервы, а порой найдете и иностранные товары. Съестных лавок здесь чрезвычайно много; правда, порой они являются и харчевнями, но все же удивляешься, откуда здесь такая потребность в таком обилии съестных лавок.

Классовое расслоение в этих деревнях можно легко обнаружить. Здесь довольно много рабочих в кустарных мастерских, кузницах, много кули, занятых переноской товаров. С другой стороны, здесь много зажиточных лавочников, сдающих свою землю в аренду, хотя в общем и целом лавочники эти — мелкие торговцы. Лавки свои вместе с товарами они с удовольствием уступят вам рублей за тридцать.

Казнокрадов здесь тоже найдете. Они обитают в так называемом ямыне (управление). Власти не столько властвуют, сколько грабят всякого, кто попал под руку. Если в Кантоне, в революционном Кантоне, мы были свидетелями такого факта, когда шофер, налетевший на рикшу, был приведен в полицию и оштрафован на 3 доллара в пользу рикши, у которого оказалась поврежденной коляска, и полицейский тут же положил два доллара

себе в карман, а один доллар отдал рикше, который не решался протестовать,—то можно себе представить, что делается здесь, в этих волостных деревнях, где власти никем и никогда не контролируются, и, кстати сказать, где власти, несмотря на приход революционных войск, не были сменены, но их обязали вступить в гоминдан.

Единственное отрядное явление, которое мы наблюдали в деревнях, заключалось в расклеенных политработниками армии плакатах и воззваниях. Плакаты эти мы встречали почти в каждой деревне. Удивляешься, как власти не срывали эти плакаты, ибо сплошь и рядом они были направлены против помещиков и джентри, и зачастую мы видели плакаты с серпом и молотом и призывом к крестьянам организоваться в крестьянские союзы. А бывали плакаты и в честь Коммунистического Интернационала и мировой революции.

Таковы были деревни, по которым мы проходили. Здесь господствовали бедность и нищета.

Район, по которому мы сейчас проходили, выделялся другим свойством: обилием громадных помещичьих замков. Эти огромные по высоте, не менее пяти этажей, замки были выложены из серого кирпича и представляли собой глухие ящики без окон. Вероятно, крыша была устроена по-китайски, с навесом во внутрь и воздушным колодцем, через который и проникал свет в эти мрачные здания. В стенах, абсолютно гладких, на высоте третьего и выше этажа были сделаны амбразуры, которые, несомненно, играли роль бойниц и отчасти заменяли окна. Это были узкие, продолговатые выемки. Это не были старинные, древние феодальные замки, об этом прежде всего говорил кирпич, из которого они были выложены. Кирпич был европейского типа, тот самый кирпич, из которого иностранцы строят свои дома в концессиях. Замки были новые, отличались свежестью и массивностью. Много замков строилось; материал тот же—кирпич и цемент.

Товарищи, которые бывали в провинции Гуанси, рассказывали о другом типе замков, встречавшихся там. Гуан-

сийские замки были уже типично феодальные: кругом замка проходил канал, мосты, служившие проходом в замок, были подъемными.

Тут, в Гуандуне они были несколько осовременены. Обычно замки были расположены вблизи волостных центров, поближе к властям и полицейской охране; но встречались замки и вдали от этих центров. В последнем случае они стояли целыми группами. Характерно, что порой у этих замков был расположен и монастырь.

Мы подходили сейчас к довольно крупному городку-волости Ма-ши. У стен городка ящиками стояли помещичьи замки. В Ма-ши мы выяснили, что 85 процентов всего крестьянства в этом районе, будучи абсолютно безземельными, являются арендаторами помещичьей земли.

Когда мы пришли в Ма-ши, здесь была организована торжественная встреча. Кажется, это было первое место, где власти подготовили торжественный прием. За стеной городка, по обеим сторонам дороги, выстроились школьники со смешанным оркестром из европейских и китайских музыкальных инструментов. При приходе нашей процессии школьники неистово злоупотребляли пороховыми хлопучками.

За школьниками, с красными багрями или красными бумажными цветами, по обеим сторонам улицы в тяжелых шелковых халатах и жилетах стояли власти, помещики и джентри. Они встречали нас почтительными поклонами и совали в руки свои визитные карточки. За ними стояли местные купцы; кто побогаче (это можно было видеть по костюму), те стояли ближе к властям, кто беднее—подальше от них и, наконец, в самом конце этой встречи толпился плебс, который пришел сюда, судя по всем признакам, просто из любопытства, и если плебс начинал работать локтями для того, чтобы убедиться воочию, что это не кто иные, как министры, то улыбка исчезала у людей, стоявших в шелковых халатах, и сменялась на гнев.

Плебс подчинялся. Но не всегда он молчит. Как-то, в какой-то уезд назначили нового уездного начальника.



Все в округе знали, что это—первейший взяточник и вор. И вот, когда новый начальник торжественно подплывал на паланкине во главе огромнейшей процессии кули, которые таскали его жен и вещи, ворота в городок оказались запертыми, а у ворот длинной вереницей стояли двести плакальщиц, которые встретили новое начальство надгробными причитаниями и плачем. Так начальство в городок не было впущено и оно вынуждено было повернуть обратно.

Придя в Ма-ши, мы остановились в местной школе. Школьники тащили воду, дрова и помогали помещичьим поварам готовить обильный ужин для гостей.

Дорога из Ма-ши пролежала по скалистым берегам реки Северной, отличаясь тяжелыми переправами через реку. Местами дорога представляла собой высеченные узкие ступени в скалах. Дорога была тяжелой, и даже китайцы, которые не выходили обыкновенно из паланкинов, на этот раз вынуждены были пойти пешком.

Мы подходили к Нам-юну, последнему уездному городу Гуандунской провинции. Здесь встреча была импозантнее, здесь были митинги, здесь чувствовалась революция. Степы домов были обклеены рукописными, а значит местными, антиимпериалистическими плакатами.

Городок был старинный. Об этом говорили его древние стены, башни и дворцы. Городок этот славен был в древности своими философами. И когда командир второго корпуса национально-революционной армии, ученый и философ Тан Ен-кай занял его, он, в первую очередь, поставил мемориальные доски в честь этих древних философов.

Мы остановились здесь в каменных башнях общественного сада и, отдохнув, пошли бродить по узким улицам городка.

На дворе ямыца, со своими древними каменными крылатыми арками, стояли большие каменные плиты в человеческий рост. Плиты были древние и покрыты зеленой плесенью. Нам удалось очистить от плесени одну плиту, и сохранившиеся иероглифы ука-

зали на то, что это—земельный закон первых богдыханов Минской династии. Прочсть закон не удалось, ибо слишком был древен этот, более чем пятисотлетний, камень.

Городок имел тихие улочки, где жили, вероятно, чиновники; но в общем и целом это был бойкий торговый городок с развитым ремеслом. На дверях каждого жилища висели таблички против злых духов и рядом были расклеены плакаты против английского империализма, плакаты, которые призывали к бойкоту английских товаров. Колодцы в городке были тщательно выложены камнем и над колодцем, в выдолбленной в камне нише находился Будда, перед которым тлели свечи.

Из Нам-юна дорога шла в горы. Нам предстояло перевалить через горный хребет, который отделяет провинцию Гуандунь от Цзянси. Дорога и здесь шла сперва межами рисовых полей, а потом расширилась и круто пошла в горы.

Вот и последняя гуандунская деревенька, последние харчевни и последний отрых.

Чем выше поднимаешься по этой выложенной камнем и выбитой в камне дороге, тем больше расширяется горизонт с его горными вершинами, водотоками и прилепленными к склонам гор деревнями.

Чем выше, тем чаще кумирни и, наконец, вот и каменные ворота. Впечатление то же, что и при проезде Байдарских ворот в Крыму. Вы входите в ворота этого Мейлинского перевала и перед вами раскрывается уже цзянсийская панорама с ее горными хребтами и равнинами между гор. Вдали виден Да-юй, первый уездный город цзянсийской провинции, расположенный отсюда на расстоянии 30 ли.

Кончился Гуандунь. Вступаем в новую, только неделями приобщившуюся к национальной революции, провинцию. Позади лежит горный Гуандунь, где революционная власть господствует уже, хотя и с перерывами; но годами.

И, может быть, только поэтому в Гуандуньской провинции мы не ощущали революционного подъема в уездах и деревнях. Население относилось

весьма апатично к национально-революционному правительству. Малоземье, бедность, нищета. Нищета какая-то особенно тяжелая, особенно тяжело давящая на ваше сознание. Два года господствует в Гуандуне национально-революционное правительство, а с точки зрения крестьян положение вещей не изменилось. Тот же помещик, тот же джентри, те же налоги, то же взяточничество. Отсюда такая апатия крестьянства, такое безразличие к национально-революционному правительству.

## II. Нанка-Сьен

Иначе было в Цзянси, а затем в Хубее и вообще во всех только-что освобожденных провинциях. Эти провинции переживали революционную весну. Здесь поднялись миллионы, которые слепо верили тому, что национально-революционная армия и правительство дадут им все то, в чем они нуждаются: крестьянин верил, что избавится от гнета помещиков и чиновников; рабочий—что получит свободу и хорошую заработную плату; слепые—что они прозреют; нищие—что они обогатятся; мелкая буржуазия—что она будет править.

Право, это напоминало февральскую революцию. Это было сплошное бурное людское море митингов, организационной горячки, безответственных обещаний, революционных угроз со стороны буржуазии. Все кипело, бурлило, всюду чувствовалась потенциальная мощь масс. Массы всюду на знамени своем несли Сун Ят-сена и Ленина.

Но тот, кто переживал уже эти розовые времена, для кого это было радостно, но кто не был ослеплен, тот хорошо видел под полой буржуазии и помещиков блестящий клинок кинжала, который вот-вот готов был вонзиться в спину этих наивно-революционных масс.

Наивность их заключалась в том, что они не видели врага в своих собственных рядах, они с триумфом несли на руках своих завтрашних палачей.

Палачи готовились, но, пока не были готовы, носили ярко алые банты и были «ужас, как ррреволюционны», между тем, как свинцовая туча измены и

предательства уже все более и более заволакивала небо.

Мы спустились с гор в цзянсийские долины. С гор идти было легко, но тряслись колени и, казалось, вот-вот согнутся они в противоположную сторону. Издалека уже слышалась музыка из толп, которые вышли из Да-юй встретить нас. Это была действительно революционная встреча революционных масс. Здесь чувствовался огонь революции.

Мы остановились в торговой палате и ждали момента, когда кончатся банкеты, тыканье визитными карточками, поклоны и улыбки, для того, чтобы отдохнуть после тяжелого перехода. Было уже поздно, когда пригласили нас на митинг.

Поражаешься, как здесь резко очерчены провинциальные границы. Да-юй лежал лишь в 15 верстах от Гуандунской провинции, а жители его совершенно не понимали гуандунского языка; в Гуандуне мы не встретили ни одного китайца с косой, здесь же, в Цзянси косы встречались часто. Но все же бритые головы говорили о том, что и здесь обычай этот начинает вводиться. Женщины в цзянсийской деревне уже носили другой костюм, в прическе у них были воткнуты уже другие украшения, лица у жителей здесь были уже другие, не похожие на гуандунские. Общий вид у жителей был гораздо жизнерадостнее, чем у гуандунцев. В полях их уже не чувствовалась гуандунская дробность. Чаще встречался зажиточный крестьянин со своей особой, изолированной избой. И даже скот рабочий здесь был другой.

Видели мы здесь и иные картины, характеризующие быт цзянсийской деревни и городка. Вот, например, толпа вокруг столика, за которым сидит гадалщик, или, хотя бы в том же Да-юй, по улицам шлялись монахи с литаврами и изгоняли из каждого дома, из каждой лавки злых духов. Монах заходил в жилище и поджигал бумажный мешочек с самодельным порохом. Порох вспыхивал ярким пламенем, облако дыма застилало жилище, и так выжигались злые духи, выпровождение которых сопровождалось неугомон-

ным и сокрушительным звоном литавров.

Снова день перехода—и мы в другом уездном городе Нанкане. Городок этот был занят национально-революционной армией 6 сентября. Мы были здесь уже в конце ноября, т.-е. спустя, примерно, два с половиною месяца после его освобождения. И за эти два с половиною месяца общественная жизнь здесь стала бить ключом. Здесь существуют и рабочие союзы, и гоминдан, и компартия, и комсомол. Последние, несмотря на освобождение от сунчуанфановского гнета, продолжают работать нелегально.

Нанкан, это—бойкий, торгово-ремесленный городок, где чувствуется даже иностранное влияние. Выросли за последние годы европейского типа здания, есть вполне современные магазины, есть магазины иностранных товаров, и магазины эти имеют даже вывески на английском языке. Совсем, как в Шанхае. В городе есть электрическая станция, а в лавках торгуют даже европейской кожаной обувью.

Из иностранных товаров здесь выделяются электрические фонарики, различная мишура и особенно выделяются портсигары с порнографическими картинками.

Нанкан—городок, типичный для Китая. Когда мы к нему подходили, нас поразило обилие встречавших нас разукрашенных красавиц. Не трудно было догадаться, в чем дело, но все же спросили местного чиновника, который весьма серьезно разъяснил, что это—проститутки нанкапских публичных домов, и что этих проституток в Нанкане около трехсот.

Уже это бросает свет на те социальные процессы, которые происходят в этом маленьком уездном городке, население которого состоит из 3.000 семей.

В Нанкане у нас была продолжительная дневная остановка, бесконечные банкеты и митинги. Мы воспользовались случаем и пошли бродить по тесным улочкам этого городка.

Лучшим методом ознакомиться с тем, чем жил городок в данное время, это было срывать расклеенные объявления, в особенности, если на них были официальные печати местных властей.

И среди сорванных со стен объявлений, действительно, оказались ценные материалы, вплоть до уставов только что организовавшихся рабочих союзов.

Но больше всего поразившим нас документом было объявление новых революционных властей о сборе налогов. Приводим его полностью:

«Объявление южно-цзянсийского финансового комитета.

«11 ноября получена телеграмма от директора провинциального финансового комитета, в которой он сообщает о решении продать купцам с торгов управление всеми объединенными налоговыми управлениями. Торги на продажу провинциального, а равно и вблизи города (Нанкан) расположенных налоговых управлений будут производиться в здании Провинциального Собрания. Продажа остальных (т.-е. уездных) должна быть произведена на месте. Инструкции высылаются, а телеграмма посылается для того, чтобы местные финансовые комитеты немедленно установили сроки соревнований. При продаже налоговых бюро деньги должны быть уплачены наличными.

«В соответствии с этим распоряжением, мероприятие это проводится здесь. Срок и условия торгов будут сообщены позже. Мы надеемся, что все купцы, знакомые с положением различных объединенных налоговых управлений и желающие по контракту купить управление ими в соответствии с инструкциями, придут в ямынь для информации. Директор Лап Най-ти. Ноябрь».

Что это значит? Во-первых, власть принадлежит тому, кто собирает налоги. В этом заключается социально-политическое значение налогов. И вот революционное правительство Цзянси продавало эту власть купцам с торгов. Оригинальная буржуазная революция, где буржуазия получает власть с торгов!

Во-вторых, если купцы вкладывают свои капиталы в такое предприятие, как налоговое управление, то они, прежде всего, стремятся получить прибыль и, судя по некоторым данным, прибыль не менее, чем в сто процентов. И эта прибыль будет выколачиваться, в первую очередь, из

крестьян и рабочих. С них будут драть семь шкур.

В-третьих, если купцы покупают налоговые управления по контракту, то политический смысл этого контракта заключается в том, что армия, полиция и суд обязаны содействовать купцам сдирать с трудящихся эти семь шкур.

И, прочтя этот документ, мы невольно подумали о массах, пылавших революционным огнем. «Так вот где таилась погибель твоя!» И этот конкретный документ, расклеенный в ноябре на узеньких улочках Нанкана, сорванный на улице Сун Ят-сена, говорил о неизбежности контрреволюции, о неизбежности удара против крестьянства, рабочего класса и городской бедноты.

Рабочий класс в Нанкане, насчитывающий 500 семей, организовался. Он провел уже целый ряд забастовок и добился частичного успеха. В процессе этой борьбы он создал свои рабочие союзы. Перечисление этих рабочих союзов дает представление о том ремесле, которое преобладает в Нанкане. Вот они: рабочий союз плотников, парикмахеров, служащих, серебряных дел мастеров, кузнецов, ткачей, служащих чайных домов, сапожников, крапильщиков и портных.

Все эти союзы объединяют как рабочих, так и хозяев. Вступительный взнос, например, по союзу плотников равен для рабочего 50 сентам, для хозяев—1 доллару. Ученики освобождаются от взноса. Ежемесячный взнос установлен в размере 10 сентов для хозяев и 5 сентов для рабочих.

Союз избирает комитет, который делится на четыре отдела: секретариат, организационный отдел, финансовый и отдел пропаганды. Союз объединяет рабочих как в городе, так и во всем уезде. В городе создаются уличные ячейки союза, которые обязаны иметь собрание не реже одного раза в месяц. Если среди членов ячейки возникает конфликт, то он разбирается в общем комитете союза.

Общее собрание комитета союза состоит один раз в две недели, а общие собрания всего союза раз в шесть месяцев, на них и избирается комитет.

Союз плотников расклеил на улицах свой устав, кстати сказать, отпечатанный в местной типографии, вместе со следующей резолюцией: «1) С 30 сего месяца (октябрь) заработная плата всех членов союза увеличивается не менее, чем на 5 сентов в день; 2) срок обучения учеников, членов союза, ограничивается тремя годами и, наконец, 3) все плотники, независимо от того— состоят ли они членами союза или нет, обязаны внести в кассу союза по одному доллару, без чего ни один плотник не может вступить вообще в союз».

Или вот, например, расклеенный на улицах устав союза швейников. Первый пункт этого устава гласит: «Союз организован рабочими и хозяевами швейных мастерских и по своей природе является профессиональной организацией». Пункт второй: «Целью союза является объединить силу членов и установить между ними хорошие отношения, поднять производство и расширить дела, уничтожить лишения, поддержать благополучие членов». Вступительные взносы в этом союзе установлены те же, что и у плотников, но, кроме того, в пользу союза взимается с каждой швейной машины один доллар. Организационная структура та же, что и у союза плотников. Председатель уличной ячейки назначается комитетом. В комитет союза входят 7 человек, из которых 4 являются деревенскими портными.

Таким образом, нанканские рабочие союзы по существу представляют собою гильдии, которые, как видно, являются в Китае неизбежным этапом на пути создания классовых рабочих союзов. Как проходит процесс образования классовых рабочих союзов, описано в «Кантоне Рабочем». И нанканские союзы, вероятно, будут иметь ту же судьбу, что и Кантой.

Гоминдановская организация была создана здесь местной организацией компартии и комсомола еще в мае, т. е. за три-четыре месяца до занятия Нанкана национально-революционной армией. Во всем уезде эта подпольная организация насчитывала около 100 членов, из которых 30 человек составляли городскую организацию. Во вре-

мя нашего посещения в уезде было уже 600 членов, включая более 100 членов городской организации.

Незаконная городская организация в тот период, когда она насчитывала в своих рядах 30 человек, состояла из учителей, учащихся, нескольких рабочих и крестьян. В ноябре гоминдановская организация в Нанкане состояла из: крестьян—16 человек, рабочих—6, торговцев (сюда относятся, главным образом, приказчики)—25, учителей—29, студентов—13, докторов—2 и джен-три—19. Таким образом, организация, оставаясь в большинстве организацией городской и деревенской бедноты, выросла за революционный период правое крыло из джен-три и купцов.

Как и все китайские уезды, Нанкан является уездом крестьянским. Во всем уезде 27.000 хозяйств с населением от 150 до 200 тысяч. Некоторые утверждали, что количество жителей в уезде составляет 300 тысяч человек. Во всем уезде 41 волость, с средним количеством в 10 деревень в каждой. Таким образом, в уезде более 400 деревень.

Большинство крестьян являются безземельными. Цифры о социальном составе населения мы получили из двух разных источников. В общем и целом они сходятся, но, не рискуя остановиться только на одном источнике, приводим данные обоих:

	I источн.	II источн.
помещиков . . . . .	3%	3%
самостоятельных крестьян . . . . .	10%	10%
полуарендаторов . . . . .	30%	50%
арендаторов . . . . .	40%	35%
батраков . . . . .	17%	2%

Не считая батраков, которые не имеют своего хозяйства, и, сделав в связи с этим соответствующий процентный пересчет, мы получим следующие округленные данные о хозяйствах в уезде по обоим вариантам:

	I вариант	II вариант
помещиков . . . . .	1.080 хоз.	810 хоз.
самостоятел. крестьян . . . . .	3.240 "	2.720 "
полуарендаторов . . . . .	9.720 "	13.820 "
арендаторов . . . . .	12.960 "	9.650 "
<b>Итого . . . . .</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

Таким образом, данные здесь расходятся в группе полуарендаторов и арендаторов, но в обоих случаях обе группы, составляющие почти исключительно деревенскую бедноту, дают (с округлением цифр) 23.000 хозяйств, т.е., примерно, 80 проц. общего количества.

Сильное расхождение представляют цифры о батраках. Если общее количество населения в уезде составляет, примерно, 200 тысяч человек, то в первом случае количество батраков составляет 34 тысячи, во втором же случае лишь четыре тысячи человек. Если бы первый вариант был реальным, то это означало бы наличие сильно развитого капиталистического сельского хозяйства в уезде, но, как мы увидим ниже, типично капиталистическое хозяйство в уезде не развито. Вот почему эту цифру можно без колебаний отбросить, но, вместе с тем, и вторая цифра является тоже безусловно неправильной, ибо наличие большого количества деревенских кули в уезде бросалось в глаза.

В уезде имеются крупные помещики, владеющие по 2.000 му земли, но таких во всем уезде только четыре человека. В среднем же помещик владеет участком от 100 до 300 му земли. Обычно помещики земли сами не обрабатывают, а сдают ее крестьянам в аренду. Но вместе с тем за последнее время появились и типично капиталистические хозяйства. Нам называли одного помещика, владеющего участком в 200 му, который сам работает на земле. Работает вся его семья в десять человек, плюс двенадцать наемных батраков. Но подобных хозяйств все же в уезде очень мало, обыкновенно помещики сдают свою землю в аренду крестьянам.

Кто такие нанканские помещики? Это почти исключительно чиновники и торговцы.

Не всегда сдающий в аренду является помещиком. Силошь и рядом земля сдается в аренду из бедности, из нужды. Абсолютное перенаселение деревни, крайняя незначительность капиталов, отводящих рабочую силу из деревни, т.е. городской промышленности, и, в связи с этим, безвыходность

положения, усугубляемая ростом деревенского населения, продиктовали уже давно своеобразный закон наследования, по которому земля делится поровну между всеми сыновьями. В результате земельные участки все время дробились и дробятся и сейчас. Но дробление имеет известные пределы. Сплошь и рядом наследник получает настолько мизерный участок земли, например, 3—5 му, что занятие исключительно сельским хозяйством обрекло бы его семью на голодную смерть. Вот почему обыкновенно, если такой наследник не имеет возможности приарендовать землю, он бросает свой голодный участок, уходит в город в качестве кули, ремесленника, а иногда и мелкого торговца, а землю свою сдает в аренду или же, в конце концов, продает ее.

Таким образом, в Китае имеется огромный слой мелких земельных собственников, сдающих в аренду свою землю из нужды, и, с другой стороны, огромный слой городской мелкой буржуазии в Китае связан с земельной собственностью и никогда этот слой не возвратится в деревню, если у него не хватит средств, чтобы прикупить или приарендовать землю.

Самостоятельные крестьяне, это — мелкие собственники, владеющие в среднем 10—15 му земли. Собственно говоря, в Цзянси нет исчисления земли на му, расчет здесь ведется по весу снятого урожая. Самостоятельным крестьянином в Нанкане считается тот, кто снимает урожай в пять тысяч кэйти зерна или, даже иначе, кто снимает 50 дан (100 кэйти=1 дану=60½ килограммов). Одно му земли дает обыкновенно 4—5 дан зерна, так что количество му у самостоятельного крестьянина в среднем равно вышеприведенной цифре.

Самостоятельные крестьяне, конечно, не однородны. К ним относятся все крестьяне, владеющие от 10—15 му до 100 му земли. В Нанкане собственник 100 му земли еще не считается помещиком, а богатым крестьянином. Это уже крупный кулак, очень близкий к помещику.

Таким образом, 3.240 самостоятельных крестьянских хозяйств имеют

различные прослойки от бедняка до кулака.

Полуарендаторы, которые являются наряду с арендаторами господствующим типом нанканского крестьянства, имеют собственный чрезвычайно незначительный участок земли, на котором крестьянская семья не может прокормиться, и поэтому вынуждены приарендовывать землю. В Нанканском уезде полуарендатором обычно является тот крестьянин, который имеет в среднем 20 дан зерна (4—5 му) и 30 дан приарендовывает (6—7 му). Это аренда из нужды. Но, наряду с такой формой аренды, существует еще и капиталистическая аренда. В Нанканском уезде имеются кулаки, владеющие участком в 100 му и приарендовывающие еще 50 му. Это — тип кулаков, преобразующихся в помещиков.

Наконец, третий тип хозяйства, это — арендаторы. Собственно говоря, субарендаторы, ибо безземельный бедняк не прямо арендует здесь землю у помещика, а через посредника — обычно богатого кулака. Арендатором является здесь кулак или джентри (ростовщическая форма аренды), которые формально сдают уже землю безземельным крестьянам. Фактически, т.е. житейски, кулак или джентри выступает здесь перед помещиком, как поручитель, за что получает от крестьянина известную долю урожая в виде подарков и различных преподношений по случаю семейных или других праздников поручителя. Таким образом, арендатор эксплуатируется здесь вдвойне: помещиком и поручителем.

Земля в уезде делится на два типа: неорошаемую и орошаемую. За неорошаемую землю арендатор платит денегами, примерно, 4 доллара за му; арендная же плата за орошаемую землю взимается натурой, в зависимости от сорта земли. Здесь имеются три сорта орошаемой земли. За первый сорт арендатор платит помещику минимум половину урожая, но арендная плата за этот сорт земли доходит местами до 80 проц. урожая; за второй сорт арендная плата взимается в размере 40 проц. и за третий сорт — в размере 30 проц. урожая.

В размере тридцати процентов урожая взимается арендная плата и за общественные и храмовые земли.

Общественных земель в Нанканском уезде немного: всего лишь 2.000 му. Формально доходы с общественных земель идут на нужды всего общества или на содержание посланных учиться в города деревенских детей. Это так называемые студенческие земли. Много пекинских и шанхайских студентов учатся на эти средства. Фактически общественные земли находятся в руках помещиков и джентри и, главным образом, их дети учатся на эти средства. Кстати сказать, это одна из причин расхождения студенческого движения за последнее время. Часть студенчества отошла от революции в связи с подъемом крестьянского движения, требующего раздела или передачи этих общественных земель в руки крестьянских союзов. Храмовая земля составляет в этом уезде 10 проц. всей обрабатываемой земельной площади. Образование этих храмовых земель довольно любопытно. Вопрос этот связан с родовыми отношениями в нанканских деревнях.

Когда умирает богатый крестьянин, он зачастую завещает часть земли на постройку храма. Строится храм, который начинает обрастать землей благодаря тому, что умирающие члены рода основателя храма завещают небольшие участки земли в пользу храма «на помин души». Так постепенно храмы превращаются в крупных помещиков. Это, в известной мере, родовая собственность, которая управляется старейшиной рода, а последние те же помещики и джентри. Общественные и храмовые земли недоступны для простых смертных арендаторов. Находясь в руках помещиков и джентри, они попадают в аренду в зависимости от их воли.

Земля, как общественная, храмовая, так и помещичья, сдается по договору, при чем срок аренды обыкновенно не указывается, так что помещик может в любое время согнать арендатора с земли.

Помимо сдачи в аренду земли, сдается в аренду и скот. В этом уезде беднота обыкновенно не имеет скота

для обработки полей. Самостоятельные крестьяне имеют по одной голове скота, кулаки—по 5—6 голов, а помещики имеют целые стада и сдают их в аренду. Основным типом скота здесь является буфалло, который недоступен бедному крестьянину из-за слишком дорогой для него цены. Буфалло стоит 80 долларов. Не имея своего буфалло, крестьянин берет его в аренду у помещика, за что платит 5 дан риса в год (урожай одного му земли). Один дан риса стоит здесь от 4 до 7 долларов, в зависимости от времени. Пять дан риса стоят в среднем 25 долларов, и помещик амортизирует своего буфалло примерно в 3—4 года, между тем буфалло живет 15—20 лет. Вот почему вложение капитала в скот считается у местных купцов чрезвычайно выгодным.

Батраки бывают двоякого типа: годовые и поденные. Годовые получают от 15 до 40 долларов в год, поденные батраки—мужчины получают от 15 до 40 сентов в день, женщины—от 10 копперов (3—4 копейки) до 10 сентов в день. Во всех случаях харчи хозяйские.

В Нанканском уезде крестьянство возделывает рис, бобы, земляные орехи, картофель, овощи, сахар, табак, индигу, хлопок и лен. Преобладает, конечно, культура риса. Установлено, что площадь под продовольственными культурами, как рис и бобы, все время увеличивается, между тем, как площадь под техническими культурами, как индигу, хлопок, все время сокращается. Объясняется это растущим из года в год ввозом иностранного индигу и хлопка и общим обеднением крестьянства, думающего лишь о хлебе насущном.

Исключение составляет табак. Площадь под табаком растет и объясняется это довольно бурным развитием туземной табачной промышленности.

Развитие капитализма в Китае, как иностранного, так и туземного, уже сказывается на нанканской деревне. Уменьшаются кустарные ремесла и увеличиваются отхожие промысла. Разорение деревни вызывает рост количества кули. Вместе с тем растут и денежные рыночные отношения

в деревне. Крестьяне здесь продают рис, ореховое масло, сахар и табак, а покупают на рынке ткани, сельско-хозяйственные орудия, посуду и удобрения. Вся одежда крестьян уже покупная.

Обнищание и разорение крестьянства, как и во всем Китае, определяется здесь четырьмя факторами: 1) развитием капитализма, как иностранного, так и туземного, конкретное проявление чего мы видели на технических культурах и ремеслах; 2) неизменно тяжелыми кабальными и феодальными формами эксплуатации крестьянства (арендная плата за землю и скот); 3) ростовщичеством и 4) налогами и поборами.

Ростовщичеством занимаются помещики и купцы. Денежные займы на год даются неохотно. Чаще распространён заем на несколько месяцев, при чем за заем крестьянин платит 15 проц. в месяц. За годовые займы взимается до 150 проц. При займах натурой взимается, как правило, 100 проц. За неплатеж по займу применяются аресты или увод дочерей к помещику в качестве заложниц.

В Нанканском уезде собираются следующие легальные налоги: земельный налог, налог на табак и вино, за убой скота, сампанний налог, гербовые пошлины, налог на содержание милиции, налог на содержание школ. Налоги собираются начальником уезда и откупщиками при посредстве деревенских старост и джентри.

Таковы легальные и регулярные налоги. Но, помимо них, грабят крестьян местные джентри под тем или иным соусом и милитаристы, которые накладывают на крестьян специальные военные налоги, в роде «портяночного налога», т. е. налога для приобретения солдатам портянок.

В результате неслыханного грабежа крестьянство разоряется и распродает свою землю. Самостоятельный крестьянин превращается в полуарендатора, полуарендатор—в арендатора. В Нанканском уезде ежегодно происходят земельные ярмарки, на которых продается значительное количество земли. Скупают землю, главным образом, городские купцы.

Обратимся теперь к политическому строю деревни. Это довольно сложный переплет, в который вплетены и родовые отношения, сохранившиеся здесь до сих пор.

Тут в уезде имеются роды, насчитывающие иногда 10.000 человек. Во главе рода стоит родовой староста, имеющий несколько помощников. До сих пор еще запрещается брак между членами одного и того же рода, до сих пор ещё между отдельными родами зачастую происходит борьба на почве, главн. образом, земельных отношений.

В каждой деревне имеются жители, принадлежащие к различным родам. Они объединяются в родовые общины, в группы домов по родовому признаку, во главе которых стоит родовой староста. Это первичная административная единица в нанканской деревне. Эти родовые старосты по родовой линии подчинены старейшине всего рода, а по административной линии—деревенскому старосте, который назначается волостными властями. Во главе волости стоят 3—5 джентри, назначаемые начальником уезда, фактически держащим провинцию милитаристом, который, в свою очередь, назначается провинциальными властями. Начальник уезда является одновременно и начальником полиции. В Нанканском уезде имеется три полицейских отделения с 50-ю полицейскими. Помимо полиции, в деревнях имеются особые отряды, находящиеся в руках помещиков и джентри и известные у нас под названием «минтуань», но здесь их называют «сянь-туань». Сянь-туань здесь не особенно сильны: каждый отряд имеет лишь по одной винтовке, а остальное оружие—холодное.

Различные судебного свойства дела разбираются сперва в родовой инстанции. Если здесь не достигнуто соглашение или, в зависимости от характера дела,—оно переходит к деревенскому старосте, волостным джентри и, наконец, к начальнику уезда. Суда, как специального учреждения, нет. Единичные административные инстанции являются одновременно и инстанциями судебными, что открывает еще более широкий простор для злоупотреблений и вымогательства.



Между прочим, в деревнях сохранились еще остатки родовой поруки. Если преступник не обнаружен, то отвечают, в первую очередь, те семьи, члены которых когда-либо совершили какое-нибудь однохарактерное преступление. Эти ответчики называются «ти-бао».

Таковы остатки родового быта в современной нанканской деревне. Они еще достаточно сильны. И сила их поддерживается наличием родовой собственности, концентрирующейся вокруг родового храма предков, на средства которого не только содержатся деревенские школы, но и оказывается порой поддержка обедневшим членам рода. Но это уже абсолютно не в силах сдержать тот сильный процесс разорения, который происходит в китайской деревне.

Во главе рода прежде стоял самый старый в роде, ныне же золото подточило и этот обычай. Во главе рода все чаще и чаще становится самый богатый в роде. Так, в руки помещиков попала не только родовая собственность, но и родовое управление, авторитет родового старейшины.

Мы были удивлены, когда узнали, что в Нанкане, помимо господства буддизма и даосизма, существуют и христианские общины. Тут имеются протестанты, католики и т. п. Ларчик просто открывался. Общины эти открыты иностранными миссионерами и, благодаря этому, имущество этих христианских общин экстерриториально. Нанканские купцы, в моменты, когда милитаристы начинают усиленно грабить, записываются в христианские общины, прячут там свои капиталы и продолжают поклоняться Будде.

Таков Нанкан. Несмотря на то, что социально-экономический строй его сохранил и учреждения родового строя, ни он, ни феодальный строй уже не господствует здесь. Здесь господствует торговый капитал, который, сохраняя феодальные формы эксплуатации, прорывается одним своим флангом и на путь капиталистической эксплуатации даже в сельском хозяйстве.

Когда в сентябре пришла сюда национально-революционная армия, был назначен новый начальник уезда, в виду того, что старый начальник бежал с сунчуанфановской армией. На местах же, т. е. в деревнях, остались те же джентри и деревенские старосты.

Приход революционных войск способствовал развитию крестьянского движения. Во время нашего прихода здесь уже существовали 22 крестьянских союза с общим количеством членов в 2.500 семей. Крестьянские союзы организовали свои отряды самообороны «бао-туань» и начали разоружать отряды сян-туань. Последние были разоружены и оружие их находилось в уюме Гоминдана, который руководился левыми.

Разоружив эти отряды, крестьянские союзы стали свергать старую власть в деревнях и в целом ряде деревень захватили ее в свои руки. Взяв власть в свои руки, крестьяне стали выставлять целый ряд новых требований: уменьшение арендной платы, борьба с ростовщиками и организация кредитных товариществ, борьба с забирающим в армию деревенских кули и... изменение системы брака.

В Китае платится тяжелый выкуп за невесту: в городах он доходит до тысячи долларов, в деревнях—до четырехсот долларов. Крестьянство требует отмены выкупа.

Лозунг конфискации помещичьей земли еще не было. Крестьянство, которое только-только начало подниматься, еще настолько угнетено, настолько забито, что еще не дошло здесь, да и всюду, где мы проходили, до лозунга конфискации помещичьей земли. Но в требовании об уменьшении арендной платы скрыт лозунг конфискации. Ибо, если крестьяне перестанут арендную плату вносить помещикам или низведут ее до обычного государственного налога, то это и будет конфискацией. И недаром английская пресса в Китае зовет крестьянские союзы презрительной кличкой: «Rent no pay society» (Общество не платящих арендной платы).

*(Окончание следует)*

## IV. ОТ ЯКУТСКА ДО ИНДИГИРКИ

(Экспедиция 1926 г.)

Сергей Обручев

На всем земном шаре—за исключением его полюсов—нет в настоящее время области, которая была бы так плохо известна, как северо-восток Азии. Несколько больших экспедиций, проходивших по Якутии и Туруханскому краю, изучили только узкие полосы маршрутов, а между ними остались районы в сотни тысяч квадратных километров, о которых решительно ничего не известно. Районы, в которые можно свободно поместить любое западно-европейское государство.

Только последние годы исследование Якутии сделалось планомерным. Академия Наук по просьбе Совнаркома ЯАССР взяла на себя всестороннее изучение республики. План работ рассчитан на 5 лет. Начиная с 1925 г. ежегодно ряд экспедиций гео-морфологических, ботанических, зоологических, экономических, статистических, медицинских, этнографических направляется в различные районы Якутии, — пока, главным образом, в наиболее населенные, южные. Одновременно предприняты исследования и Геологическим Комитетом, который теперь впервые получил возможность забросить свои экспедиции в отдаленные части Якутии. Минувшим летом и зимой первая из таких экспедиций Геолкома работала под моим начальством в верхнем течении Индигирки и по ее левым притокам—в районе, который не посещался не только научными экспедициями, но даже и русскими вообще, и считается наиболее диким в Якутии. Природа и люди этой области представляют очень много своеобразного<sup>1)</sup>.

Приехав в Якутск в начале мая 1926 г., экспедиция снарядила здесь большой караван из 44 лошадей. Необходимо было везти с собой не только инструменты и снаряжение, но и продовольствие на несколько месяцев—в стране, которую предполага-

лось исследовать, нужно было надеяться только на свои силы. Экспедиция состояла из 12 человек—4 научных сотрудников (начальник экспедиции С. Обручев, горн. инж. В. Протопопов, геодезист К. Салищев, техник И. Чернов) и 8 рабочих.

Первые 300 верст экспедиция прошла на восток по району, между Леной и Алданом, который известен сравнительно хорошо и описан много раз. Здесь сосредоточена треть всего населения Якутии—100 тысяч из трехсот. Сейчас в этом районе наиболее интересны черты цивилизации, постепенно просачивающиеся из центра—Якутска—в глухие наследи (деревни). Основная магистраль области—почтовая дорога Якутск—Охотск, единственная настоящая дорога, по которой можно доехать на колесах—да и то только до р. Амги: дальше на восток колесный путь, когда-то существовавший, уже размыт. По сторонам—дороги, прерываемые болотами, по которым колесное передвижение почти невозможно, а ближе к Алдану—уже и верховой путь труден из-за обилия болот. По Охотскому тракту проведен телеграф, от которого в минувшем году начали отрастать щупальцы в глубь страны—телефоны: из крупных центров Чурапча и Татта—на юг и на север. Телефоны, которые никогда не слышат русского слова—уже здесь мало кто говорит по-русски. Сначала как-то трудно представить себе это современное изобретение в стране, где все еще сохранились остатки кочевого быта, где гость привозит с собой на седле в переметных сумах постель.

Точно также поражают здесь новые формы советской жизни: укрупнение волостей (улусов), инструктора по предвыборной кампании, по воинскому набору, комсомольские ячейки, кооперативные лавки, народные дома.

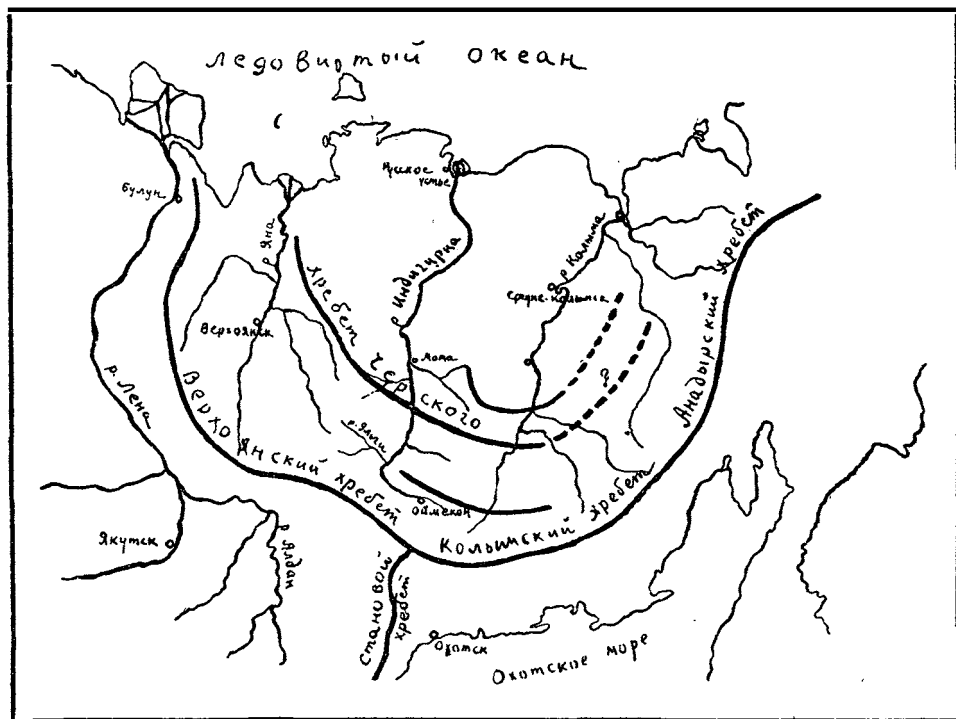
В Чурапча строится большая больница и другие здания—здесь будущий

<sup>1)</sup> Осенью текущего года Госиздат выпускает книгу «Открытие последнего великого хребта», посвященную экспедиции.

центр большого района, и среди обычного типа якутских поселений, раскиданных на больших пространствах, с юртами, отделенными одна от другой несколькими верстами лесов — Чурапча с рядом свежих двухэтажных построек с крышей (нучча диэ — русская изба, как здесь говорят), кажется целым городом.

Влияние города сказывается и на нравах. Ближе к Алдану — еще отчасти сохраняется древнее гостеприим-

В начале июля экспедиция с большим трудом переправилась через Алдан, который достигает здесь с островами 15 верст. Лошадей экспедиции пришлось перегонять вплавь, с острова на остров. На правом берегу Алдана расположены последние якутские поселения, а дальше на восток, в Верхоянском хребте, вплоть до самой Индигирки можно было надеяться на встречу только с бродячими тунгусами. В селении Крест-Хольджай (культу-



ство, но по мере приближения к Якутску, вы приучаетесь платить за каждую услугу, за каждую чашку чая. Под самым городом каждый дом — постоянный двор, где непрерывно пьют чай проезжающие, и где ничего для вас не сделают даром.

Лено-Алданская область — земледельческая полоса Якутии, и везде вы встречаете небольшие поля, обработанные, правда, плохо, с плохими всходами, — но не надо забывать, что земледелие здесь насчитывает едва полсотни лет. Во всей республике в 1926 г. было всего 22 тысячи десятин посевной площади.

турный центр со школой, строящейся больницей, церковью) после долгих поисков удалось найти проводника. Местные жители считали намеченный путь чрезвычайно трудным и сулили всякие беды, гибель лошадей и людей. Мы вступили отсюда в бесконечную сеть диких и безлюдных хребтов, где никто нам не смог бы помочь, и где наши лошади представляли единственное средство передвижения — и гибель каравана лишила бы нас возможности вернуться.

Действительность лишь отчасти оправдала пессимистические предсказания. Очень тяжелы были первые 150

верст по болотам, которые надо было пройти до подножия хребта вдоль реки Томпо. На каждой версте десятки лошадей увязали в болотах, надо было их развьючивать, выносить вьюк на себе до сухого места, вытаскивать лошадей, сплошь покрытую грязью. На самом хребте, не смотря на ряд цепей, которые пришлось перейти (главная из них до 2.500 метров высоты, покрыта снегами), — путь был значительно легче. Главное препятствие здесь — бесконечные пространства и безлюдье.

В самом деле, в посещенном нами районе, достигающем 2.500.000 кв. километров, кроме 2.500 якутов, сосредоточенных вдоль Индигирки, живут всего 350 тунгусов (ламутов), которые кочуют в бесчисленных горных цепях, занимающих большую часть края. Только в 400 км. от Алдана мы встретили несколько семей тунгусов — и больше никого до самой Индигирки. Тунгусы владят довольно жалкое существование: благодаря многолетней эксплуатации их русскими и якутскими купцами, у них осталось по 10—20 оленей на семью, состоящую часто из 10 человек. Поэтому сейчас олени служат только для передвижения, а пища добывается исключительно охотой, большей частью скудной. Нередко вся семья по несколько дней голодает, ожидая охотника с убитым горным бараном или с одним-двумя зайцами. Иногда можно видеть у тунгусов стада в 100—300 оленей, но это все принадлежит богатым якутским купцам, а тунгус только пастух, получающий до 2 руб. в год с головы. Когда-то эти олени принадлежали тунгусам, но за долги постепенно перешли к их кредиторам.

В начале августа с последней цепи Верхоянского хребта мы увидели воды Индигирки. Мы вышли на нее у устья р. Эльги, в 150 вер. от улусного центра — Оймекона, к последним юртам Оймеконского района. Здесь долина Индигирки достигает 10—15 вер. ширины, покрыта цветущими лугами, чередующимися с лесами, и после диких Верхоянских гор кажется земным раем. Станный рай, где жаркое лето длится всего два месяца, где тучи ко-

маров и оводов мучают людей и животных, где поездка в гости к соседней юрте, расположенной за 20—40 верст, сопряжена с переездом через горы и болота. И все же это лето — отдых от девятимесячной зимы с морозами, превышающими в декабре—феврале 60°.

На устье Эльги мы нашли всего 20 якутских юрт. От прежнего кочевого быта якуты индигирского района сохранили только обычай переходить на зиму в другую юрту, расположенную иногда за 2—3 версты, иногда рядом с летней. Юрты напоминают избу, но бревна в них наклонно прислонены к остову, и крыша плоска. Зимняя юрта отличается от летней своим меньшим размером, и обкладывается снаружи землей, смешанной с навозом — для сохранения тепла, кроме того, с ней непосредственно соединен хлев — хотон, отапливающийся через открытую дверь тем же камином, которым обогревается юрта. Сейчас в Якутии ведется широкая агитация за отделение хотона от юрты в целях гигиенических; но на всем нашем пути мы видели, что хотон отделяют только богачи, да и то для того, чтобы присоединить его к юрте рабочих.

Богатых якутов на Индигирке очень мало — 50 голов скота (взрослого, телят, жеребят и пр.), самое большее 100 — вот максимальное богатство. Скот мелкий, мохнатый. Корова дает в сутки летом бутылку молока, зимой гораздо меньше. Таким образом, бедняк, имеющий 3 коровы, зимой имеет бутылку молока, только чтобы забелить чай. Поэтому бедные якуты голодают так же, как и тунгусы.

Лошади служат только для раз'ездов по торговым делам и в гости. Они очень выносливы, летом и зимой ходят на подножном корму, выкапывая сухую траву из-под снега и ночуя при самых сильных морозах в открытом загоне. Коров на ночь загоняют в теплый хотон и для них заготовливают сено. Грузы для дома — дрова, сено, лед (воду) возят зимой и летом на санях, в которые запрягают бык. Других экипажей из-за болот здесь нет, а лошадь в санной упряжке появилась только в последние годы и вызывает изумление — никто здесь не верит, что лошадь

может вести не меньше быка. В долине Индигирки не только нет земледелия, но даже и огородов—много лет назад пробовал огородничать оймяконский священник, но его пример не заразил никого, и единственные известные здесь овощи—это дикая морковь и какая-то трава, из которой готовят ужасный суп, напоминающий вареные палки.

От Эльги нам предстояло двигаться на север, к реке Чибাগалах (приток Индигирки), которая по программе представляла северный пункт наших работ. Но оказалось, что по Индигирке дорог нет, и только пройдя свыше 200 верст по хребтам левого берега, можно выйти на реку в урочище Тюбелях. Караван экспедиции под начальством инженера Протопопова был направлен этим путем, а мне удалось доставить два якутских челнока («ветки») и с геодезистом и одним рабочим поплыть вниз по Индигирке. В существующих описаниях Якутии, основанных на распросных данных, указывалось, что отсюда на север Индигирка течет по низменности, имея слева хребет Кех-тас. Но с первого же дня плавания нас ждали неожиданные открытия: вместо низких берегов мы встретили высокие горы, Индигирка пересекла одну за другой высокие альпийские цепи, покрытые вечными снегами. Цепи эти и на левом берегу тянулись широтно—вместо меридионального хребта—и некоторые из них достигали 3.000 метров высоты. Индигирка пересекает их в узкой долине, часто по ущельям. Она здесь уже мощная река, шириной в узких местах до 600—800 метров, а в расширениях, с островами, до 3—4 километров. Но все же она сохраняет характер горной реки, бурно мчит мимо утесов; скорость течения достигает часто 15 км. в час, и даже в тихих местах не меньше 6.

Тюбелях—маленькое расширение долины с несколькими якутскими юртами, место еще более глухое, чем Оймяконская долина, отрезанное горами от всего мира—горами, которые зимой целые месяцы закрывают солнце. К северу от Тюбеляха Индигирка прорезает одну из главных цепей страны, и на

протяжении 100 километров идет в узком извилистом ущельи с рядом порогов и стремнин. По легенде, 200 лет назад восемь русских казаков и якутов осмелились поплыть в это ущелье; лодка была разбита, и спасся на обломках только один человек. С тех пор никто не рисковал пускаться на лодке вниз от Тюбеляха. Нам удалось осмотреть только начало порогов—надвигалась осень, и надо было спешить на север.

К северу от описанной цепи Индигирка судоходна; первый опыт был сделан в 1926 г. Дальгосторгом, завезшим зимой товар на оленях до устья р. Момы. К весне были построены там два павозка (на 2.400 пуд. каждый) и летом сплавлены до села Русское Устье, расположенного в дельте Индигирки. В будущем году экспедиция Академии Наук должна произвести гидрографическое обследование Индигирки и ее дельты и выяснить условия судоходства и возможность прохода в нее морских судов.

Открытые нашей экспедицией горные цепи не лежат изолированно, на западе они соединяются с ранее известным хребтом Тас-хаяхта, на востоке—с открытым Черским в 1891 г. хребтом Улахан-Чистай. Эти хребты вместе образуют большую внутреннюю дугу Верхоянско-Колымского края, параллельную внешней—хребтам Верхоянскому, Колымскому и Анадырскому (Становому). Длина нового хребта более 1.000 километров, ширина до 300 км., по своей высоте (3.000—3.300 м.) он выше всех гор северной Сибири. Таким образом, строение северо-восточной Азии после нашей экспедиции представляется совершенно другим, чем оно рисовалось до сих пор: вместо большой внешней дуги хребтов с отходящими от нее внутрь страны радиальными хребтами, мы имеем две параллельные дуги, из которых внутренняя выше внешней. Повидимому, внутренняя дуга продолжается еще на 500 км. к востоку от Колымы, но район этот совершенно не исследован.

Государственное Географическое Общество признало необходимость выделения нового хребта, и назвало его хребтом Черского—в честь И. Д. Чер-

ского, известного геолога и географа, умершего в 1892 г. на Колыме, в начале своей Колымской экспедиции.

От Тюбеляха экспедиция вынуждена была снова уйти в сторону от ущелья Индигирки, через цепи левого берега, и вместо 100 км., которые оставались до Чибгалаха, пройти 350 км. Эта часть самая дикая и безлюдная в новом хребте.

За все время мы встретили в этих горах одну жалкую семью тунгусов, глава которой никогда не видел русских и не умел даже назвать соседних рек.

Переход до Чибгалаха тяжело достался нашему каравану—ущелья, тяжелые броды, тяжелые перевалы изнурили лошадей, пришлось бросить 8 из них,—а вместе с ними оставить в наскоро сложенном амбаре все коллекции и часть продовольствия.

На Чибгалахе есть свой культурный центр—юрта единственных оседлых жителей нового хребта, трех братьев якутов. Продвинувшись от нее еще на север, до полярного круга, экспедиция закончила здесь разведочные работы. По программе, составленной в Москве, предполагалось, что от Чибгалаха мы успеем пройти на запад и еще в сентябре достигнуть Якутска—но только в сентябре мы дошли до Чибгалаха, т. е. до него от Якутска оказалось не 800 км., а 1600. Надвигалась уже зима, и приходилось спасать караван из альпийских цепей, в которых он находился. Было решено уходить на юг, в верховья Индигирки, к Оймекону, где можно было надеяться найти оленей для обратного пути. В первый день обратного пути начал идти снег, температура упала вскоре до 10° мороза. Шесть раз мы уходили от нагонявшего с севера снега, но, наконец, лошади, утомленные четырехмесячным маршрутом по горам, совершенно выбились из сил, и, выйдя к Индигирке у устья Эльги, нам пришлось здесь остановиться. Было построено зимовье, в котором поселилась большая часть личного состава экспедиции и был оставлен груз. В середине октября, после того, как стала

Индигирка (морозы достигали уже 30°), я погнал оставшихся лошадей в Оймекон; это был настоящий крестный путь—лошади настолько утомились, что были случаи, когда их приходилось переносить на руках через лед, чтобы спасти от голодной смерти. Большая часть лошадей была спасена благодаря тому, что здесь уже время от времени попадались юрты, где можно было купить сена.

Якуты к этому времени переехали в зимние юрты, в окна были вставлены льдины (как это ни странно, ледяные окна теплее застекленных), камни топились с утра до ночи; всюду нас встречали с изысканным гостеприимством—Индигирка еще не затронута цивилизацией и в юрте лучшая половина предназначена только для гостей. Нас угощали якутскими лакомствами—хаяком (замороженная смесь молока с маслом), морожеными пенками, даже сахаром.

В конце октября, двигаясь всего по 10 километров в день, мы достигли центра Оймекона. Юрты Оймекона раскинуты на 250 км. вдоль Индигирки в расстояниях от 2 до 40 км. одна от другой, но в центре есть маленькое поселение со школой, церковью, фельдшерским пунктом, улусным исполкомом, избой-читальной. Влияние этого центра еще очень слабо. В школе всего 25 учеников—да и трудно якуту содержать ребенка вдали от семьи, когда вся семья голодает; предполагается устроить бесплатный пансион, и тогда положение изменится. В больницу ложатся неохотно—хотя фельдшера встречают в юртах очень радушно. Административное влияние также слабо. До этого времени вся сознательная советская работа базировалась на трех приезжих—нарсудье, его секретаре и учителе.

В Оймеконе ведут торговые операции Якгосторг и Дальгосторг. Они имеют фактории вблизи церковного района, и ниже по Индигирке—до устья. Дальгосторг, работающий энергичнее, сейчас устраивает фактории в верховьях Колымы, организовал транспорт на судах по Индигирке вниз от Момы, и успешно конкурирует с Якторгом. Его большое преимущество—

завоз товаров через Охотское море. В то время как провоз сюда груза от Якутска зимним путем стоит 7 р. 50 коп., из Охотска обходится всего в 6 руб.; кроме того, в Охотске, благодаря морскому транспорту, товары гораздо дешевле, чем в Якутске. Благодаря этому, Дальгосторг имеет возможность продавать крупчатку по 14 р. пуд, в то время как Якторг берет за нее 21—23 руб. Обе эти организации ведут борьбу за пушнину—хотя количество ее в бассейне Индигирки в настоящее время, из-за убыли зверя, невелико. Знатоки оценивают годовую добычу в 100.000 руб., из которых 70.000 руб. падает на песцов, добываемых в низовьях Индигирки. Когда-то славилась оймеконская белка, но в настоящее время она почти исчезла, так что многие якуты совершенно не охотятся и даже не имеют собак.

Несравненно богаче пушниной Колыма, главный пушной фонд Якутии.

Характерной особенностью экономической жизни Оймекона является засилье приезжих. Около десятка предприимчивых якутов из Дойды (Лено-Алдапский район) держат в руках все население области, эксплуатируют как местных якутов, так и тунгусов. За 4—5 лет их пребывания в Оймеконе они успели овладеть стадами оленей, еще оставшимися у тунгусов (особенно на Охотском склоне хребтов), сделаться кредиторами большинства якутов, взять в свои руки весь транспорт товаров (который производится, главным образом, зимой на оленях), из Якутска, Охотска и вниз по Индигирке. Тесно связаны с ними и часть административного аппарата, и фабрика Якторга; поэтому наша экспедиция была встречена очень оригинально—формально мы пользовались покровительством всех учреждений, а фактически нас старались обобрать в пользу наиболее крупных тузов—дойдунцев. Особенно лакомым куском являлись наши лошади—единственный наличный капитал экспедиции (денег уже не было), которых предстояло обменять на теплую одежду, продовольствие, оленей. К счастью, удалось избежать цепких лап дойдун-

цев и их главного помощника—заведующего факторией Якторга—и обеспечить выезд в Якутск.

Оймеконский район приходится признавать довольно бедным, т. к., кроме пушнины, он не имеет почти никаких естественных богатств. Наша экспедиция прибила очень мало. Дальнейшая разведка может обнаружить и более серьезные богатства.

Оймекон имеет, кроме того, еще слабый сернистый теплый источник Сытыган-Сылба в верховьях Индигирки, осмотренный мною во время специальной экскурсии. Температура его 26°С, и он представляет интерес только в таких суровых условиях, при полном отсутствии других минеральных источников, для ревматиков и больных кожными болезнями, которых везти за 600 верст через болота и хребты до Охотска или Алдана невозможно.

Зимние пути из Оймекона также тяжелы. Оймекон принадлежит к самым холодным местам на земном шаре и соперничает с Верхоянском. Во время нашего переезда, в декабре, морозы достигали уже 50—60°; к тяжести езды при такой температуре—при которой приходится бежать наравне с оленями, чтобы согреться, т. к. руки и ноги мерзнут, несмотря на меха—надо присоединить необходимость ночевать в палатках на протяжении первых 600 верст. Кроме того, очень мешают наледи—вода, выступающая из галечников на поверхность речного льда. Нередко нарты (сани) проваливаются сквозь тонкую корку в нижние этажи таких наледей. Тем не менее, нам удалось на обратном пути вести научные наблюдения, и сделать еще одно новое пересечение Верхоянского хребта от Оймекона до Алдана. У последнего оленные нарты были переменены на лошадей, а 24 декабря, пробыв в горах 6½ месяцев, мы вернулись в Якутск. Наш обратный путь был еще более отягощен тяжелою болезнью одного из рабочих (третий тяжело-больной за экспедицию), которого надо было везти в отдельном возке 900 с лишком верст.

Настойчиво указывая в течение ряда лет на необходимость исследования северо-востока Якутии, мне удалось

добиться осуществления экспедиции в 1926 г., которая принесла неожиданные результаты. Открыт новый хребет, превышающий по своей площади Кавказ—вероятно, последний великий хребет, который можно еще открыть на земном шаре. Надо надеяться, что Геологический Комитет и Академия Наук в ближайшие годы осуществят экспедиции на Колыму и в низовья Индигирки и закончат работу по выяснению основных элементов северо-востока Азии.

---



## Книжное обозрение

I. „КРУГ“. Альманах шестой. Ник. Смирнова.—II. Вал. КАТАЕВ. „Растратчики“. Ник. Смирнова.—III. Иван МАЙОРОВ. „Два берега“. С. Пакентрейгера.—IV. Влад. ЛАЗАРЕВ. „Крепкий сон“. Ян. Бенни.—V. Н. АФРАМЕЕВ. „Беспокойные“. В. Красильникова.—VI. М. БАРКАНОВ. „Повесть о том, как помирились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем“. В. Красильникова.—VII. Дм. СТОНОВ. „Сто тысяч“. Арк. Глаголева.—VIII. Б. ЛАВРЕНЕВ. „Рассказ о простой вещи“. Б. Анибала.—IX. Ник. ТИХОНОВ. „Поиски героя“. И. Поступальского.—X. М. Ф. ФРОЛЕНКО. „Записки семидесятника“. М. Клевенского.

«Круг». Литературно-художественный альманах. Книга шестая. 1927. Стр. 252.

Самое ценное и примечательное в настоящей книге — главы из эпопеи Горького «Сорок лет». Пока еще преждевременно говорить об этой эпопее, — она далеко не закончена печатанием, — но и теперь уже можно отметить ее большой общественный интерес, глубину и широту тщательно разработанной темы, тончайшую отчетливость диалога и — великолепную изобразительность. В частности, в данном сборнике особенно запоминается превосходная, хрестоматийно-классическая глава, посвященная описанию Нижегородской (Макарьевской) ярмарки — ее восточнотяющейся пестроте, ее стоязычному шуму и звону.

Столь же примечателен — хотя и в ином разрезе — рассказ Вс. Иванова «Блаженный Ананий». Тема любви, «плотского греха», доведенного до размеров чудовищной противоестественности и извращенности (отец живет с дочерью, брат — с сестрой), поста-

влена, как и в прочих позднейших рассказах писателя, с большой художественной силой. И, как в прочих рассказах, — разработана сбивчиво, одно-сторонне, с цепким упором на обреченную безнадежность: опять в мире царствует и примиряет смерти! «Блаженный», умирающий в объятиях уличной девки, кладбища, лирическая их тишина, безволие, страшная и легкая отталкиваемость от жизни героя (Саши) — все это замыкает рассказ в вечный круг роковой неизбежности смерти, окрашивает его, несмотря на светлые струи бытийственной радости, в какие-то траурные, некрологические тона. Рассказ написан неровно (совсем неясна фигура отца Саши, бледна Елена). Но некоторые сцены (Саха и мачеха, оргия в «пустыньке», «блаженный» и Лушка) — очень выразительны: впечатляют и запоминаются. Рассказ с еще большей тревогой, чем книги «Тайное тайных» и «Дыхание пустыни», заставляет присмотреться к талантливому писателю: мрачность, скорбь, безысходность все более укрепляются в его

творчестве, проходящем, очевидно, через этап своего особенно крутого перелома.

Вл. Лидин, в противоположность Вс. Иванову, — писатель, утверждающий великую радость жизнеощущимости, непрерывно славящий землю и творчество человека. Он — писатель светлых тонов, спокойствия (часто, к сожалению, переходящего в равнодушие). Рассказ «Волхвы» — далеко не лучший в его творчестве, — он слишком конспективен, не оправдан психологически (перелом в мировоззрении Ренэ Шаргона), — и, все-таки, оставляет впечатление свежести, здоровья, силы. Хороша сцена в степи, — хорошо описание посадки аэроплана, овечьих стад, пастухов и раннего утра, озаренного земляничным теплом солнца, разбуженного сочным клеточком орла.

Рассказ Евг. Замятина «Слово предостается тов. Чурилину» разочаровывает. Замятин — большой и талантливый мастер, уже давно, с кривой усмешкой отошедший от современности, пребывает в творческом небытии. Недавно вышедшая книжка «Нечестивые рассказы» — обидно плоха для Замятина: ему — увьи! — не о чем писать. Как поблекло его слово, каким металлическим холодом веет от этой книги, где только один рассказ («Русь») — скульптурно-законченный пейзаж тихой волжской старины — напоминает о прежнем художнике! Ненужной, хотя, в частности, и умело стилизованной шуткой кажется и «Слово тов. Чурилину» (февральская революция в деревне). Поверхностно, неглубоко, случайно и враждебно революции.

Последняя художественная вещь в сборнике, драматический отрывок Л. Леонова «Старухи», совсем непоказателен. Частность, ничего не говорящая о целом. Исключение, никак не подтверждающее правила.

Отделы: критический и историко-литературный (вводимые с этой книги) представлены статьями М. Горького, А. К. Воронского и письмами Н. А. Некрасова к Л. Н. Толстому.

*Ник. Смирнов.*

**Валентин Катаев. — «Растратчики».** Повести и рассказы. Рабочее изд-во «Прибой». 1927. Стр. 272.

Повести и рассказы, объединенные в этой книге, довольно отчетливо и ярко обрисовывают творческое лицо Вал. Катаева. Катаев — писатель уже не молодой, — некоторые вещи помечены 1917 — 1918 г.г., — но он, печатаясь по преимуществу в еженедельниках и более известный, как поэт, проходил где-то в стороне от столбовой дороги литературы — какими-то своими скромными и незаметными, путями.

Писательский путь В. Катаева — путь зигзагов, экспериментов, исканий, путь непрестанной и упорной «пробы пера». Начав с простых, бытовых, реалистически-углубленных, рассказов, отмеченных, несмотря на неопытность, искрящейся живостью жанра и обещающей сжатостью слова («Музыка», «Барабан», «Земляки»), писатель быстро и круто повернул в сторону фантазмагории, весьма часто полудетски-наивной и неоправданной («Сэр Генри и чорт», «Железное кольцо»), а потом — в сторону психологизма леонид-андреевского толка, но, разумеется, без андreeвской порывистости, страстности и глубоко-обнаженной лиричности («Опыт Кранца»).

Все это заставляло относиться к творчеству Катаева как к подготовительной, внутри-лабораторной работе, — творчество его характеризовалось, прежде всего, неоформленностью, расплывчатостью, шаткостью, теневой сумеречностью — неуловимостью творческого «я». Неудачны были и более поздние вещи писателя: растянут и, опять, психологически не разрешен «Родион Жуков», совсем бледен, неопалаящ, а, скорее, холоден «Огонь», — и только «Ножи», — романтический рассказ о годично-человечной любви на бульваре, среди баялагансв и дешевых «фотографических заведений», — останавливал внимание своей органической свежестью, своим большим, хорошим чувством, своей, наконец, тщательной обработкой.

Повесть «Растратчики», давшая название настоящей книге, принесла писателю несомненный и заслуженный

успех. Несомненно, повесть является завершением определенного (и длинного) этапа на творческом пути писателя. Она заставляет говорить о ее авторе, как о настоящем художнике, своеобразном, оригинальном, со своим подходом к материалу, со своим языком, — твердым, суховаато-сдержанным и звучным. В этой повести Катаев очень удачно синтезировал гротескность и реализм, дал вполне оправданную фантастику быта, — повесть, построенная довольно затейливо и сложно, получилась, в сущности, простой, действенно-четкой, благородно-авантюрной и — очень цельной: в ней нет ни лишних подробностей, ни жанровой и пейзажной перегруженности. Повесть, на ряду с другими своими достоинствами, отличается большим богатством изобразительности (описание Москвы, Ленинграда) и — непринужденной чеканностью диалога. Хороши в ней и человеческие фигуры — и центральные (двое растратчиков), и — вводные (Никита, Изабелла, Иран). Наконец, повесть — хорошая и нужная реакция против бескрылой бытовщины, до сих пор держащей в плену нашу, часто талантливую, литературную молодежь.

*Ник. Смирнов.*

**Иван Майоров.** — «**Два берега**». Повесть. Изд. «Моск. Т-во Писателей». М. 1927. Стр. 190. Ц. 1 р. 25 к.

Есть авторы, познакомившись с которыми, испытываешь и сожаление и недоумение. Ему бы, автору, продолжать студийную работу, учиться и учиться, создавать свой язык, углублять свою художественную культуру. Так вот нет же — спешат все. Спешат издатели, спешат редакторы, спешит сам автор и выпускает сырье, неумелую; неотделанную работу. Было бы более или менее простительно, если бы повесть автора освещала уголок новой жизни. Тогда новизна изображаемого, возможно, искупила бы и беспомощность, и неумение, и даже избитую манеру письма. Но Майоров пишет о старом, ничего нового и свежего в этом старом не обнаруживая.

Повесть посвящена борьбе двух берегов — левого, где жили рабочие, и правого, где обитали фабриканты и власть.

Совпадение ли тут географического момента с политическим или автор подогнал географию под политическую карту классово-борьбы?

Что делать, но она характерна для всей повести, в которой все нарочито и преднамеренно, все схематизировано как на чертеже и не обусловлено внутренней необходимостью.

К каждому чертежу необходимо приложить объяснения условных знаков. Так и Майоров вынужден давать комментарии к своим условным фигурам, положениям и мотивам: «После собрания фабричные расходились по домам угрюмые, обозленные, угнетенные черной заботой о предателе, который объявился в дружных, стойких, решительных и бесстрашных рядах фабричных. Имя этому предателю было — желудок. Желудок требовал пищи...» и т. д. Политическое и физиологическое презрение к желудку не может воссоздать ни образов бесстрашия и стойкости, ни чувства голода, ни озлобления и угнетения рабочих. И потому комментарии автора, как говорят в таких случаях, совершенно излишни. Они не могут заменить приемов художественного воздействия на читателя.

*С. Пакентрейгер.*

**Вл. Лазарев.** — «**Крепкий сон**». Рассказы. «Московское Т-во Писателей». 1927. Стр. 128. Ц. 80 к.

Русская деревня, интимная крестьянская жизнь, внутренний мир ее и сложные переживания — только равнодушному вниманию представляющиеся упрощенными и убогими — крестьянство не на войне, не в пути, а дома — вот основная тема Вл. Лазарева.

От романтически-дворянских образов русского крестьянства, от тургеневских крестьян от символически-обобщенного мужаика Толстого, от мастерского портрета, холодновато-жесткого, написанного с враждебностью Буниным, уходит наш автор внутрь крестьянской жизни, освобождаясь постепенно и от литературных влияний, и от

литературной предвзятости. Трудно сказать, приведет ли избранный им путь к победе. Среди двенадцати рассказов, собранных в книге, есть удачные, свидетельствующие о глубоком и любовном внимании к изображаемому миру, — об умении изнутри воспринять мир деревенских вещей, показать его по-новому — живописать детали быта и отношений с точным и счастливым знанием художника. Есть и слабые, превращающие иной раз тонкий замысел в плоский и сухой очерк («Рассказ сторожа», «Сутулый человек»). Своеобразно подходит автор к разрешению своей темы: иной раз он показывает деревню, живописуя животное, — как в рассказах «Гулена» (о судьбе петуха) и «Лошонок», даже открывающий книгу рассказ «Анагра» — о собаке, погибшей от руки маниакально-озлобленного хозяина, бывшего купца, — какими-то нитями связан с миром деревенских пристрастий автора. Часто обращается он к детям — показывая интимный деревенский мир, воспринятый и усложненный специфическим детским переживанием. Таковы рассказы: «Крепкий сон» (роды в деревне, показанные сквозь призму сложных переживаний мальчика) и «Хомяк» — убедительные не только по своей выразительности, — в них хорошо показан и «вещный» мир в деревне. Очень удачен также рассказ «Степная», характерный для художественной манеры автора, для его «метода».

Однако этот художественный метод — соединение сложных психологических мотивов с резкой предметностью деталей — иногда изменяет автору — тогда он либо ведет Вл. Лазарева к сюжетной скупости, к очерку, либо упрощает психологический образ (например, в рассказе «Кнут»).

Пожелаем автору, когда он перейдет от изображения «крепкого сна» деревни к рассвету ее, к пробуждению (а несколько рассказов в этой книге свидетельствуют о том, что темы эти близки автору), быть столь же любовно-внимательным не только к крестьянскому мальчику, но и к обновляющемуся человеку.

*Як. Бенни.*

**Н. Афрамеев.—«Беспокойные».** Повесть. Изд. «Моск. Т-во Писателей». М. 1927. Стр. 180. Ц. 1 р. 20 к.

Сборник «Беспокойные» — вторая книга молодого писателя Н. Афрамеева (первая — «Слободка» — вышла в 1925 г. в изд. «Прибой»). Свои рассказы и повести прозаик посвящает изображению рабочего быта («Беспокойные»); о кооперации в деревне рассказывается в «Кудяхе» и о необыкновенной любви — «У моря». Но и «Кудяха» и «У моря» — не характерные, случайные произведения с взятыми напрокат героями — интеллигентами и мужиками; любимые герои Афрамеева — прокатчики, слесаря, завкомовцы, рабфаковцы и пионеры. Особенно пионеры, недаром в повести «Расплата» (из книги «Слободка») проходная фигура юного гражданина с красным галстуком запомнилась прочнее всех генералов и прочих действующих лиц. В «Беспокойных» писатель вновь возвращается к пионерам — только не к одному, а к многим, целому коллективу. Они организуют настоящую революцию против «несознательных родителей», прокатывают в стенгазете обижающих «пап и мам», заставляют всех — в ячейке, в фабкоме, на заводе — подтянуться. И вся эта работа проходит, можно сказать, подпольно, ею руководит не вожатый, а дотошный мальчуган Пузырь. Афрамеев не сделал Пузыря главным героем повести, все сообщения об этом юном организаторе чисто информационного свойства, и поэтому деятельность коллектива беспризорных — вся на совести автора. Читатель имеет полное право сомневаться, делать упреки в тенденциозном подборе фактов. В повесть умело вкраплена история одного пионера из новеньких — Мишки, сына сапожника, делающегося временно беспризорным и задуманного родным отцом. Несмотря на ряд драматически жутких сцен, повесть не производит большого впечатления и читать ее во второй раз не захочется. В отношении композиции лучше сделан рассказ «У моря», но тема его явно напоминает некоторые предреволюционные рассказы, характерные гипертрофией личного начала в ущерб социальному.

*Виктор Красильников.*

**М. Барканов.** — «Повесть о том, как помирились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». ГИЗ. Москва. 1927. Стр. 128. Ц. 20 к.

Задача М. Барканова оригинальна и интересна — он перенес героев Гоголевской «Повести о том, как поспорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» со всем их миргородским окружением в бурные дни царской и гражданской войны, чтобы показать: обыватель везде останется обывателем. Молодой прозаик прекрасно изучил натуру гоголевских персонажей: «природная доброта», «необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно», «предупредительность, Ивана Ивановича, равно как и подчеркнутая грубость манер Ивана Никифоровича иллюстрируются рядом сцен, удачно подчеркивающих живучесть и приспособляемость героев «чуждого города Миргорода» к революционному времени. Вот, например, встреча автора с ними, уже примиренными: торопясь доставить домой, в Плешихину слободу, мешок соли, вымененный на благоприобретенное еще дедом фамильное имущество, рассказчик среди горожан, занимающихся товарообменом, видит Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

«С каким умением подойти к человеку и проникнуть в его душу торговал Иван Иванович. И как веско, солидно, убедительно было каждое слово Ивана Никифоровича. Наконец, как умело они общались друг с другом по поводу какой-нибудь бабы, медлившей с решением: менять или не менять... Снова каждый из них старался сделать при всяком случае приятное друг другу:

— Позвольте, Иван Никифорович, я вам помогу донести этот мешочек, — предлагал Иван Иванович.

— Не беспокойтесь, — отвечал Иван Никифорович, — когда сам несешь, не примите в обиду, дело надежнее.

— Вполне разделяю ваши взгляды, — отвечал на это Иван Иванович, — я только по дружбе предложил.

— Благодарствуйте, — сказал Иван Никифорович.

Остроумно и хорошо мотивирована сцена примирения в каземате город-

ского острога; предварительно каждый с горечью сказал себе: «Что пользы мне в унижении врага моего, когда сам я унижен и состояния лишен! И можно ли еще желать врагу худшего, когда ему худшего сделать нельзя?». Обобщенное убеждение—Советская власть их ссорой отнюдь заниматься не будет — вот что кладет конец их многолетней вражде.

Вводя гоголевские персонажи в наши дни, Барканов в гоголевских же тонах живописует и жизнь города Миргорода: война между дамами, сторонницами партии Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, — вариации соответствующей главы из «Мертвых душ». Одной: небольшой черточкой—упоминанием о «стороже, помещавшемся на каланче и плевавшем с высоты через перила на шляпы прохожих», — дается безмятежное житие дореволюционного уездного центра; появлением же в кабинете городского головы «двух солдатишек», заявивших «потрудитесь очистить» — начинается эпоха Советской власти. Потом эта эпоха проявит себя не только заявлением «двух солдатишек», она одна окажется способной ордером на арест примирить давнишних врагов.

Язык повести умело стилизован под гоголевский, квази-патетический, насыщенный периодами; он также прерывается авторскими отступлениями, цветист сравнениями, образами, диалогами, характерными для миргородского обывателя. В усвоении чужого стиля писатель обнаружил большую культуру. «Повесть о том, как помирились Иван Иванович и Иван Никифорович» — его первая книга, заставляющая ожидать оригинальных произведений от автора.

*Виктор Красильников.*

**Дм. Стонов.** — «Сто тысяч». Рассказы. Изд. «Молодая Гвардия». М.-Л. 1927. Стр. 198. Ц. 1 р. 50 к.

В книге четыре рассказа, материалом для которых служит современное мецанство. Рассказы эти представляют собою ряд довольно занимательных, нескучно написанных, но не глубоких, довольно фрагментарных вещей, окрашенных легким налетом юмора и иронии.

Заглавный рассказ посвящен некоему совслужащему, выигравшему совместно со своим сожителем сто тысяч, бросающему затем службу, жену и т. п. Автор, однако, не превращает его в «традиционного» растратчика, но делает человеком, глубоко затосковавшим от безделья и безуспешно стремящимся получить потерянную службу. Нешаблонность авторского замысла, однако, все же, не дает возможности причислить рассказ к числу удачных, так как он несколько слабават композиционно и, главное, наделен сильным оттенком символики. Так совершенно неясна, расплываясь в каком-то тумане, фигура другого соучастника выигрыша — Хрисогелова. Он подан читателю нарочито неясно, даже, если угодно, мистично, у него и голос звучал как «голоса умерших» в мистических пьесах» (стр. 29). Смутно обрисованы и некоторые другие персонажи.

Остальные рассказы — о прапорщике Иване Ив-че, ловко ухитрявшемся во время германской войны избегать передовых позиций, и некоем обывателе Южде («Дом»), купившем избу своему отцу в деревне на деньги, похищенные из кассы домоуправления, — в композиционном отношении более четки и свободны от символики.

Тематически несколько особо стоит рассказ «Невзгоды», повествование о деклассированном мещанине, ставшем большевиком и бывшем недурным бойцом в гражданскую войну, но не сможем понять смысла перехода к мирному социалистическому строительству. Рассказ не лишен, даже, некоего драматизма, однако данный тип сейчас для нашей литературы уже не может считаться сколько-нибудь оригинальным.

Книжка рассказов Д. Стонова не составит, конечно, вклада в нашу литературу, но будет прочитана без скуки.

Автора, в общем, можно считать обладающим мастерством рассказа, но он должен стремиться в будущих своих вещах к социальному углублению своей тематики.

**Б. Лавренев.**—«Рассказ о простой вещи». Изд. «Прибой». Л. 1927. Стр. 107. Ц. 50 к.

Пафос Лавренева — необыкновенность. Он любит исключительные положения и удивительные стечения обстоятельств. По преимуществу он писатель-авантюрист, в его повестях и рассказах всегда много движения и неожиданности, — вот почему они являются благодарным материалом для кино, в котором на ряду с его повестью «Сорок первый» был использован и рецензируемый «Рассказ о простой вещи» (в фильме «Леон Кутюрье»).

Последний по своей довольно необычной фабуле и быстрому, несколько трюковатому разворачиванию ее, очень характерен для автора.

В нем повествуется о чекисте Орлове, который под видом французского коммерсанта Леона Кутюрье, при отходе нашей армии, остался в городе, занятом белыми, для собирания сведений о противнике. Отлично начатое им предприятие, однако, оканчивается неудачей: благодаря фатальному стечению обстоятельств Орлов попадает в лапы контрразведки.

Лавренев сумел рассказать об этом интересно, но, к сожалению, его революционная романтика не лишена доли интеллигентщины: чекист Орлов страдает повышенной, в условиях гражданской войны, чувствительностью.

Любовная интрига, которую намечал автор (Орлов — Бэла), по мере разрастания фабульной линии (Орлов в окружении белых), очевидно, вышла из его поля зрения и необходимого завершения не получила, между тем от более детальной ее проработки рассказ несколько бы не проиграл.

Несмотря на эти недостатки, благодаря живости повествования, разбитого на небольшие главы с выразительными заголовками, и ряду острых положений, «Рассказ о простой вещи» читывается с большим интересом.

**Николай Тихонов. — «Поиски героя».** Стихи 1923—1926 гг. Изд. «Прибой». 1927. Стр. 94. Тир. 3.000 экз. Ц. 1 р. 10 к.

К своему творчеству Н. Тихонов относится строже других. Некоторые цельные и сильные стихи его, напечатанные в журналах за последние годы, в разбираемую книгу не вошли. С этим, конечно, трудно примириться, но не говорит ли все это об исключительной добросовестности поэта?

Н. Тихонову ясно, «в чем яростное песен ремесло». Технические искания, вызвавшие в свое время наивные сетования критиков, не понимавших, что хорошая победа приобретает путем поражений, — остались далеко позади. «Поиски героя» — фундамент здания нового синтетического стиха. Н. Тихонов работал долго и упорно, он «перетряхнул зимовье», соединяя в одну преемственную линию исконные традиции русской поэзии с выработанной современностью культурой. Специфически-литературное лицо свое он завоевал примерным упорством и редкой добросовестностью. Сейчас уже одно внешнее вооружение дает поэту бесспорное право поставить эпиграфом к своей деятельности свои же примечательные строки из стих. «В Карелии»:

Я здесь затем, чтоб посмотреть в глаза  
Трущобам, требующим слова.

В «Поисках героя» редкие стихи напоминают о преодоленных поэтом трудностях. Пожалуй, только «Ночь в гостях» и «Горы» усваиваются не сразу. Но поэзия всегда требовала жертв, и сам Н. Тихонов отлично сознает неизбежность неудач:

А что подчас шагаю я неслышно,  
Что знаки непонятны иногда,  
И что мою тропу находят лишней—  
Так—Вейнемейнен—это не беда.

(«В Карелии»).

О чем же говорить после этого?

Нет надобности распространяться об идеологическом костяке книги. Если бесспорным представляется нам старое положение Воровского («Для того, чтобы быть действительно пролетарской, поэзия не должна обязательно черпать свои темы из жизни пролетариата.

Здесь не в теме суть, а в самом духе творчества, в доминирующем настроении, а настроение, как известно, никакими усилиями мысли и воли не создашь», то такой, сейчас явно стоящий на классовой почве, мастер-реалист, как Н. Тихонов, принадлежит своему времени полностью. Пора, давно уже пора забыть о носившем несколько анархический характер периоде поэтической молодости Н. Тихонова. Пора современникам усвоить его поэзию, как поэзию органически свою.

Прекрасные в книге стихотворения: «Ладога», «Финский праздник», «Гулливвер играет в карты», «Отдых», «Дождь», «Равновесие», «Листопад», «Море», «Льву Луицу». Совершенно классичны: «В Карелии», «Ночь президента», «Тишина», «Избиение трутней», «Саранча», «Поиски героя», «Базар».

Бесспорно: книга Н. Тихонова—книга исключительной силы.

*И. Поступальский.*

**М. Ф. Фроленко. — «Записки семидесятника».** Историко-революционная библиотека журнала «Каторга и Ссылка». М. 1927. Стр. 339. Ц. 3 р. 25 к.

Из собранных в книге статей большая часть уже была напечатана в разных журналах, некоторые же, —напр., большая статья о Шлиссельбурге, — появляются впервые. Все содержание книги разбито на две части. В первой находятся воспоминания о революционном прошлом автора; во второй—рассказывается о суде, шлиссельбургском заключении, о выходе на волю в 1905 г. Здесь же даны заметки, посвященные «памяти отошедших»—воспоминания об умерших деятелях революционного движения. М. Ф. Фроленко—чуть ли не единственный крупный революционер-народник, который во все время движения 70-х г.г., начиная от хождения в народ и кончая 1 марта 1881 г., работал непрерывно в первых рядах активных революционеров. Ему так посчастливилось, что он за все это время ни разу не был арестован; не приходилось ему и удаляться на время в эмиграцию. Он пережил все стадии движения—был и

землеволецем, и народовольцем, участвовал в важнейших моментах революционной жизни, знал всех видных деятелей. Деятельность среди южных «бунтарей», увоз Костюхина из Одесской тюрьмы среди бела дня, побег из киевской тюрьмы Дейча, Стефановича и Бохановского, устроенный Михаилом Федоровичем, Липецкий и Воронежский съезды, подготовка террористических предприятий «Народной Воли»—все это и многое другое проходит перед читателем в книге Фроленко. Обладая хорошей памятью, автор дает

много ценных подробностей. О своем богатейшем революционном прошлом он рассказывает, «не мудрствуя лукаво», без особенных литературных претензий. В этом богатстве фактического содержания и заключается ценная сторона книги, являющейся очень полезным вкладом в мемуарную литературу семидесятников. Широких же обобщений в области идеологии революционного движения здесь искать не следует.

*М. Клевенский.*